Моя ЛЕТОПИСЬ

Тэффи

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В дореволюционной России имя «королевы юмора» Теффи (Надежды Александровны Лохвицкой, 1872 1952) пользовалось огромной славой. Галеты и журналы, где она сотрудничала, были заведомо «обречены на успех» Выпускались даже духи и конфеты «Тзффи».

Среди поклонником ее таланта были люди всех возрастов и сословий. Не случайно, когда готовился юбилейный сборник, посвященный 300-летию царствования дома Романовых, и царя спросили, кого из современных литератором он желал бы в нем видеть, Николай II решительно отметил: «Теффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Теффи!».

Ее остроты, курьезные фразы и словечки ее персонажей подхватывались и разносились по России, становясь крылатыми с быстротой молнии.

Хотя Теффи писала в основном юмористические рассказы и фельетоны, то есть прозу так называемого «легкого жанра», ее творчество высоко ценили Иван Бунин и Александр Куприн, Дмитрий Мережковский и Федор Сологуб.

В 1920 году Теффи навсегда оставила Россию и всю вторую половину жизни прожила во Франции, оставаясь одним из любимых писателей русского Парижа.

Незадолго до смерти она писала: «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь это сплошной анекдот, то есть трагедия».

В настоящий том вошли «Воспоминания» Теффи, горький и самоироничный рассказ об отъезде из России, а также мемуарные очерки о А. Куприне и Л. Андрееве, А. Толстом и А. Аверченко, Ф. Сологубе и К. Бальмонте, Д. Мержковском и З. Гиппиус, А. Ахматовой и Н. Гумилеве, И. Северянине и Б. Пантелеймонове, а также о кратковременном сотрудничестве в большевистской газете «Новая жизнь», о встречах с Г. Распутиным и о многом другом. Теффи собрала их в книгу «Моя летопись», но издать ее при жизни не успела…

Составление, вступительная статья, примечания Ст. Никоненко.

Художник Евгений Вельчинский.

- Тэффи МОЯ ЛЕТОПИСЬ
  - Ст. Никоненко НЕСРАВНЕННАЯ ТЭФФИ
  - ВОСПОМИНАНИЯ
  -

- МОЯ ЛЕТОПИСЬ
-
  - Первое посещение редакции
  - Псевдоним
  - А. И. Куприн
  - Георгий Чулков и Мейерхольд
  - Федор Сологуб
  - Алексей Толстой
  - О Мережковских
  -
  - Зинаида Гиппиус
  - Бальмонт
  - 45 лет
  - «Новая жизнь»
  - Распутин
  - Аркадий Аверченко
  - Леонид Андреев
  - Синие вторники
  - Кузмин
  - Игорь Северянин
  - Лоло
  - Илья Фондаминский
  - Мой друг Борис Пантелеймонов
  - Илья Репин
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63

- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107

- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151

- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195

- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239

- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283

- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327

- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371

- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403

Тэффи МОЯ ЛЕТОПИСЬ

Ст. Никоненко НЕСРАВНЕННАЯ ТЭФФИ

Примерно полвека назад попалась мне в руки книжка. Называлась она «Карусель». Автор — какой-то Тэффи. Впрочем, прочтя несколько строк, я понял, что автор — женщина. Рассказы — прелестные, но особенно поразил меня один: «Открыли глаза». Два русских человека — судья и помещик — сидят в столовой зарубежного курорта и для развлечения пытаются по внешности определить сущность каждого человека. Они обнаруживают среди коллег-отдыхающих и убийц, и банщиков, и палачей, и железнодорожных воров. Говорят они, разумеется, по-русски. Когда они узнали у хозяйки, кто кем был на самом деле, то хохотали до упаду: железнодорожные воры оказались певцами из Америки, женоубийца — слабоумным миллионером, банщик — французским журналистом, палач — нотариусом, и т. д. Но самое удивительное ждало их впереди. Через пару дней они получили письмо, написанное по-русски. «Бегите из этого вертепа, — взывала русская помещица Холкина (уже сбежавшая). — Вы мне открыли глаза на окружающих нас преступников. Но и о вас я узнала правду. «Вот и фальшивомонетчики в полном составе», — сказал один из обедающих, когда вы вошли. Бегите, пока не поздно, и, может быть, вы еще исправитесь». Рассказ очень смешной. И вместе с тем умный. Он не просто смешит, но и напоминает: внешность — это еще не человек, внешность часто обманчива, и обмануться всегда можно в любую сторону — принять умницу за идиота и негодяя — за благодетеля. Между прочим, Тэффи и в воспоминаниях честно признается в своих ошибках.

Вот читаем у нее о Борисе Пантелеймонове:

«Пришел высокий элегантный господин, лет сорока пяти…

У нас, писателей, глаз острый. Я сразу поняла — англичанин.

Оказался коренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый-химик…»

Конечно этот пассаж можно было бы расценить как авторский прием, удачно найденный и затем эксплуатируемый на протяжении полувека.

Но вряд ли только в приеме тут дело.

Да, Тэффи хорошо знала афоризмы Оскара Уайльда: первое впечатление — самое верное, и ошибается тот, кто не судит по внешности. Но как раз по внешности Тэффи и не судит: она пытается проникнуть в глубины человеческой души, разобраться в каждом человеке, понять его. И достигает замечательных результатов, причем все это — с улыбкой, иронично, как бы даже

извиняясь, с поразительным и естественным тактом, — речь здесь и о собственно художественном ее творчестве, и о ее мемуарах тоже, кстати, мастерских произведениях искусства.

О самой Тэффи сохранилось немало воспоминаний, и все они — как правило — восторженные. Мемуаристы открыто любуются ее остроумием, красотой, находчивостью, доброжелательностью, умом.

Восхищенными эпитетами Тэффи награждали самые известные люди России. Но мало кто отмечал ее уникальную силу воли, мужество, ибо Тэффи всегда стремилась предстать перед внешним миром веселой и беззаботной, какой, по мнению миллионов читателей, и должен быть автор юмористических рассказов. Но это вовсе не маска, а черта характера — не выставляй напоказ собственных горестей и проблем, у каждого и своих хватает.

Обычно авторы воспоминаний начинают описывать свое раннее детство, родителей, предков, семейные обычаи, постепенное взросление. В воспоминаниях Тэффи ничего этого не найти. Какие-то фрагменты, фразы, эпизоды из жизни семьи в ее воспоминаниях, конечно, мелькают, но нет ни детального описания близких, ни собственно истории семьи. Та книга, что вышла в Париже в 1932 году и озаглавлена «Воспоминания», по сути дела посвящена лишь одному, хотя и значительному эпизоду из жизни автора, — истории ее прощания с родиной, растянувшегося почти на полтора года: осенью 1918-го Тэффи с Аркадием Аверченко и несколькими актерами отправилась на гастроли в Клев, а там — дальше на юг, и в конце 1919 года оказалась… в Константинополе. Спустя двадцать лет Тэффи предпринимает попытку издать новую книгу воспоминаний. Теперь она озаглавлена «Моя летопись» — потому что воспоминания не об авторе, а о других людях (ведь летописец пишет не о себе, а о событиях, свидетелем которых ему довелось стать).

Можно ли из мемуарной прозы Тэффи узнать что-либо о ней самой?

Конечно, можно. Потому что каким бы объективным ни стремился быть автор, он обязательно где-то приоткроет свою душу, обязательно выскажет свое отношение к описываемому им человеку или житейскому эпизоду, и тогда мы видим, кто он, сам автор, таков. В данном случае мы узнаем Тэффи такой, какой она рисуется и современниками, — остроумной, ироничной, доброжелательной, очаровательной.

Итак, поскольку сведения о самой Тэффи в ее воспоминаниях

весьма скудны, сообщим некоторые сведения, почерпнутые из материалов ее биографов.

Надежда Александровна Лохвицкая (таково ее имя от рождения) появилась на свет в конце апреля (начале мая по н. ст.) 1872 года в Петербурге. Откуда же такая неопределенность — в конце апреля? Да потому, что в нескольких энциклопедического характера изданиях и в биографиях, написанных исследователями творчества писательницы, приводятся разные даты: 21, 24, 26, 27 апреля и даже 9 мая (соответственно 3, 6, 8, 9 и 21 мая по н. ст.)! Дело в том, что сама писательница старательно запутывала этот вопрос. Так, в начале 1960-х годов в советских изданиях вообще сообщалось, что родилась Тэффи в 1876 году (я и сам указывал эту дату в сборнике ее рассказов, который мне удалось выпустить в 1967-м). В удостоверениях же личности, выданных Тэффи парижской префектурой в 1928 и 1935 годах, указана дата 26 апреля 1885 года как ее день рождения.

Так что до истины, видимо, еще придется докапываться.

Зато точно известно, что отцом ее был Александр Владимирович Лохвицкий (1830–1884) — из старого дворянского рода, профессор криминалистики, адвокат, издатель и редактор «Судебного вестника», автор многих трудов по юриспруденции, прекрасный оратор и остроумный человек. Мать Тэффи, француженка по происхождению (девичья фамилия Ноэр), великолепно знала европейскую литературу, в особенности поэзию, которую очень любила.

Впрочем, не только родители были не чужды литературе, но и более отдаленные предки. «Наследственность своего писательского дара я могу считать атавистической, т. к. прадед мой, Кондратий Лохвицкий, бывший масоном во времена Александра Благословенного, писал мистические стихотворения, часть которых под общим названием «О Филадельфии Богородичной» сохранилась в исторических трудах Киевской Академии», — писала Тэффи в анкете-автобиографии[1]. Дед писательницы, Владимир Кондратьевич, сочетал в себе таланты философа и литератора.

Так что по крайней мере фамильной традицией можно объяснить то, что три сестры Тэффи (Мария, Варвара и Елена) писали стихи и пьесы и даже весьма серьезный брат Николай (1868–1933), сделавший военную карьеру (во время Первой мировой войны он в чине генерала командовал русским экспедиционным корпусом во Франции), в юности писал стихи. Самыми известными литераторами из семейства Лохвицких стали две сестры — Мария, взявшая себе псевдоним Мирра (1869–1905),

и Надежда.

По окончании Петербургской гимназии на Литейном Надежда выходит замуж за выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета Владислава Бучинского и уезжает с ним в Тихвин (где муж получил место судьи).

После рождения двух дочерей и сына Яна, примерно в 1900 году, Тэффи разводится с мужем и возвращается в Петербург, где и начинается ее литературная судьба. О детях ее почти ничего не известно (они остались с отцом).

В последние годы жизни Тэффи сблизилась со старшей дочерью Валерией (1892–1964, в замужестве — Грабовская), они часто переписывались. Валерия Владиславовна и передала архив своей матери в 1953 году в дар Бахметевскому архиву при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

За полвека творческой жизни Надежда Александровна Тэффи создала очень много: помимо сотен публикаций стихов, рассказов, фельетонов, рецензий, очерков, воспоминаний в периодических изданиях ею только в дореволюционное время выпущено несколько больших сборников рассказов («Юмористические рассказы», 2 тома; «И стало так», «Карусель», «Житье-бытье», «Неживой зверь» и др.) и сборник стихов «Семь огней» (1910); написан ряд пьес (поставленных в крупнейших театрах России); в эмиграции, не прекращая сотрудничества с газетами и журналами, писательница выпустила еще девятнадцать книг, в том числе стихотворные сборники «Шамрам» и «Passiflora» (оба вышли в Берлине в 1923 году), сборники рассказов «Рысь», «Городок», «Книга июнь», «О нежности», «Ведьма», «Всё о любви», «Земная радуга», единственный роман — «Авантюрный роман»… К этому можно добавить, что Тэффи была постоянным участником литературных собраний «Зеленая лампа», сотрудничала в Союзе русских театральных деятелей и киноработников, была членом правления парижского Союза русских писателей и журналистов.

Оставалось ли при этом у нее время на так называемую личную жизнь? Ни одним словом в своих воспоминаниях она этого не коснулась. Однако, если просмотреть хотя бы несколько ее книг эмигрантского периода, можно обнаружить, что многие из них и многие рассказы в них посвящены П. А. Тикстону («Шамрам», «Книга июнь» и др.). Павел Андреевич Тикстон (1873–1935), до революции крупный петербургский банкир, был близким другом, гражданским мужем Тэффи, их связывала нежная, глубокая любовь, и, когда Павел Андреевич тяжело заболел, Надежда Александровна ухаживала за ним и не отходила от его постели до последней минуты.

Ничего этого, повторяю, в воспоминаниях мы не найдем. Слишком личное Тэффи оставляла в глубине своей души, только для себя.

Тэффи прожила долгую жизнь, и последние годы ее были нелегкими: болезни, бытовые трудности, уменьшение гонораров (после войны меньше стало выходить русских изданий в Париже, реже стали печатать книги, да и тиражи их были слишком невелики), но она мужественно держалась до конца, и в ее письмах к Андрею Седых и Марку Алданову в Нью-Йорк сохраняются и острота мысли, и четкость суждений, и ироничность, и доброжелательство к людям.

Умерла Надежда Александровна Тэффи 6 октября 1952 года в окружении самых близких людей и похоронена на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

О Тэффи написано и напечатано очень много. Однако и до сих пор на родине она не столь уж известна, хотя совсем недавно вышли пять томов ее избранных сочинений и несколько сборников рассказов. Во втором десятилетии XX века Тэффи была столь популярна, что ее сравнивали с признанным королем смеха Аркадием Аверченко и зачастую отдавали пальму первенства именно ей. Но таково наше плюралистическое время, что сегодня «Букер» более известен, чем Бунин, а Тэффи принимают за основательницу премии «Тэфи». Недавно меня спросили: «Тэффи — это из новых русских, предпринимательница? Шустрая. Сначала сделала деньги, теперь и книжки пишет». До революции же, несмотря на отсутствие таких средств массовой информации, как телевидение и радио, имя Тэффи знала вся страна.

Участие Тэффи в журнале «Сатирикон», и затем «Новый Сатирикон», оказалось взаимовыгодным: ее рассказы и фельетоны приносили журналу все большую популярность, привлекали новых читателей, в то же время благодаря журналу имя Тэффи становится все более популярным.

О Тэффи говорили критики самых различных направлений, ее стихи и фельетоны печатали и большевистские издания, а читательскую признательность она получила не только у рабочих, чьим главным чтением были большевистские газеты «Вперед» и «Новая жизнь», не только у так называемых обывателей, мещан, купцов, приказчиков и, наконец, интеллигенции — подписчиков «Сатирикона», но и при царском дворе. Так, в канун празднования трехсотлетия Дома Романовых, проходившего в 1913 году, на вопрос, кого из современных писателей пригласить для участия в юбилейном сборнике, Николай II ответил: «Тэффи, только Тэффи».

У Тэффи как-то сразу определился свой почерк, приемы, стиль. Она, в отличие от многих юмористов, не выдумывает смешные положения, чтобы получить комический эффект. Она подмечает действительно смешное в жизни, в повседневной будничной обстановке, во взаимоотношениях людей.

О лучших рассказах Тэффи, напечатанных в «Сатириконе», И. А. Бунин сказал, что они написаны «здорово, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью».

Круг тем писательницы широк и разнообразен. Ее интересуют и бытовые ситуации, и социальные проблемы, и человеческая психология, и политическая обстановка. Она могла несколькими штрихами, несколькими словами передать внутренний мир человека, заглянуть в душу и показать ее нам. На нескольких страничках, в нескольких коротеньких эпизодах Тэффи создает яркие, запоминающиеся, объемные характеры.

Тонким психологизмом и любовью проникнуты и рассказы Тэффи о детях. «Дети у Тэффи — это целая “маленькая вселенная”», — справедливо отмечал поэт и критик Юрий Терапиано.

Оказавшись в эмиграции в Париже, писательница временами возвращалась памятью к России, но больше писала об эмигрантском житье-бытье. Ее рассказ «Ке фер?» стал символом жития русского в Париже и вошел в поговорку.

От многих эмигрантских рассказов Тэффи веет грустью, но грусть и раньше проглядывала сквозь словесную ткань ее внешне очень смешных произведений. В общем-то, она никогда и не была профессиональной юмористкой и не ставила себе задачи обязательно рассмешить. Смех рождался при чтении ее рассказов сам собой: рассказы всегда отличались легкостью, естественностью. Они многослойны, многогранны и, в зависимости от того, какой стороной повернутся к внутреннему миру читателя, — вызывают и соответствующую реакцию, потому что где-то в глубине, за словами, репликами персонажей, за представленной в рассказе ситуацией кроется большой мир человеческих чувств и переживаний.

Книги Тэффи всегда ожидались русскими зарубежья с нетерпением и воспринимались как некий дар, ибо даже своими грустными рассказами писательница поддерживала дух соотечественников, придавала им силы и уверенность.

И по сей день сохраняют свою справедливость слова, сказанные о Тэффи одним из лучших русских критиков литературного зарубежья Георгием Адамовичем:

«…Тэффи никого не судит, никого ничему не поучает…

современники и соотечественники узнают в ее книгах самих себя и сами над собой смеются…

Тэффи не склонна людям льстить, не хочет их обманывать и не боится правды. Но с настойчивой вкрадчивостью, будто между строк внушает она, что, как ни плохо, как ни неприглядно сложилось человеческое существование, жизнь все-таки прекрасна, если есть в ней свет, небо, дети, природа, наконец, любовь».

Хочется привести высказывание еще одного писателя, в чьем взыскательном вкусе, писательском опыте и мастерстве вряд ли можно усомниться. «Нередко, когда Тэффи хотят похвалить, говорят, что она пишет как мужчина. По-моему, девяти десятым из пишущих мужчин следовало бы у нее поучиться безукоризненности русского языка… Я мало знаю русских писателей, у которых стройность, чистота, поворотливость и бережливость фразы совмещалась бы с таким почти осязаемым отсутствием старанья и поисков слова» — так сказал Александр Иванович Куприн.

И при жизни, и после смерти писательницы отношение к ней не было однозначно одобрительным. Острота, резкость суждений Тэффи порой вызывали у тех, в чей адрес эти суждения высказывались, гнев, злость, а иногда и ненависть. Так, ее отрицательная рецензия на книгу Андрея Белого «Пепел» послужила стимулом для выпадов против Тэффи и Зинаиды Гиппиус, и Валерия Брюсова.

Хотя с годами Тэффи несколько смягчила свой стиль, некоторые писатели боялись ее острого языка, недолюбливали ее. Владимир Злобин, друг и секретарь Мережковских, в своей книге о Зинаиде Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970) пишет, например, в связи с рассказанным в воспоминаниях Тэффи эпизодом, где она отмечает равнодушную реакцию Мережковских на известие о смерти их близкого друга Дмитрия Владимировича Философова: «А с Тэффи они о своем горе просто не хотели говорить. Дмитрий Сергеевич ее недолюбливал, считал фальшивой» (с. 84).

Отрицательно отнеслась к воспоминаниям Тэффи о Мережковских и М. С. Цетлин (одна из издательниц «Нового журнала» в Нью-Йорке). Тэффи даже пришлось писать ей оправдательные письма. Стоит процитировать несколько фрагментов одного из них:

«До меня дошли слухи, которым я никак не могла и не хотела поверить. Но слухи подтверждаются тем, что вот уже больше года, как от Вас нет ни одного слова! А слухи эти такие, будто Вы на

меня рассердились за… нелестное мнение о характере Мережковских! Но ведь я писала честно, только то, что видела и слышала. Я обо всех писала честно — и о Бальмонте, и о Куприне, и о Ал. Толстом, и о Сологубе… От одного крупного общественного деятеля я получила письмо по поводу Мережковских. Тоже недоволен, но несколько иначе. «Если писать правду, то надо всю правду, а не останавливаться на полуслове. Вы пишете, что они, Мережковские, не продавались. Они именно продавались… и всегда: Пилсудскому, Муссолини, Гитлеру…» Я ответила, что этого я не то что не знала, а знать не хотела…

Мои воспоминания страдают скорее слащавостью, а уж никак не несправедливой злобой. Ни от одного слова не отрекусь. Все правда и даже не полная правда. Вы их не знали, не видели вплотную…»[2]

Воспоминания «О Мережковских» были напечатаны в «Новом русском слове» в январе 1950 года, а письмо Тэффи датировано 25 апреля того же года. 17 же марта 1951 года Тэффи сообщала Андрею Седых: «Я перечитывала моих Мережковских и Гиппиус и — верьте слову — и половины не рассказала того, что нужно было бы. Но не хотелось lave le linge sale[3]. Они были гораздо злее, и не смешно злые, а дьявольски. Зина была интересна. Он — нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем — никогда»[4].

Между прочим, Георгий Адамович высказывал нечто близкое соображениям Тэффи и этим как бы подтверждал ее правоту:

«Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, а мыслитель почти никакой… Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему своему составу таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденным диковинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немного «марсианин». Было при этом в нем что-то мелко-житейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее и была особая одаренность, трудно поддающаяся определению»[5].

Воспоминания — это не дневник, в дневнике обычно фиксируются события и впечатления, почти совпадающие во времени с их протеканием (иногда, правда, дневники включают и воспоминания). И потому дневники, казалось бы, ближе к истине, достовернее, чем воспоминания, авторы которых могут чуть-чуть приукрасить свою роль, чуть-чуть исказить происходившее, в зависимости от конъюнктуры изменить свои оценки людей,

фактов, тех или иных явлений. Все это так. Но ведь ничьи воспоминания никогда не рассматривались как единственный достоверный источник о времени и о людях. Ценность воспоминаний именно в личном взгляде на те или иные события, в собственной оценке тех или иных персонажей мировой драмы. Именно сопоставляя мемуары разных, очень разных людей, потомки смогут лучше понять минувшее время.

В «Воспоминаниях» (первоначально они печатались в парижской газете «Возрождение») Тэффи обращается к временам не столь отдаленным, еще не утратившим в памяти своих красок, деталей, четкости. И потому, возможно, столь живыми и объемными предстают перед нами персонажи, мелькнувшие на страницах воспоминаний и исчезнувшие в дымке времени. Мальчишка на перроне украинского городка, Максимилиан Волошин, вступающийся за невинных, комендант Одессы Гришин-Алмазов, Аркадий Аверченко, с которым начинался путь Тэффи на юг, и многие другие герои этой книги оживляют ее, делая почти осязаемым время. А некоторые герои, как, например, псевдоним Гуськин, являются бесспорной удачей Тэффи как прозаика, ибо Гуськин — это уже не конкретное историческое лицо, а литературный тип, воплощающий характерные черты целого класса, паразитирующего на искусстве. Конечно, он еще довольно безобиден, мелок, он еще, так сказать, зародыш, но именно из Гуськиных вырос тот класс хищников, который сегодня, в благообразной шкуре ягненка-менеджера, своими клыками и когтями вгрызается в плоть искусства и в карманы потребителей искусства.

В «Воспоминаниях» Тэффи много блестящих страниц, где писательница со свойственной ей ироничностью и умением проникать в суть характеров лаконично и убедительно воспроизводит лики времени. Книга Тэффи помогает нам понять тех, кто покинул Россию в разгар Гражданской войны или сразу после нее. Гражданская война — не столь уж частое явление в истории. И трудно в такой период сохранять нейтралитет, нужно, хотя бы в пассивной форме, принять ту или иную сторону. Сделать выбор. И Тэффи делает его: ее враги — новые большевистские власти и их войска. Она об этом пишет. И лишь мимоходом сообщает, как с Максимилианом Волошиным они вызволяли из застенков Добровольческой армии Кузьмину-Караваеву, схваченную белыми по ложному доносу.

Тэффи не пишет о застенках Добровольческой армии (она этого и не могла знать, поскольку в период гражданской войны — как и любой войны — всегда возрастает роль пропаганды, и если газеты белых ярко живописали жестокости красных, то газеты

красных с не меньшим усердием клеймили зверства белых), но зато несколько раз сообщает о виселице, которую явно использовали красные.

Книга Тэффи помогает понять тех русских людей, кто оказался в стане белых, покинул родные берега с надеждой вернуться, но так никогда и не ступил вновь на русскую землю.

Несколько иной жанр у произведений, включенных в книгу, которую писательница предполагала назвать «Моя летопись». Здесь она хотела рассказать о тех замечательных (в том или ином отношении) людях, с кем ей пришлось встречаться, общаться на протяжении многих лет или же встретиться всего лишь два-три раза (например Распутин), но слишком уж выделялись эти люди, слишком заметную роль сыграли или в истории литературы, или в судьбе России, русской эмиграции, или, наконец, в судьбе самой Тэффи. Герои ее «Летописи» не равнозначны ни по таланту, ни по известности, ни по своей роли в той или иной сфере жизни. Однако все они прошли через жизнь писательницы и оставили в ней заметный след.

Читателю сразу же бросается в глаза, что ни одна из глав «Летописи» не посвящена тем современникам, кто еще был жив. Правда, в главе «Георгий Чулков и Мейерхольд» Тэффи оговаривается: «Не знаю, жив ли Георгий Чулков». Но, очевидно, все же до нее дошли какие-то слухи, что к тому времени Чулкова в живых уже не было. Так что принцип этот выдержан. О живых она или упоминает мельком, или зашифровывает их под каким-нибудь инициалом. Вероятно, здесь действует внутренняя тактичность: Тэффи знает, что не каждому хочется, чтобы о нем писали, — а иногда и опасение навредить: вдруг тот, кого она упомянула, находится сейчас в Советском Союзе — ведь его могут объявить «врагом народа» из-за того, что о нем пишет «белогвардейская» писательница…

В разное время пересеклись судьбы Тэффи и ее героев, по-разному складывались их отношения, и узнать что-то новое из ее уст даже о хорошо известных людях или же хотя бы что-то о почти совсем неизвестных сегодня персонажах — всегда интересно. Потому что каждая глава (или очерк) ее «Летописи» — это художественное произведение, герои которого живут, действуют в эпоху, порой отстоящую от нас более чем на полвека, на три четверти века, а иногда почти на век (большевистская «Новая жизнь» выходила в 1905 году!), и мы узнаём во взаимоотношениях, поисках, метаниях людей прошлого какие-то черты, особенности, присущие и нашим современникам.

Мы узнаём что-то новое и о личности Николая II, и о личности Репина, знакомимся с почти неведомым ныне русскому

читателю Лоло, проникаемся еще большей симпатией к А. И. Куприну и вновь открываем для себя таких «странных людей», как З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский.

Узами теплой дружбы и взаимопонимания были связаны три русских писателя, доживавших последние свои годы в далеком Париже: И. А. Бунин, Тэффи и Б. Г. Пантелеймонов. Помимо воспоминаний третьих лиц, есть тому доказательства и самих участников дружеского кружка. Во r они на фотографии 1949 года за столом в саду среди других писателей: Бунин в кепке, Тэффи, рядом стоит Пантелеймонов. Есть письма Тэффи к Андрею Седых в Нью-Йорк, есть надписи на книжках. Вот надпись на сборнике стихов Тэффи «Шамрам», подаренном Пантелеймонову: «Дорогому брату по духу Б. Пантелеймонову. Повернитесь вечером лицом к Востоку и вспомните то, чего не было». Вот надпись на книжке Пантелеймонова «Святый Владимир»: «Надежде Александровне Тэффи, очаровательной, несравненной, умной, исключительной — благодарный Б. Пантелеймонов».

А вот листок в клеточку, вырванный из блокнота, со словами, написанными Тэффи за несколько дней, а может и часов, до смерти:

«Нет выше той любви, как если кто морфий свой отдаст брату своему.

Вот!!

Н. Т.»

Запись эта сделана писательницей, когда она уже с трудом могла говорить и страдала от мучительных болей. Тэффи благодарила в ней Тамару, вдову скончавшегося двумя годами ранее Бориса Пантелеймонова, принесшую ей морфий, который только и позволял на некоторое время избавиться от мук. Как видим, и в тяжкие свои часы Тэффи не утратила ни силы духа, ни склонности к иронии и шутке.

Такой она и была на протяжении всей жизни — смелой, острой на язык, ироничной, умной, очаровательной, исключительной, несравненной.

Ст. Никоненко

ВОСПОМИНАНИЯ

[6]

Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных
героических фигур описываемой эпохи
с их глубокой значимости фразами,
ни разоблачений той или иной политической линии,
ни каких-либо «освещений и умозаключений».
Он найдет только простой и правдивый рассказ
о невольном путешествии автора через всю Россию
вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей.
И найдет он почти исключительно простых,
неисторических людей, показавшихся забавными
или интересными, и приключения,
показавшиеся занятными,
и если приходится автору говорить о себе,
то это не потому, что он считает свою персону
для читателя интересной, а только потому,
что сам участвовал в описываемых приключениях
и сам переживал впечатления и от людей,
и от событий, и если вынуть из повести этот стержень,
эту живую душу, то будет повесть мертва.

1

Москва. Осень. Холод.

Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто.[7] Перспектив никаких.

Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои литературные выступления.

Убеждал мрачно.

— Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской»[8] гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне — меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-Богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.

— Вы говорили в «Лондонской»?

— Ну в «Лондонской». Плоха вам «Международная»[9]?

Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.

— Этот псевдоним Гуськин — какой-то странный.

— Чем странный? — отвечали люди опытные. — Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.

Сомнения пресек Аверченко[10]. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.

— Ну вот видите! — ликовал Гуськин. — Теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом.

Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия[11]. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая — вы едете!», «Счастливая — в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая… с кремом!»

Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.

— У моего кума был дом в Полтаве.

— А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня.

— Люблю цыбулю с салом!

— Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки. Все уже там.

Гуськин развил деятельность.

— Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю «Летучую мышь»[12]. Все отобрал.

— Ну уж если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить!

— Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр.

Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама, в прическе Клео де Мерод[13], густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.

Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась — и вышел «сам». Кто он был — не знаю. Но был он, как говорилось, — «весь в пулеметах».

— Вы такая-то?

— Да, — призналась. (Все равно теперь уже не отречешься.)

— Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, — иначе чего же он выскочил.

— Так вот потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так. Проставьте число и год.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.

— Та-ак! — мрачно сказал «сам». Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке: — Это мне… захотелось для автографа!

— Очень лестно!

Пропуск дан.

Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть

животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.

— Мне говорили, что вы любите искусство… — начинаю я издалека и… вдруг сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила: — Ах, какие у вас чудные сапоги!

Нос покраснел и слегка разбухает.

— Мм… искусство… я люблю театры, хотя редко приходилось…

— Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек!

— Нет, почему же… — слабо защищается комиссар. — Положим, я с детства любил красоту и героизм… служение народу…

«Героизм и служение» — слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.

— Ах, нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да — в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо[14]… и то не наверное. Вы гениальны!

Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.

Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами — Лоло и мною.[15]

Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно, — он будет «молчать, как рыба об лед».

Больше я комиссара не видала.

Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.

Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра».[16] В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

— В Криво-Арбатском переулке, на углу, в Суровской лавке

осталось еще полтора аршина батиста;[17] Вам непременно нужно его купить.

— Да мне не нужно.

— Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся.

— Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

_?

— Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорилась Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

Странные были эти последние дни.

По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва»[18] или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов[19] не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!

Всем хотелось быть «на людях»…

Одним, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.

Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве? Или там, откуда не вернется?

Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.

Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие — не все ли равно, — только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед.

Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В Чека заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг — о, радостное чудо! — после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.

— Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».

В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.

А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.

— Понимаете, какой ужас, — потрясая руками, рассказывал он. — Прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

— Да ведь мы же только через пять дней едем.

— А поезд уходит в девять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы…

2

Намеченный отъезд постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование — комиссар Нос-в-сапогах еще не успел вернуться на свою станцию.

Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире

Лоло.

— А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности и все эти вещи конфискуют?

Я попросила, в случае опасности, заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением — положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Впоследствии оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь — плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.

Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица…

Неожиданно прибило к нашему берегу Л. Яворскую[20]. Пришла, элегантная как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно — никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане…

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.

Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь.

Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.

Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня.

— Странно — какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?

Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.

Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.

Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:

Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.

У всех нас, отъезжающих, было много печали — и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти». Но никто не говорил об этой печали.

Помню нежный силуэт молодой арфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лёне Каннегиссере[21]. За несколько дней до

убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

— Почему же не у меня?

— Я тогда и объясню почему.

Условились пообедать у общих знакомых.

— Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, — объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.

Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы *потом,* что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И *потом* мы всегда знаем, что надо было сделать *тогда,* как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне — вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу…

Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе — не знаем. И иначе поступить не можем.

Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:

— Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?

— Можно. Не рассержусь.

— Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели ну хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?

— Не знаю… Не могу… Это не от меня зависит…

Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.

— Чудесно! — сказала актриса. — Вот это будет рай!

И она поцеловала меня.

— Но боюсь одного, — остановила я ее. — Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам…

Ну вот — утром едем на вокзал.

Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарио, от импресарио к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.

— Ну конечно. Новое дело. Опоздали на вокзал!

— Быть не может! Который же час?

— Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все кончено.

Гуськину дали кусок сахару, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.

Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами — там, наверху. Внизу — серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных… Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке… Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет… Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги…

«Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя».[22]

— Когда идешь по канату, — рассказывал мне один акробат, — никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать.

Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых…

Какая лошадь сочинила это либретто?..

У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»).

«Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся».

С тех пор прошло десять лет…

3

Началось наше путешествие довольно гладко.

Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамейкой и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.

Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался — почему поезд долго не отходит, а когда отошел — стал уверять, что отошел преждевременно.

— И это недобрый знак! Еще увидите, что будет.

Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно — щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.

Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.

— Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку.

— А почему же бабушку не осматривали?

— Ох, и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..

— А Коркины как ловко придумали. И всё экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг — «ах, ах!» — нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?

— У Булкиных чайник с двойным дном.

— Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите — в собственном носу.

— Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.

Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же, на глазах мадам Фук, слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла

на станции, три дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.

— Ну и что же?

— Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась.

Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов.[23]

— До того эти шпионы нахитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая — живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид — прямо подозрительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась…

Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.

— Едут, — сказала про нас рябая с бородавкой. — Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают.

— Что с цепи сорвавши, — согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.

Больше всего раздражала их китайская собачка пекинуа, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.

— Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.

— Оставила бы дома. Людям сесть некуды, а она собачищу везет!

— Она же вам не мешает, — дрожащим голосом вступилась актриса за свою «собачищу». — Все равно бы я вас к себе на колени не посадила.

— Небось мы собак с собой не возим, — не унимались бабы.

— Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.

— Чаво-о?

— Ой, да что же это? — вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. — Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?

— Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? — зароптали злобные голоса.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спущать», да тот на ходу спрыгнул.

— Жуткие типики, — сказал Аверченко. — Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом.

Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых…

И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!

Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.

— Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!

— У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби да в другую…

— Жгут их тоже много…

О, интересно, — что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка…

— Какой ужас! — говорю я Аверченке.

— Тише… — останавливает он.

— Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от «Сильвы» отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили (может быть, это поможет). Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щепочки… А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт! Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера! Пусть она сначала заплатит мне неустойку!»

«Индейка и злодейка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.

Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина: он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось?

Страшный, белый, задыхается.

— Вылезайте скорее! Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню.

Нельзя так нельзя. Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:

— Любовь-злодейка, любовь-индейка. Пожалуйте полтинник!

— Что-о?

— Полтинник! Любовь-злодейка, любовь-индейка.

Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси: оперетку «Сильва» с народным гневом.

Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь…

— Признавайтесь сейчас же! — говорю Аверченке.

Он сконфуженно смеется.

— Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Она за это всегда всем по полтиннику дает. Мальчишка оказался смышленый.

Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.

— Новое дело! — трагическим шепотом сказал он. — Этот бандит расстрелялся!

— Какой бандит?

— Да ваш комиссар. Чего вы не понимаете? Ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую.

Через другую так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.

Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет? Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше?

Гуськин с Аверченкиным «псевдонимом» ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Ауспиции были тревожны.[24]

Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо.

Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду: маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в ка ком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч.

Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом, подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул:

— Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, браво и браво. Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители — местный пролетариат — под вашим руководством разыграют ваши пьесы.

Актриса с собачкой, тихо ахнув, осела на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки. Маленький вокзальчик с палисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот Робеспьер[25].

— Мы бы, конечно, с удовольствием, — спокойно отвечает Аверченко, — но, к сожалению, у нас снят киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить.

— Ничего подобного! — воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос: — Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж!..

Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал:

— Господин комиссар. Ну, конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как! Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны, ну, вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?

— Стойте здесь. Мы сейчас все устроим, — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним.

— Попали! В самое гнездо! Каждый день расстрелы. Три дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.

— Пожалуй, придется ехать назад в Москву.

— Тсс!.. — шелестел Гуськин. — Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят! — с жутким ударением на «не» сказал он и замолчал.

Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи.

— Где же вы были?

— Сделал маленькую разведку. Беда… Некуда сунуться. Местечко битком набито народом.

С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, не прорезанными лучом фонаря.

— Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?

— Почему! По две-три недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается! Не могу говорить!.. Тсс!..

По платформе широкой птицей летел на бобрах наш Робеспьер. За ним свита.

— Помещение для вас найдено. Две комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито… с детьми… такой рев подняли! Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата.

И снова левой рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.

— Знаете что, — сказала я, — это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можем.

— Да, — подтвердил Аверченко. — Там у них дети, понимаете, это не годится.

Гуськин вдруг весело развел руками.

— Да, они у нас такие, хе-хе! Ничего не поделаешь! Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся. Они уж такие…

Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудаки, но сам, конечно, душою был с нами.

Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.

— Я м-могу пре-предложить по-по-э-э… ку-ку…

— Что?

— Ку-комнаты.

Кто такой? Впрочем, не все ли равно.

Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика

оказался мужем дочери бывшего железнодорожника.

Робеспьер торжествовал.

— Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, а я вечерком загляну.

Заика мычал, кланялся.

Устроились.

Мне с актрисами дали отдельную комнату. Аверченку взял к себе заика, «псевдонимов» упрятали в какую-то кладовку.

Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался: кажется, жена заики.

Напоили нас чаем.

— Можно бы ве-э-э-тчины… — шепнул заика. — Пока светло…

— Нет, уже стемнело, — прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза.

— Мм-а-ммаша. А если без фонаря, а только спички…

— Иди, если не боишься.

Заика поежился и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще, спрашивать ни о чем нельзя. Самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго, молча всматривалась в черное окно.

Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи:

— А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха! Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай Бог как сухо. Ну а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-Богу. Ну чего я буду врать. Хе!

Гуськин был гениален. Оживлен и прост. И когда распахнулась дверь и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленной до шести человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика.

— Великолепно, — воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже.

— Великолепно. Начало в восемь. Барак декорирован

еловыми шишками. Вместимость — полтораста человек. Утром расклеиваем плакаты. А сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее — режиссер или хор?

Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла — кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мейерхольд[26] с «треугольниками соотношения сил», Евреинов[27] с «театром для себя», Commedia dell'arte[28], актеротворчество, «долой рампу», соборное действо и тра-та-ра-ра-та-ра-та.

Робеспьер был упоен.

— Это как раз то, что нам нужно! Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено.

Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.

— У меня контракт… я через месяц могу… я вернусь… я клянусь…

Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар: пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен больший талант, чем для обычной рутинной актерской игры.

Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове.

Актриса унесла собачку.

На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома по направлению к железнодорожной насыпи послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых.

— Вы слышали? — спросила я. — Что это такое может быть?

Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал.

Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал…

Свита все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из свиты, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями; на

лапе тускло блеснул чудесный рубин-кабошон[29], глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости!..

Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами…

— Оленушка, — сказала я. — Пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать.

Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой.

— Свет погасите, — шепнула она. — Разденьтесь уж как-нибудь впотьмах… А штору, ради Бога, не спускайте.

Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.

— Так помните про штору. Ради Бога…

Ушла.

Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса — Оленушка.

— У него на этой чудесной шубе на спине дырка… — шепчет она, — и что-то темное вокруг… что-то страшное.

— Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем.

Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит.

И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:

— Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.

У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала…

Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.

Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.

И шепотом:

— Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, — донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.

Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет.

В дверь стучит Гуськин.

— Вы скоро? Здешняя… молодежь уже два раза прибегала.

Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина:

— Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? — шепотом спрашиваю я.

— Улыбайтесь, ради Бога, улыбайтесь, — шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как «L'homme qui rit»[30].

— Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай Бог,

подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона сорок верст. Там грабят.

— Кто же грабит?

— Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-Богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.

Мысль была сложная, но явно неутешительная.

— Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.

— А вы не знаете, где сам хозяин?

— Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.

В столовой двинули стулом.

— Скорей репетировать! — громко закричал Гуськин, отскочив от двери. — Вставайте скорее! Ей-Богу, одиннадцать часов, а они спят как из ведра!

Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя… Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.

— Любопытная история, — рассказывал, вернувшись, Аверченко. — Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.

— А тот?

— Того не нашли.

— Может быть… это и есть наш хозяин?..

4

Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.

Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и

Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало… Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем ни слова.

Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом, с ударением на «у»?..

Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.

— А вытирать я буду потом, когда мой валансьен[31] высохнет…

Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины — горький, зеленоватый, всегда сырой…

Аверченко взглянул на часы:

— Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.

— Кажется, кто-то стукнул в окно, — насторожилась Оленушка.

Под окном Гуськин.

— Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! — громко кричит он. — Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-Богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.

— Да ведь дождь идет!

— Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.

— Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, — шепчу я Аверченке. — Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду. Я не могу.

Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться — чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу.

Аверченко показался за окном и поманил меня.

— Не ходите направо, — шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.

— Идем посреди улицы, — шепнул Гуськин. — Мы себе гуляем для воздуха.

И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо — да, все больше на небо, — гуляем, да и только.

— Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, — бормотал Гуськин.

Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил:

— Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо — комиссарша Х.

Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.

— Х — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка — не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая — как говорится, ненормальная собака. Зверь, — выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. — Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!

Он оглянулся.

— Повернем немножко в другую сторону.

— А что насчет нас слышно? — спросила я.

— Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Неделю тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать — нашла керенку — в лампасы себе зашил. Так она говорит: «На него патронов жалко тратить… Бейте прикладом». Ну, били. Спрашивает: «Еще жив?» — «Ну, — говорят, — еще жив». — «Так облейте керосином и подожгите». Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик… мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабрикантшу обыскивали. Много везла с собой. Деньги. Меха. Бриллианты. С ней приказчик ехал. А муж на Украине. К мужу ехала. Всё отобрали. Буквально всё. В одном платье осталась. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустят ее отсюда или… Ой, да куда же мы идем! Вертайте скорей!

Мы почти подошли к насыпи.

— Не смотрите же туда! Не смотрите! — хрипел Гуськин. — Ой, вертайте скорее!.. Мы же ничего не видали… Идите тихонько… Мы же себе гуляем. У нас сегодня концерт, мы же гуляем, — убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами.

Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в

свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно… Мне показалось, что волочит она… наверное., показалось… волочит руку… да, какие-то лохмотья и руку, я видела пальцы… Только ведь это невозможно. Ведь нельзя же отгрызть руку…

Помню холодный липкий пот на висках и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному.

— Идемте, идемте!

Аверченко ведет меня под руку.

— Ведь хозяйка предупреждала, — хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить.

— Мы попросим горячего чая, — кричит Гуськин, — и мигрень живо пройдет! От холодного мигрень всегда проходит. Что?

Когда мы подошли к дому, он шепнул:

— Актрисам нашим ни о чем ни полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют — нам утром надо уезжать. Что-о?

Гуськина «что-о?» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека: один говорит, а другой с удивлением переспрашивает.

Дома застали мирную картину: лампа, самовар. Одна из актрис поит молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера.

Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все «светлые личности, сбросившие вековые цепи» — каторжники, что ли? И вдобавок «глубокие ценители и знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки»[32].

Что же читать?

— Надо читать нежные стихи, — решила Оленушка. — Поэзия облагораживает.

— А я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, — сказал Аверченко.

Оленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою «Федосью».

«Ходила Федосья, калека перехожая» и т. д. (вещь очень актерами любимая и зачитанная).

— И вот, представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту Морковью». Ведь там же про Христа говорилось, — пламенно

убеждала Оленушка, — иноверцу, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало.

— Милая Оленушка, — сказала я. — Вашего «иноверца» здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину…

В сенях раздался восторженный голос Робеспьера.

Я вышла из комнаты.

Вечер. Восемь часов.

Пора отправляться на знаменитый концерт.

Как одеться? Вопрос серьезный.

Думали, думали — решили надеть блузки и юбки.

— Если наденем что-нибудь понаряднее — наверное ограбят, — сказала актриса с собачкой. — Не надо им показывать, что у нас есть приличные платья.

— Ладно.

Идти придется пешком, через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров… Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. Впотьмах кажется, будто она кипит и шевелится.

Оленушка сразу завязла и пищит, что у нее «калоши захлебнулись».

Гуськин водит над дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи.

Какая неуютная дорога в «Клуб просвещения и культуры».

— А на что им лучше? — говорит незнакомый голос. — Там все равно никто никогда не бывает.

Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожней.

Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, — как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?

Аверченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже в клубе попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот — идти как есть, а там, в клубе, потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше — выстирать в клубе чулки — а что мокрые, то ведь это будет мало заметно.

— А вы умеете стирать? — мрачно спросил чей-то голос.

Гуськин ворочал грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Оленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул.

— Это ваше?

Кто-то подает мне что-то круглое, черное. Что это за гадость?

— Ваша калоша… в ней туфля.

— Гуськин! — кричу я. — Я не могу идти дальше. Я умру.

Гуськин деловито приблизился.

— Не можете? Ну так садитесь мне на шею.

Я поняла это приглашение как аллегорическое: губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить.

— Гуськин, я правда не могу. Смотрите, я стою, как цапля, на одной ноге… Мой башмак весь в грязи… Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул… Гуськин, спасите меня!

— Так я же говорю — садитесь мне на шею. Я вас понесу.

Ничего не понимаю.

— Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть.

— Встаньте сначала на заборчик… или вон тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи… Можно сначала на него.

Поеду на Гуськине, как кузнец Вакула на чёрте[33]?

Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио — ни разу.

— Спасибо, Гуськин. Но уж очень вы огромный, у меня голова закружится.

Гуськин растерялся.

— Ну… хотите, наденьте мои башмаки?

Тут у меня без всякой высоты закружилась голова.

Как в минуты высшего душевного напряжения — вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором: детство, первая любовь… война… третья любовь… литературная слава… вторая революция и… все это увенчивается незабываемыми «штиблетами» Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи — какой бесславный конец! Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя…

— Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду.

И, конечно, дошла.

В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику.

Барак вмещал, вероятно, человек сто. С правой стороны на подпорках и брусьях висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала.

В первых рядах — «генералитет и аристократия». Все в коже (я говорю, конечно, не о собственной, человеческой, а о телячьей, бараньей — словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами). Многие в «пулеметах» и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не в

концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.

— Смотрите на эту, вон — в первом ряду посредине… — шепчет Гуськин. — Это она.

Коренастая коротконогая девица, с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках. Клеенчатая шапка.

— Какой зверь! — с ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин.

«Зверъ»? Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не хватают до полу. Сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. И нет глаз, нет бровей, нет рта — все смазано, сплыло. Ничего «инфернального»[34]. Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза. Почему они знакомы мне? Видела я их, видела… давно… в деревне… баба-судомойка. Да, да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил — своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их…

— Ой, не смотрите же так долго, — шепчет Гуськин. — Разве можно так долго!..

Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел. А я смотрела.

Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза. Как сова, ослепленная дневным светом, чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит, не видя, прямо туда, откуда глядят на нее.

И в этом странном слиянии остановились мы обе.

Я говорила ей:

— Все знаю. Скучна безобразной скукой была твоя жизнь, «Зверъ». Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах. Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее… Дотянула, дотосковала лет до тридцати, а там, пожалуй, повесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой — такова песнь твоей жизни. И вот такой роскошный пир приготовила для тебя судьба! Напилась ты терпкого теплого человеческого вина досыта, допьяна. Хорошо! Правда? Залила свое сладострастие, больное и черное. И не из-за угла тайно, похотливо и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те, товарищи твои, в кожаных куртках с револьверами, — простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку — шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются и уважают тебя именно за это бескорыстие, за

«идейность». Но я-то знаю, что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную, свою «черную» работу. Ее ты оставила себе.

Не знаю, как могу смотреть на тебя и не кричать по-звериному, без слов — не от страха, а от ужаса за тебя, за человека — «глину в руках горшечника»[35], слепившего судьбу твою в непознаваемый рассудком час гнева и отвращения…

Народу набилось много. Красноармейцы, какой-то темный сброд. Женщин было мало, и большинство в солдатских шинелях. Два приземистых комиссара в кожаных куртках переглядывались и поочередно выходили из барака строгим революционным шагом и опять возвращались на место, оправляя свои «пулеметы», словно наскоро отстояли завоевания революции и снова могут приобщиться к достижениям искусства.

Наш Робеспьер почему-то притих и маячил где-то сбоку без восторженных жестов и без свиты.

Пора начинать.

Я вернулась в уборную господ артистов и узнала, что все уже решено и слажено. Главное — идея самого Гуськина — у нас будет конферансье, который необходим для оживления спектакля. Жалко, что не подумали об этом раньше, но, слава Богу, совершенно неожиданно нас согласился выручить наш хозяин-заика.

— Ну и дела! — шепчу Аверченке. — Ведь он же, несчастный, Бог знает что наплетет.

— Неловко отказываться, — смеется Аверченко. — Может быть, даже это выйдет лучше всего.

Первый выход: актриса с собачкой и Аверченкин импресарио изобразят сценку.

Выпихнули заику объявить: «Сценка Аверченко в исполнении таких-то».

— С… с… с… с… — сказал он, махнул рукой и ушел.

Публика решила, что ее призывают к молчанию, и ничуть не удивилась.

Актриса с собачкой защебетала испуганной птицей такие странные здесь слова о каких-то кузинах, левкоях, вальсах, влюбленном профессоре и опере «Аида».

Я наблюдала за публикой. Комиссары продолжали переглядываться, входить и уходить. Остальные сидели, словно ждали, что сейчас объявят очередную революцию и распустят по домам. Но помню, какая-то широкая харя в солдатской фуражке заинтересовалась и даже временами осклаблялась, но сейчас же, словно опомнившись, сдвигала брови и зверски косила глазами. В

общем, мне кажется, что начальство забыло объявить этой бедной публике, что созвана она на вечер культурного развлечения, а самой ей разбираться в обстоятельствах не полагалось.

Заика твердо держался порученной ему роли и, несмотря на наши просьбы не утомляться, перед каждым номером вылезал на эстраду и нес околесицу. Меня назвал Аверченкой, Аверченку — «артисткой проездом», из остальных у него вышло только «э… э… э…»

Гуськин чувствовал себя настоящим антрепренером. Шагал, заложив руки за спину, что-то бормотал себе под нос, что-то комбинировал. Иногда заходил за кулису и шептался с кем-то. И вдруг этот «кто-то» выскочил и оказался неизвестным господином в голубых атласных шароварах, красном бархатном кафтане и лихой боярской шапке на затылке.

Быстро раздвинув нас локтями, он взбежал на эстраду и запел очень скверным, но громким голосом «Спите, орлы боевые».

Заика, только что анонсировавший: «э… э… э…» — и еще не успевший сойти с эстрады, так и остался на ней с перекошенным судорогой ртом.

— Кто это?

— Что это значит?

— Он ужасно поет! — волновались мы.

Гуськин смущенно отворачивался.

— Да… поет он, действительно, как мать родила.

— Гуськин, объясните нам, кто это и почему он вдруг запел?

— Тссс…

Гуськин оглянулся.

— Тссс… Почему запел?.. Нитки везет на Украину. Тут всякий запоет!

Певец закончил такой фальшивой нотой, что нарочно не выдумаешь. И вдруг публика заревела, захлопала. Понравились «Орлы».

Певец выскочил снова, запаренный и счастливый.

— Ну! Сделал себе свои нитки?

Гуськин заложил руки за спину.

— Что-о?

«Что» было формой риторической.

Когда программа закончилась и мы всей «труппой» вышли раскланиваться на аплодисменты, неожиданный певец выскочил на два шага вперед, как ведетта[36] и любимец публики, и расшаркался, прижимая руку к сердцу.

Публика хлопала от души, долго и громко.

— Браво! Браво!

И вот справа, сверху, где помещались не то ложи, не то сеновал, слышу, несколько голосов негромко, но настойчиво выкликают мое имя.

Подняла голову.

Женские лица, такие беспредельно усталые, безнадежно грустные. Мятые шляпки, темные платьишки. Они перегнулись сверху и говорят:

— Милая вы наша! Любимая! Дай вам Бог выбраться поскорее…

— Уезжайте, уезжайте, милая вы наша!..

— Уезжайте скорее…

Такого жуткого приветствия ни на одном концерте не доводилось мне слышать!

И такое напряженное отчаяние и решимость и в этих голосах, и в этих глазах. Должно быть, не малым рисковали они, обращаясь ко мне так открыто. Но «генералитет» уже ушел, а мелкая публика галдела и хлопала и вряд ли что слышала.

И я им сказала:

— Спасибо, спасибо вам. Когда-нибудь встретимся?..

Но они уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя их бледных лиц. Короткое и горькое:

— Нет.

5

Раннее утро. Дождь.

На улице перед домом три телеги. Гуськин и Аверченкин импресарио укладывают наш багаж.

— Гуськин! Все налажено?

— Все! Пропуск дан. Сейчас обещали прислать охрану.

И шепотом:

— Уф! Больше всего охраны боюсь!

— Так ведь без охраны ограбят.

— А вам не все равно, кто вас будет грабить — охрана или кто другой?

Я соглашаюсь, что, пожалуй, действительно все равно… К нам подъезжают еще две телеги. В одной семейство с детьми и собаками. В другой — полулежит очень бледная женщина, закутанная в байковый платок. С ней мужчина в тулупе. Женщина, видно, тяжело больная. Лицо совсем неподвижное, глаза смотрят в одну точку. Ее спутник бросает на нее быстрые беспокойные взгляды и, видимо, старается, чтобы никто на нее не обратил внимания, закрывает ее собою от наших глаз, вертится

около телеги.

— Ох, ох, ох! — говорит всезнающий Гуськин. — Это та самая фабрикантша, которую обобрали.

— Отчего же она такая страшная?

— Ей прокололи бок штыком. Ну, они делают вид, что она себе здорова и ни на что не жалуется, а сидит себе и весело едет на Украину. Так уж и мы будем им верить и пойдем себе к своим вещам, что-о?

Подъехали еще телеги. В одной — вчерашний певец в рваном пальтишке. Вид невинный и три чемодана (с нитками?).

Это хорошо, что набирается такой большой караван. Так спокойнее.

Наконец появилась охрана: четыре молодых человека с ружьями.

— Скорее ехать! Нам некогда, — громко скомандовал один из них, и мы двинулись.

У выезда из селения подъезжает еще несколько телег. В общем — составилось уже двенадцать-четырнадцать. Ехали медленно. Охрана шагала рядом.

Унылое путешествие! Дождь. Грязь. Сидим на мокром сене. Впереди сорок верст этой самой загадочной зоны.

Проехали верст пять. Кругом пустое поле, справа полуразвалившийся сарай. И вдруг неожиданное оживление пейзажа: идут по пустому полю шеренгой в ряд шестеро в солдатских шинелях. Идут медленно, будто гуляют. Обоз наш остановился, хотя они не сделали ни малейшего знака, выражающего какое-нибудь требование.

— Что такое?

Вижу, соскакивает с телеги Гуськин и деловито идет в поле не к шинелям, а к сараю. Шинели медленно поворачивают туда же, и вся компания скрывается из глаз.

— Дипломатические переговоры, — сказал Аверченко, подошедший к моей телеге.

Переговоры длились довольно долго.

Наша охрана почему-то никакого участия в них не принимала, а напротив, утратив всякий начальственный и боевой вид, казалось, пряталась за нашими телегами. Странно…

Гуськин вернулся мрачный, но спокойный.

— Скажите мне, — обратился он к моему вознице, — может, здесь скоро поворот будет?

— Не-е, — отвечал возница.

— Если будет поворот, то эта военная молодежь успеет пройти наперерез и встретить нас еще раз.

— Не-е, — успокоил возница. — Погода плохая — они вже

ночувать пойшли.

Хотя в девятом часу утра «ночувать», казалось бы, рановато, но мы с радостью поверили.

Возница показал кнутом вправо: на горизонте шесть фигур шеренгой. Уходят.

— Ну, езжаем, — сказал Гуськин. — Может, еще кого встретим.

Охрана вылезла и браво зашагала рядом.

Унылое путешествие.

Ехали, почти не отдыхая. Для разнообразия менялись местами, ходили друг к другу в гости. Неожиданно один из охранников вступил с нами в разговор. Я сухо ответила и сказала сидевшей со мной Оленушке по-французски:

— Не надо с ними разговаривать.

Охранник чуть-чуть усмехнулся и спросил:

— Почему же? Я ведь вас давно знаю. Вы читали на вечере у нас в Технологическом.

— Как же вы… сюда попали?

Он смеется:

— А вы думали, что мы большевики? Мы несколько дней всё ждали случая вырваться оттуда. Нас четверо — два студента и два офицера. А сегодня, когда стали говорить об охране для вас, никто из большевиков не захотел отлучаться. У них каждый день добыча есть. Ну вот мы и вызвались, подговорили кое-кого. Мы, мол, выручим. Вот и выручили. Одно только их смущало, что у моего товарища золотой зуб. Хотелось выдрать. Ну да в спешке, как видно, позабыли.

Едем дальше.

На перелеске ограда — частокол. У ворот два немецких солдата. За воротами барак.

— Это что за гуген таг?

— Карантин! Новое дело! — мрачно объясняет Гуськин.

Из калитки выходит немец поважнее, в шинели потемнее и говорит, что мы должны просидеть две недели в карантине.

Гуськин на диком немецком языке объясняет, что мы самые знаменитые писатели всего мира и что мы «так здоровы, как не дай Бог, чтобы господин начальник был болен». И зачем мы будем занимать в карантине место, которое нужно для других?

Но немец своей пользы не понял и захлопнул калитку.

— Гуськин! Неужели ехать назад?

— Этт! — отвечал Гуськин презрительно. — Зачем назад, когда надо вперед. Ход есть, только надо поискать. Стойте, а я начинаю.

Он заложил руки за спину и стал ходить вдоль ограды. Ходил

и внимательно смотрел часовым прямо в лицо. Раз прошел, два, три.

— Черт знает что! — удивлялся Аверченко.

Весь наш длинный поезд стоял и доверчиво и покорно ждал.

Четыре раза прошел Гуськин мимо часовых, наконец выбрал одного, приостановился и спросил:

— Ну?

Часовой, конечно, молчал. Но вдруг глаза его поехали вбок. Один раз, другой, третий… Я посмотрела по другую сторону дороги: за кустами стоял еще один немец и невинно разглядывал веточку бузины. Гуськин медленно, не глядя на немца, стал кругами, как коршун, приближаться к нему. Потом оба скрылись в лесу.

Пропадал Гуськин недолго. Вышел один и громко сказал:

— Делать нечего. Поворачиваем назад.

И мы покорно повернули. Покорно, но бодро — потому что верили в гуськинский гений.

Проехали по старой дороге с полверсты и свернули в лес. Там Гуськин спрыгнул с телеги и зашагал, оглядываясь по сторонам.

В кустах мелькнула немецкая шинель. Гуськин свернул.

— Подождите, я сейчас! — крикнул он.

Переговоры длились недолго. Вылез он из кустов уже с двумя немцами, которые дружески, словами и жестами, показывали ему, где повернуть в объезд.

Повернули, встретили еще немца. С ним поладили в две минуты. Встретили еще какого-то мужика — на всякий случай сунули и ему. Мужик деньги взял, но долго смотрел нам вслед и чесал правой рукой за левым ухом. Ясно было, что дали напрасно.

Вечером показались огоньки большого украинского местечка К.[37] Обоз наш уже въезжал на мощеную улицу, когда Гуськин в последний раз соскочил и, подбежав к шарахнувшемуся от него прохожему, стал совать ему деньги. Прохожий удивился, испугался и денег не взял.

Тогда мы поняли, что зона действительно кончилась.

К. — большое местечко при железной дороге, с мощеными улицами, каменными домами и кое-где даже электрическим освещением.

Набито местечко было до отказу путниками вроде нас. Оказывается, переехать через границу еще не значило свободно циркулировать по Украине. Здесь тоже надо было исхлопотать какие-то бумаги и пропуски… А на это нужно время — вот и сидели здесь путники вроде нас…

Долго колесил наш обоз по улицам, ища пристанища.

Понемногу то та, то другая телега сворачивала и исчезала. Под конец осталась только голова каравана — наши телеги — мокрые, грязные, безнадежные.

Тащились медленно. Гуськин рядом шагал по панели, стучал в окна и ставни, просил ночлега. Из окон высовывались бороды и руки, мотались, махались, и все отрицательно.

Мы сидели молча, продрогшие, унылые, безответные, и казалось, что Гуськин погрузил на три телеги какой-то негодный товар и предлагает покупателям, а те только отмахиваются.

— Везет как телят! — соглашается со мной Оленушка. — Что поделаешь! И мысли у нас самые телячьи: выпить бы чего-нибудь теплого да лечь спать.

Наконец у ворот новенького двухэтажного домика Гуськин вступил в такой оживленный диалог с каким-то старым евреем, что возницы наши остановили лошадей. Они, люди опытные, поняли сразу, что дело здесь может наладиться.

Диалог был сильно драматический. Голоса падали до зловещего шепота, поднимались до исступленного крика. Оба собеседника говорили одновременно. И вдруг в самый грозный момент, когда оба, потрясая поднятыми над головой руками, вопили, казалось, последнее проклятие, так что Оленушка, прижавшись ко мне, крикнула: «Они сейчас вцепятся друг в друга!» — Гуськин спокойно повернулся к нам и сказал извозчикам:

— Ну так чего же вы ждете? Въезжайте во двор.

А старик стал открывать ворота.

Дом, в который мы вошли, был, как я помянула, новый, с электрическим освещением, но странной конструкции: прямо с парадного хода вы попадали в кухню. Нас как почетных гостей провели дальше, но сами владельцы, по-видимому, построив эти хоромы, так в кухне и застряли. Семья была огромная и ютилась на кроватях, сундуках, скамейках и просто подстилках.

Самая главная в семье была старуха. Потом старухин муж — встретивший нас длинный бородач. Потом дочки. Потом дочкины дочки, дочкины мужья, сын жены сына, сыновья дочки и какой-то общий внук, которого все с любовью и воплями воспитывали.

Прежде всего, для порядка, спросили у старухи, сколько она с нас возьмет. Именно для порядка, потому что все равно деваться некуда.

Старуха сделала скорбное лицо и махнула рукой:

— Э, что об этом говорить! Разве можно брать деньги с людского горя? Когда людям некуда приклонить голову! У нас места сколько угодно, и всё в доме есть (тут старуха отвернулась

и поплевала, чтобы не сглазить), так мы еще будем брать деньги? Идите себе отдыхать, дочкина дочка подаст вам самовар и что надо. И прежде всего обсушитесь и ни о чем не беспокойтесь. Какие там деньги!

Мы растроганно протестовали.

Я смотрела на эту удивительную женщину со старозаветным париком на голове (парик был фальшивый, просто черная повязка с белой ниткой поперек, изображающей пробор).

— Мы же не можем пользоваться ее великодушием, — сказал Аверченко Гуськину. — Надо непременно ее уговорить.

Гуськин загадочно улыбнулся.

— Этт! На этот счет можете быть спокойны. Ну — я вам говорю.

Больше всех взволновалась Оленушка. Со слезами на глазах она сказала мне:

— Знаете, мне кажется, что Бог послал нам это путешествие, чтобы мы увидели, что есть еще на свете добрые и великодушные люди. Вот эта старуха, простая и небогатая, с какой радостью делится с нами своими крохами и жалеет нас, чужих людей!..

— Удивительная старуха! — согласилась я. — И что удивительнее всего — лицо у нее такое… не особенно симпатичное…

— Вот как не следует судить о людях по их внешности.

Мы обе так растрогались, что даже отказались от яичницы.

— Бедная старуха, отдает последнее…

Между тем Гуськин со стариком, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимые бумаги и завтра же ехать дальше.

Сначала старик ходил куда-то один. Потом повел Гуськина. Потом оба вернулись, и Гуськин пошел один. Вернулся и сказал, что начальство требует, чтобы Аверченко и я немедленно явились к нему лично.

Было уже одиннадцать часов, хотелось спать, но что поделаешь — пошли…

Мы смутно представляли себе, что за начальник нас ждет. Комендант, комиссар, хорунжий, писарь, губернатор… Сказано идти — идем. Мы уже давно отвыкли предъявлять какие-либо права или хотя бы допытываться, куда, к кому и зачем нас тащат. «Везут как телят!» — права была Оленушка.

Пришли к какому-то казенному учреждению. Не то почта, не то участок…

В небольшой выбеленной комнате за столом офицер. У дверей солдат. Форма новая. Значит, это и есть украинцы.

— Вот, — сказал Гуськин и отошел в сторону.

Покровительствующий нам старухин муж встал у самых дверей и весь насторожился: если, мол, чуть что — он шмыг за дверь и был таков.

Офицер, молодой белокурый малый, повернулся к нам, посмотрел внимательно и вдруг улыбнулся удивленно, широко и радостно.

— Так это же ж правда? Вы кто?

— Я — Тэффи.

— Я — Аверченко.

— Вы писали в «Русском слове»?

— Да, писала.

— Гы-ы! Так я же ж всегда читал. И Аверченко. В «Сатириконе». Гы-ы! Ну прямо чудеса! Я думал, врет этот лайдак. А потом думал — если не врет, так все равно посмотрю. Я никогда в Петербурге не бывал, откровенно говоря, очень интересно было посмотреть. Гы-ы! Ужасно рад! Сегодня же вам обоим пришлю пропуски! Где вы остановились?

Тут старухин муж отклеился от двери и пролопотал свой адрес, скрепив его именем Божьим:

— Ей-Богу!

Мы поблагодарили.

— Значит, завтра можем ехать?

— Если хотите. А то погостили бы! У нас всего вдоволь. Даже шампанское есть.

— Вот это уж совсем хорошо! Даже не верится, — мечтательно сказал Аверченко.

Офицер встал, чтобы проводить нас, и тут мы заметили растерянную физиономию Гуськина.

— Так вы же забыли самое главное! — трагическим шепотом свистел он. — Самое главное! Мой пропуск. Господин начальник! Я же из их труппы и еще три артиста. Они же без меня никак не могут! Они же засвидетельствуют. Что же будет? Это будет последний день Помпеи на этом самом пороге!

Начальник вопросительно посмотрел на нас.

— Да, да, — сказал Аверченко. — Он с нами и трое артистов. Совершенно верно.

— Рад служить.

Распрощались.

Гуськин всю дорогу недоумевал.

— Самое главное позабыли! Что-о? Позабыли себе пропуск для Гуськина! Новое дело!

Дома, успокоенные, довольные и сонные, уселись мы вокруг самовара, подогретого дочкиной дочкой. Так как острота умиления над самоотверженной старухой уже прошла, то и мы с

Оленушкой согласились поесть яичницы.

— Во всяком случае, мы сумеем ее убедить взять с нас хоть по себестоимости за все это, если уж она ни за что не хочет брать за услуги и квартиру. Не умирать же нам с голоду оттого, что она такой чудесный человек.

— А какой грубый этот Гуськин! Осклабился, как идиот: «Этт! Можете быть спокойны». Ему-то старуху не жалко.

В комнате тепло. Обветренные щеки горят. Пора спать. Скоро двенадцать. Влетает молодой человек, вероятно сынов сын.

— От начальника пришли! Требуют пана Аверченку.

— Неужто передумал?

— А мы-то радовались!..

Аверченко вышел на кухню. Я за ним.

Там, окруженный испуганной толпой дочкиных дочек, стоял украинский городовой.

— Вот пропуски. И вот еще начальник прислал.

Две бутылки шампанского.

Каким очаровательным явлением может быть иногда украинский городовой!

Мы чокаемся теплым шампанским…

Как высоко вознесла нас судьба! Электрическое освещение, пробки летят в потолок, и пенится вино в чашах (именно в чашах, потому что пили его из чайных чашек).

— Уфф! — радостно вздыхает Гуськин. — А я, признаюсь, мертвецки перепугался!..

Утро в К-цах.

Денек серенький, но спокойный, уютный, обыкновенный, как всякий осенний день. И дождик обычный — не тот, который третьего дня, безнадежный, будто соленый и горький, как слезы, размывал у насыпи кровавые ошмотья…

Лежим долго в постели. Тело разбито, душа точно дремлет — устали мы!

А за дверями на кухне говор, суетня, звенит посуда, кто-то кого-то бранит, кого-то выгоняют, кто-то заступается, галдят несколько голосов сразу… Милая симфония простой человеческой жизни…

— И где же тарелкэ? И где же тарелкэ? — вырывается чье-то звонкое соло из общего аккорда.

— А вуйдэ Мошкэ?

И потом сложный дуэт, что-то вроде: «Зохер-бохер, зохер-бохер».

И густое контральтовое соло:

— А мишигене копф.

Дверь осторожно приоткрывается, и в узкую щелку оглядывает нас черный глазок. И прячется. Немножко ниже появляется серый глаз. И тоже прячется. Потом гораздо выше прежнего — опять черный — огромный и удивленный…

Это, верно, дочкины дочки ждут нашего пробуждения.

Пора вставать.

Поезд уходит только вечером. Целый день придется просидеть в К-цах. Скучно. Скучно, вероятно, от спокойствия, от которого отвыкли за последние дни. Два дня тому назад мы на скуку пожаловаться не могли…

Приходит дочкина дочка и спрашивает, что нам приготовить на обед.

Мы с Оленушкой переглядываемся и в один голос говорим:

— Яичницу.

— Да, да, и больше ничего не надо.

Дочкина дочка, видимо, удивлена и даже как будто недовольна. Вероятно, добрая старуха рассчитывала угостить нас на славу.

— Это было бы бессовестно с нашей стороны, если бы стали пользоваться ее порывом.

— Конечно. Яичница все-таки самое дешевое… Хотя трудно есть ее два дня кряду.

Оленушка смотрит на меня с упреком и опускает глаза.

Пришел Аверченко. Принес целую груду чудесных яблок.

Оленушка пошла пройтись. Вернулась взволнованная.

— Угадайте — что я принесла?

— Не знаю.

— Нет, вы угадайте!

— Корову?

— Нет, вы не шутите! Угадайте.

— Не могу. Кроме коровы, ничего не приходит в голову. Канделябры, что ли?

— Ничего подобного, — торжественно говорит она и кладет на стол плитку шоколада. — Вот!

Подошла актриса с собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже: понюхала шоколад и тявкнула.

— Откуда? — расспрашивали мы.

— Представьте себе — прямо смешно, — преспокойно купила в лавчонке. И никто ничего и не спрашивал, никаких бумаг, и в очереди не стояла. Прямо увидела, что в окошке выставлен шоколад, — вошла и купила. Бормана. Смотрите сами.

Какая странная бывает жизнь на белом свете: идет человек по улице, захотел шоколаду, вошел в магазин — и «пожалуйста, сделайте ваше одолжение, извольте-с». И кругом люди и видят, и

слышат, и никто ничего, будто так и надо. Прямо анекдот!

— А не кооператив?

— Да нет же. Просто лавчонка.

— Ну-ну! Нет ли тут подвоха? Давайте попробуем. А когда съедим, можно еще купить.

— Только, пожалуй, второй раз уж мне лучше не ходить, — решает Оленушка. — Пусть кто-нибудь другой пойдет, а то еще покажется подозрительным…

Умница Оленушка! Осторожность никогда не вредит.

Когда первая вспышка восторга и удивления проходит, снова становится скучно. Как дотянуть до вечера?

Собачка пищит. Ее хозяйка ворчит и штопает перчатки. Оленушка капризничает:

— Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница, значит, снова истребление жизни. Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами.

— Оленушка, милая, — говорю я, — вот вы сейчас за один присест и между прочим съели добрый десяток. Так надолго ли вам яблони-то хватит?

У Оленушки дрожат губы — сейчас заревет.

— Вы смеетесь надо мной! Да! Да, я съела десяток яблок, так что же из этого? Это-то меня и у-уби…вает больше всего… что я так погрязла и бе…безвольная…

Тут она всхлипнула и, уже не сдерживаясь, распустила губы и заревела, по-детски выговаривая «бу-у-у!».

Аверченко растерялся.

— Оленушка! Ну что же вы так убиваетесь! — утешал он. — Подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню.

— Бу-у-у! — убивалась Оленушка.

— Ей-Богу, посадим. И яблоки живо поспеют — там климат хороший. А если не хватит, то можно немножко прикупать. Изредка, Оленушка, изредка! Ну не будем прикупать, только не плачьте!

«Это все наша старуха наделала, — подумала я. — Оленушке перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что туг поделаешь?»

Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли…

Опять глаз!

Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз, другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил за собой в щелочку и нос.

Голос за дверью нетерпеливо спросил:

— Ну-у?

— Вже! — ответил он и спрятался.

Что там делается?

Мы стали наблюдать.

Ясно было: на нас смотрят, соблюдая очередь.

— Может быть, это Гуськин нас за деньги показывает? — додумался Аверченко.

Я тихонько подошла к двери и быстро ее распахнула.

Человек пятнадцать, а то и больше, отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки.

— Гуськин! Что это значит?

— Ффа! Любопытники. Я же им говорил — чего смотреть! Хотите непременно куда-нибудь смотреть, так смотрите на меня. Писатели! Что-о? Что у них внутри — все равно не увидите, а снаружи — так совсем такие же, как я. Что-о? Ну конечно, совсем такие же.

Одно интересно — продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром? Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять doigté[38], упражняется на немых клавишах.

Мы вернулись к себе, заперев дверь поплотнее.

— А собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия? — размышляла Оленушка. — Если им так интересно — пусть бы смотрели.

— Верно, Оленушка, — поспешила я согласиться (а то еще опять заревет). — Да, скажу больше: чтобы доставить им удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк: поставить Аверченку кверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод и пусть говорит «ку-ку».

Днем после первой яичницы (потом была и вторая — перед отъездом) развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил.

— У вас здесь в К-цах хорошо, спокойно.

Он уныло долбил носом.

— Хорошо-о. А что будет дальше?

— Какие вкусные у вас яблоки!

— Вкусные. А что будет дальше?

— У вас много дочек.

— Мно-го-о. А что будет дальше?

Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог,

поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких, но глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов — вроде диалогов Платона[39].

— У вас очень хорошая жена, — сказала Оленушка. — Вообще, вы все, кажется, очень добрые!

— Добрые. А что бу…

Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.

После второй яичницы сложили вещи; мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал; мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания — расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить — пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Оленушкой придумали вместе. И еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит не оглядываясь на вокзал, а мы врассыпную за ним — ей не догнать, она все-таки старая.

Ждали и волновались.

Через дверь слышны были их голоса — Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе.

— Ах, не сумеет он! — томилась Оленушка. — Такие вещи надо делать очень деликатно.

И вдруг раздался дикий вопль. Вопил Гуськин.

— Он с ума сошел!

Вопил громкие, дикие слова.

— Гелд? Гелд?

И старуха вопила, и тоже «гелд».

Крик оборвался. Выскочил Гуськин. Но какой! Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета и воротничок соскочил с петли.

— Идем! — мрачно скомандовал он.

— Ну что — взяла? — с робкой надеждой спросила Оленушка.

Он весь затрясся:

— Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла. Что-о? Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать — пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал!

Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. Не всегда и поймешь, в чем дело.

— Так я ей сказал просто: вы, мадам, себе, мадам, верно, проснулись с левой ноги, так подождем, когда вы себе проспитесь. Что-о? Я ей просто ответил.

— Но вы все-таки заплатили сколько нужно? — беспокоились мы.

— Ну? Новое дело! Конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. Разве я такой, который не платит? Я такой, который платит.

Он говорил гордо. И вдруг совершенно некстати прибавил скороговоркой:

— Деньги, между прочим, конечно, ваши.

6

Из К-цов выехали в товарном вагоне.

Сначала показалось даже забавным, сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра. Грызли шоколад, беседовали.

Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было, а так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки.

Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами произведением какого-то развеселого анекдотиста…

Этот новый для нас язык так же мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат: «Не при без доклада». Или в вагоне: «Не высовывай морду», «Не напирай башкой на стекло», «Здесь тары-бары разводить воспрещается».

Но и веселые надписи надоели.

Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, а просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад, и тщетно взывало начальство к «чоловикам» и «жинкам», указывая им мудрые, старые правила вокзального обихода, — освобожденные души были выше этого.

Сколько времени мы тащились — не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал:

— Это прямо исчадие ада.

И лампу погасили.

Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку,

на которой раньше лежала, слушала мечты Аверченки и Оленушки.

О котиковой шубке я упомянула недаром. Котиковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая, — а кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубу увидела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным блестящим мехом. Потом в Новороссийске, обтертую по краям, с плешью на боку и локтях. В Константинополе, с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году, протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее — заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манго вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набежавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках, на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она «не кто-нибудь», она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом:

— Силь ву плэ! Нэ плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!

На ней была котиковая шубка.

Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.

Артистка Вера Ильнарская[40] тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на «Грэгоре». Конечно, весь багаж испортился — кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.

Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти.

Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушаю мечты Оленушки и Аверченки.

— Прежде всего, теплую ванну, — говорит Оленушка. — Только очень скоро, и потом сразу жареного гуся.

— Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.

— Закуска — ерунда. И потом, она холодная. Нужно сразу сытное и горячее.

— Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в «Вене» черный хлеб, поджаренный с мозгами? Нет? Вот видите, а беретесь рассуждать. Чудная вещь, и горячая.

— Телячьи мозги? — деловито любопытствует Оленушка.

— Не телячьи, а из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще, у Контана на стойке, где закуски, с правой стороны — между грибками и омаром — всегда стоит горячий форшмак — чудесный. А потом у Альберта, с левой стороны, около мортоделлы — итальянский салат… А у Медведя как раз посредине в кастрюлечке такие штучки, вроде ушков с грибами, тоже горячие…

— Хорошо, — торопится Оленушка. — Не будем терять время. Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе, но все-таки одновременно и жареный гусь с капустой… нет, с кашей, с кашей сытнее.

— А не с яблоками?

— Я же говорю, что с кашей сытнее. Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся.

— А где же все это будет? — спрашиваю я.

— Где? Так, вообще… — рассеянно отвечает Оленушка и снова пускается в деловой разговор. — Еще можно из Кисловодска достать шашлык, из Ореховой Балки.

— Вот это дельно, — соглашается Аверченко. — А в Харькове я ел очень вкусные томаты с чесноком. Можно их подать к этому шашлыку.

— А у нас в имении пекли пироги с налимом. Пусть и этот пирог подадут.

— Отлично, Оленушка.

Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос.

— Извиняюсь, госпожа Тэффи… — вкрадчиво спросил он. — Я любопытен знать… вы любите клюцки?

— Что? Клецки? Какие клецки?

— Моя мамаша делает клюцки из рыбы. Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить.

— Когда же я буду у вас жить? — с тоской ужасных предчувствий спрашиваю я.

— Когда? В Одессе, — спокойно отвечает Гуськин.

— Так ведь я буду в «Лондонской» гостинице!

— Ну конечно. Кто спорит? Никто даже не спорит. Вы себе живете в «Лондонской», но пока что, пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся, вы себе спокойно сидите у Гуськина и мамаша угощает вас клюцками.

О-о-о! Мое больное воображение сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской. Комод. На комоде гуськинские штиблеты и отслуживший воротничок. А за перегородкой — мамаша стряпает «клюцки».

— Тут что-то дело неладно, — шепчет мне Аверченко. — Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях.

Ободренный моим молчанием, Гуськин развивает планы:

— Мы еще можем в Гомеле устроить вечерок. Ей-Богу, можем по дороге сделать. Гомель, Шавли. Ручаюсь, везде будет валовой сбор.

Ну и Гуськин! Вот это антрепренер! За таким не пропадешь.

— А скажите, Гуськин, — спрашивает Аверченко, — вам, наверное, очень много приходилось возить гастролеров?

— Э, таки порядочно. Хор возил, труппу возил. Вы спросите Гуськина, чего Гуськин не возил.

— Так вы, вероятно, миллионы заработали на этих валовых сборах-то?

— Миллионы? Хе! Дайте мне разницу. Дайте мне разницу от двадцати тысяч, так я уже буду доволен.

— Ничего не понимаю, — шепчу я Аверченке. — Какую ему нужно разницу?

— Это значит, что он так мало заработал, что если вычесть эту сумму из двадцати тысяч, то он с удовольствием возьмет разницу.

Господи, какой сложный человек мой Гуськин.

— Гуськин, почему вы так мало зарабатывали?

— Потому что я Гуськин, а не Русланский. Я смотрю, чтобы гастролеру было хорошо, чтобы ему был первый номер в первой гостинице и чтобы прислуга его не колотила. А Русланский — так он думает, что импресарио должен сидеть в первом номере. Так я ему говорю: «Слушайте, Гольдшмукер, я такой же лорд, как и вы, так почему я могу ночевать в коридорчике, а вы должны в первом номере, а ваш гастролер на улице под зонтиком?» Русланский? Что такое Русланский? Я таки ему прямо сказал: когда Гуськин кончает гастроль, так гастролер говорит: «Жалко, что я не родился на денечек раньше, я бы дольше с Гуськиным ездил». А когда Русланский кончает, так гастролер ему говорит: «Чтобы тебе, Гольдшмукер, ни дня, ни покрышки». Да, ни дня, ни покрышки. И еще называет его паршивцем, но я этого перед вами

не повторяю. Что-о?

Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась вбок и властный голос громко крикнул:

— Heraus![41]

А другой голос, менее властный, проблеял:

— Уси злизайти!

— Новое дело! — говорит Гуськин и исчезает в мутной мгле.

Прыгаем в жидкую скользкую грязь. Прыгаем в неизвестное.

Расталкивая нас, лезут в вагон солдаты, проворно выбрасывают наш багаж и задвигают дверь.

Ночь, дождь, мутные огоньки ручных фонариков, солдаты.

Итак, мы снова под дождем на платформе.

Стоим, сбились тесной кучкой, как баранта в снежную бурю — стоит, морды вместе, хвосты наружу. Ждем покорно. Верим — наш пастух Гуськин дело уладит.

Не могу сказать, чтобы настроение у нас было очень унылое. Конечно, ужин и ночлег в теплой комнате были бы приятнее, чем мелкий дождичек на открытой платформе, но вкусы у нас выработались скромные. Уверенность, что буквально никто не собирается нас расстреливать, наполняла душу радостным удивлением и довольством. Дождик уютный, даже не очень мокрый… Право же, на свете совсем недурно живется.

Рядом с нами на вокзальной тележке сложен наш багаж. Сторожит его немецкий солдат.

Станция освещена скудно. Вдали светит стеклянная дверь — входят и выходят темные фигуры. Там, за этой дверью, наверное, и решаются судьбы мира.

Высокая черная тень шагает к нам. Это Гуськин.

— Опять начались муки Тантала — вертишься под дождем и не знаешь, кому совать взятку, — растерянно говорит он.

— Чего они от нас хотят, Гуськин?

— Хотят в карантин сажать. Плохо им, что у них в карантине пусто! Что-о? Я им говорю, что мы уже сидели. А они говорят — покажите бумаги, когда вы из Москвы выехали. А по бумагам, неделю тому назад. А где же две недели карантина? Так я ответил — что? Я ответил, что я пойду деньги разменяю. А что вы хотите, чтобы я ответил на подобный вопрос?

— Как же быть?

— Как-нибудь будем. Пуганая ворона на кусты дует. Надо найти, кому дать. Для чего же они карантин выдумали? Нужно только разыскать какого-нибудь еврея, так он нам дорогу покажет.

Гуськин ушел.

— Знаете, господа, нужно попробовать поговорить с солдатом, — надумала я. — Оленушка, начнем говорить между собой по-немецки, чтобы расположить его в свою пользу. Хорошо?

— Я совсем немецкий забыла! — говорит Оленушка. — Помню кое-что из грамматики.

— Ничего, валяйте из грамматики, только с чувством.

— Аусгеноммен зинд: бинден, финден, клинген, — начала Оленушка, — гелинген, ринген…

— Веселее, Оленушка, оживленнее!..

— Нах, ауф, хинтер, небен, ин, штеен, мить дем аккузатив, — улыбаясь, щебетала Оленушка.

— Мит, нах, нехст, небст, — отвечаю я, утвердительно кивая головой. — Смотрите — солдат начинает шевелиться. Валяйте, скорее еще!

— Аусгеноммен зинд: бинден, банд, гебуден. Дринген, дранг…

— Цу, аус…

Солдат смотрел на нас с тусклым любопытством.

— Ну вот, патриотическая жилка у него, очевидно, завибрировала. Как же быть дальше?

— Может быть, спеть дуэтом «Дас вар ин Шенеберг»?

— Петь, пожалуй, неудобно. Куда это уставился наш солдат? Смотрит на мой чемодан.

Я подхожу к нему. Ага! На моем старом чемодане наклейка «Берлин». Вот он куда смотрит. Ну, теперь возьму его голыми руками.

— Берлин! Чудесный город, — говорю я по-немецки. — Вы бывали в Берлине?

Нет, он в Берлине не был.

— Ах, когда все это кончится, непременно поезжайте. Ах, ах! Прекрасный город. Ресторан Кемпинского… магазин Вертхейма, пиво, колбаса, красота… Ах, ах, ах!

Немец улыбается, патриотическая жилка пляшет вовсю.

— А вы были в Берлине?

— Ну еще бы! Вот доказательство — мой чемодан. Берлин, ах, ах!

Ну, однако, пора к делу.

— Да, это было хорошее время до войны. А теперь так трудно. Вот стоим здесь под дождем и не знаем, как быть. Мы, конечно, были в карантине, но недолго, потому что мы ужасно здоровые. Нас и отпустили. Только свидетельство мы не догадались взять. Как быть?

Солдат вдруг сделал каменное лицо, повернулся в профиль и, не глядя на меня, сказал:

— Лейтенант Швенн.

Потом сразу повернулся и отошел.

Победа! Бегу искать Гуськина.

Фонари мигают — мелькает по ним суетливая тень. Конечно, это Гуськин.

— Гуськин! Гуськин. Солдат сказал: «Лейтенант Швенн». Понимаете?

— Хо! Мне уже десять человек сказали «Швенн». Он там у начальника. Надо ждать.

Я вернулась к своим.

Солдатский патриотизм так разыгрался, что, по-видимому, и успокоиться не мог.

— Лейтенант Швенн! — повторил солдат, не глядя на нас. — Нун? Лейтенант Швенн.

Тогда я догадалась и сказала:

— Шон! Уже!

Он шевельнул бровями и ухом и успокоился.

Подошел Гуськин.

— Ну что?

— Такие пустяки! Так дешево, что прямо стыд! Что-о? Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить с начальником. Попросите, чтобы дал пропуск. Он все равно даст, но нужно, чтобы вы попросили.

Пошли к начальнику. Что ему сказать — сами не знали.

Начальник — немецкий офицер — сидел за столом. Вокруг — свита, украинская офицерская молодежь.

— Чего же вы так торопитесь? — спрашивала свита. — Посидите себе у нашем городу.

— Мы очень торопимся. У нас послезавтра в Киеве концерт, мы непременно должны быть к сроку на месте.

Кое-кто из офицеров знал наши имена. Улыбались, смущались, шутили.

— Вот вы вместо того, чтобы задерживать нас, лучше сами берите разрешение и приезжайте на наш концерт в Киев, — сказал Аверченко. — Мы вас всех приглашаем. Приезжайте непременно.

Молодежь заволновалась.

— Концерт? И вы участвуете? Ах, если бы только было можно!

— Карантин? Какой там карантин, — бессвязно лепетал Гуськин. — Это же русские писатели! Они так здоровы, что не дай Бог.

Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа! Вы посмотрите на русского писателя!

Он с гордостью выставил Аверченко и даже обдернул на нем пальто.

— Похож он на больного? Так я вам скажу: нет. И через три дня, послезавтра, у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. Событие в анналах истории. А если нужно карантин, так мы его потом поищем в Киеве. Ей-Богу. Найдем и посидим себе немножечко. Отчего нам не посидеть? Что-о?

— Попросите же за нас вашего немца, — сказала я офицерам.

Те пощелкали каблуками, пошептались, подсунули немцу какие-то бумажки. Тут выступил Гуськин.

— Главное дело, не забудьте сказать, что я прежде всех сидел в карантине, — внушительно сказал он мне. — Еще вздумают меня тут задерживать! Я свою мамашу уже пять месяцев не видал.

И, повернувшись к изумленным офицерам, заявил официальным тоном:

— Я нахожусь уже пять месяцев вне матери.

И вот мы снова в вагоне.

В Гомеле добрые души советовали нам проехать до Киева на пароходе.

— Будете проезжать мимо острова, где засела какая-то банда. Банда все пароходы обстреливает из пулемета.

Прогулка, очевидно, очень уютная. Но мы все-таки решили ехать по железной дороге.

Вагон приличный, первого класса, но публики немного, и публика странная — все какие-то мужики в сермягах. Сидят, молчат, шевелят бровями. Бородач с золотым зубом на мужика совсем не похож. На нем грязный тулуп, но пухлые руки, холеные, с вплывшим в четвертый палец обручальным кольцом.

Странный народ. Смотрят, положим, не злобно. Когда ехали в классном вагоне из Москвы, публика смотрела на нас зверски: интеллигенты подозревали в нас чекистов, плебс — бар, продолжающих пить кровушку.

— Ну вот, скоро и Киев.

Гуськин развлекает нас мирной беседой.

— Я в Киеве познакомлю вас с моим приятелем, — говорит он Оленушке. — Очень милый молодой человек, глубоко интеллигентный. Лотос.

— Что?

— Лотос.

— Индус? — с благоговением спрашивает Оленушка, и я вижу в глазах ее мелькнувшую мечту о йогах, о посаженной яблоне и плодах ее.

— Ну-у! Зачем так мрачно? Коммивояжер, — отвечает обиженный за своего приятеля Гуськин. — Лотос коммивояжер. Оптические стекла. Аристократической семьи. Дядя имел аптечный склад в Бердянске. Думает жениться.

— А вы, Гуськин, не женаты?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слишком высокие требования от девушки.

— Какие же требования?

— Во-первых, дебелость.

Гуськин опустил глаза. Помолчал и прибавил:

— И все ж таки приданое.

С ударением на «и».

— А скажите, Гуськин, как вас зовут? А то неловко, что мы все зовем вас по фамилии.

Гуськин смущенно усмехнулся.

— Имя? Так вы же станете смеяться.

— Ну Господь с вами. Почему мы будем смеяться.

— Ей-Богу, будете смеяться. Я не скажу.

— Ну Гуськин, милый, честное слово, не будем! Ну скажите!

— Не настаивайте, Оленушка, — шепчу я. — Может быть, оно как-нибудь на наш слух неприлично звучит.

— Ну пустяки, скажите, Гуськин, как вас зовут?

Гуськин покраснел и развел руками.

— Меня зовут… извините — это же прямо анекдот! — Александр Николаевич! Вот.

Мы действительно ожидали чего угодно, но не этого.

— Гуськин! Гуськин! Уби-и-ил!

Гуськин хохочет громче всех и утирает глаза тряпичным комочком неизъяснимого цвета. Вероятно, в более шикарные времена это было носовым платком…

7

Чем ближе к Киеву, тем оживленнее станции.

На вокзалах буфеты. По платформе ходят жующие люди с маслеными губами и лоснящимися щеками. Выражение лиц изумленно-довольное.

На стенах афиши, свидетельствующие о потребности населения в культурных развлечениях. Читаю:

«Грандиозный аттракцион собак. По системе знаменитейшего Дурова[42]».

«Труппа лилипутов».

«Артистка Александрийского театра с полным местным репертуаром».

Гуськин сказал:

— Здесь-таки буквально жизнь бьет ключом по голове. Какие афиши! Ловко составлены. Что-о? Я бы сам на такую программу валом валил!

Всюду немецкие полицейские, чисто вымытые, крепко вытертые, туго набитые украинским салом и хлебом.

Нас еще два раза пересаживают. Совсем уж непонятно

На одной из больших станций на платформе, в толпе ожидающих стоят Аверченко, Гуськин, актриса с собачкой — все как на подбор высокого роста. Вдруг подбегает к ним запыхавшийся субъект — котелок на затылке, распахнутое пальто вздулось кривым парусом, глаза блуждают.

— Извините мене вопрос — вы не лилипуты?

— Нет, — скромно отвечает Аверченко.

Гуськин даже не удивился.

— Вероятно, ожидается труппа и запоздала приездом. Чего же вы смеетесь? Это же часто бывает, что труппа опаздывает. Что-о?

Он находил вопрос вполне естественным.

С каждой пересадкой состав публики меняется. Появляются прилично и даже элегантно одетые люди, «господа». К последнему перегону остаются сплошь одни господа да барыни.

— Куда же они все девались?

Уйдет в станционную мужскую комнату темная личность с чемоданчиком, а выходит из мужской комнаты совершенно ясная личность — адвокат, помещик, гидра контрреволюции, с гладко причесанной головой, в чистом воротничке, несет рукой в перчатке тот же чемоданчик. Эге! Лица-то все знакомые. Вон и тот пухлый с бородкой — расчесал бородку, брови нахмурил, снимает озабоченно пушинку с рукава драпового пальто и уже выражает недовольство какими-то порядками:

— Безобразие! Эдакая распущенность!

Ну уж если дошло до «безобразия» и «распущенности», значит, почва у нас под ногами прочная.

Скоро и Киев.

Гуськин озадачивает нас неожиданным вопросом:

— А где вы все думаете остановиться?

— Где-нибудь в отеле.

— В отеле?

Он загадочно усмехается.

— А что?

— Говорят, что все отели реквизированы. И в частных

квартирах столько народу набито, что я хотел бы, чтобы в моем кошельке было так тесно. Что-о?

У меня знакомых в Киеве не было, и куда сунуться, если в отель не пустят, — я не имела никакого представления.

— Это, собственно говоря, Гуськин, ваша обязанность, — сказал Аверченко, — раз вы импресарио, вы должны были приготовить помещение, списаться с кем-нибудь, что ли.

— А с кем я спишусь? Господину гетману напишу? Так я бы ему написал, а он бы мне прописал. Так пусть лучше госпожа Тэффи пойдет к гетману, так из этого, может быть, что-нибудь выйдет. Не говорю, что выйдет хорошее, но что-нибудь непременно выйдет. Ну я уже вижу, что госпожа Тэффи никуда не пойдет, а останется себе ждать на вокзале, а Гуськин побежит по городу и найдет квартиру. Опять столько работы, что ни охнуть, ни сдохнуть.

— Это входит в ваши обязанности! Чего же вы огорчаетесь?

— Обязанности? — философским тоном сказал Гуськин. — Конечно, обязанности. Ну так найдите мне дурака, который бы веселился, что должен исполнять обязанности! Что-о?

Оленушка вступила в разговор.

— В крайнем случае я возьму все на себя, — кротко сказала она. — У меня в Киеве есть подруги, может быть, можно устроиться у них…

Личико у Оленушки было озабоченное и грустное. Ясно было, что она приняла твердое решение «не топтать травы»…

На скамейке через проход актриса с собачкой говорила шипящим голосом Аверченкину антрепренеру:

— Почему другие могут, а вы не можете? Почему вы никогда ничего не можете?

И тут же сама себе отвечала:

— Потому что вы форменный идиот.

Я сказала тихонько Аверченке:

— Мне кажется, что ваши актеры плохо ладят друг с другом. Эта самая Фанничка и ваш импресарио всю дорогу шипят друг на друга. Трудно будет устраивать с ними вечера.

— Да, они бранятся, — спокойно сказал Аверченко. — Но это вполне нормально. Это же старый роман.

— Роман?

Я прислушалась.

— Мне стыдно за вас, — шипела актриса. — Вечно вы не бриты, у вас рваный галстук, у вас грязный воротничок и вообще вид альфонса.

— Да, вы правы, — сказала я Аверченке. — Здесь, по-видимому, глубокое и прочное чувство.

Импресарио бубнил в ответ:

— Если бы я был любителем скандалов, то я сказал бы вам, что вы пошлая дура и вдобавок злая. Имейте это в виду.

— Да, — повторила я. — Глубокое и прочное с обеих сторон.

Нужно, однако, поднять настроение.

— Господа, — сказала я. — Почему вы так приуныли? Помните, как вы мечтали в теплушке о ванне, о хорошем обеде. Подумайте только: завтра в это время мы, может быть, будем чистенькие и нарядные сидеть в хорошем ресторане и под музыку есть самые вкусные вещи. Будет белая блестящая скатерть, хрустальные рюмки, цветы в вазах…

— Я таки порядочно не люблю рестораны, — вставил Гуськин. — Чего хорошего? Когда мне мамаша подает дома бульончик, так я его улепетываю лучше, чем самую дорогую печенку в самом лучшем ресторане. Что-о? Конечно, в очень дорогом ресторане, там полный порядок (Гуськин произносил «парадок», производя, как ласкательное, от слова «парад»). Там вам, после как вы курочку поглодаете, обязательно подают теплой воды и даже с мылом, чтобы вы могли помыть лицо и руки. Но для такого ресторана надо иметь нахальные деньги. А в обыкновенном ресторане так вы себе вытираете руки прямо о скатерть. Это же скука! Нет, я ресторанов не люблю. И чего хорошего, когда вы кушаете суп, а какой-нибудь сморкач сидит рядом и кушает, извините, компот.

— Чего же тут дурного? — недоумевает Аверченко.

— Как «чего дурного»? Притворяйтесь! Не понимаете? Так куда же он плюет косточки? Так он же их плюет вам в тарелку. Он же не жонглер, чтобы каждый раз к себе попадать. Нет, спасибо! Я таки повидал ресторанов на своем веку.

Поезд подходит к станции.

Киев!

Вокзал забит народом и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к культуре свободной страны. Хлебают сосредоточенно, высоко расставив локти, не то как бы паря орлом над добычей, не то защищая ее острием локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь! Разум говорит, что ты здесь в полной безопасности, что борщ твой неотъемлемая твоя собственность и права твои на него охраняются железной немецкой силой. Знаешь ты все это твердо и ясно, а вот подсознательное твое ничего этого не знает и расставляет твои локти и выпучивает глаза страхом: «А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата…»

Сидим с багажом в буфете, ждем вестей о квартире.

За соседним столом насыщается пухлый бородач с обручальным кольцом.

Перед ним на тарелке бифштекс. Над ним испуганная физиономия лакея.

Бородач распекает:

— Я ж тебе, мерзавец, русским языком сказал: бифштекс с жареным картофелем. Где же картофель? Где, я спрашиваю русским языком, жареный картофель?

— Виноват-с, они сейчас поджарятся-с. Они у нас вареный. Обо-ждите-с. Они сей минут-с!

Бородач задохнулся от негодования.

— «Обождите-с»! Я буду ждать, а бифштекс будет стынуть? Молчать! Нахалы!

У стены стоял молодой носильщик и, саркастически сжав губы, поглядывал на барина и на лакея. Очень выразительно поглядывал. Что ж, сценка стоила, чтобы на нее поглядел «молодой пролетариат». Как большевистская пропаганда, она, конечно, достигала лучших результатов, чем самый яркий советский агитационный плакат с гидрой капитализма и контрреволюции…

В буфете было душно, а ждать, по-видимому, придется еще долго. Я вышла из вокзала.

Веселый солнечный день догорал. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин… И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни, — такая невероятная, радостная и даже страшная: в дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное! Офи-цер, с по-го-на-ми на плечах! Пи-рож-ное! Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. Не где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное тряпье, больной, голодный, самое существование которого — трепет и смертная угроза для близких…

И вот — день, солнце, и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное!

Закрыла глаза, открыла. Нет, не сон. Значит — жизнь. Но как все это странно…

Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем…

Первое впечатление от киевского житья-бытья было таково:

Весь мир (киевский) завален, перегружен снедью. Из всех окон и дверей — пар и чад. Магазины набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по

улицам, на фоне этих фаршированных поросят, tout Moscou et tout Petersbourg[43].

8

Первое впечатление — праздник.

Второе — станция, вокзал перед третьим звонком.

Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. В суете этой тревога и страх. Никто не обдумывает своего положения, не видит дальнейших шагов. Спешно хватает и чувствует, что придется бросить…

Улица кишит новоприезжими. Группы в самых неожиданных сочетаниях: актриса из Ростова с московским земцем, общественная деятельница с балалаечником, видный придворный чин с шустрым провинциальным репортерчиком, сын раввина с губернатором, актерик из кабаре с двумя старыми фрейлинами… И все какие-то недоуменные, оглядываются и держатся друг за друга. Кто бы ни был сосед — все-таки человеческая рука, человеческое плечо здесь, рядом.

Так, вероятно, дружно обнюхиваясь, страдали от качки впервые встретившиеся семь пар чистых с семью парами нечистых в Ноевом ковчеге.

На Крещатике прогуливаются многие без вести пропавшие. Вот общественный деятель, который месяц тому назад говорил мне, раздувая ноздри, что мы не должны уезжать, что мы должны работать и умереть на своем посту.

— А! А как же ваш пост? — неделикатно окликаю я его.

Он краснеет и решает шутить:

— Слишком испостился я на своем посту, дорогая! Вот подправлюсь немножко, а там посмотрим.

А глаза бегают, и не видно, в какую сторону они посмотрят…

Суетня на Крещатике. И деловая, и веселая. Посреди тротуара стоит всеведующий и вездесущий журналист Р. и, как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, особенно уважаемых личностей провожает несколько шагов, другим только фамильярно помашет рукой.

— А! Наконец-то! — приветствует он меня. — Мы вас ждали еще на прошлой неделе.

— Кто «мы»?

— Киев!

Толпа несет меня далее, и Киев кричит вслед:

— Вечером, конечно, у…

Не могу разобрать где.

— Там все ужинаем, — говорит голос рядом.

Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший.

— Давно вы здесь? Отчего не зашли попрощаться, когда уезжали? Мы о вас беспокоились.

Смущенно разводит руками.

— Как-то, знаете, все это так смешно устроилось…

Не успеваю кланяться, отвечать на радостные приветствия.

Вот один из сотрудников бывшего «Русского слова».

— Что здесь делается! — говорит он. — Город сошел с ума! Разверните газеты — лучшие столичные имена! В театрах лучшие артистические силы. Здесь «Летучая мышь», здесь Собинов[44]. Открывается кабаре с Курихиным[45], театр миниатюр под руководством Озаровского. От вас ждуг новых пьес. «Киевская мысль» хочет пригласить вас в сотрудники. Влас Дорошевич[46], говорят, уже здесь. На днях ждут Лоло. Затевается новая газета — газета гетмана под редакторством Горелова… Василевский[47] (Не-Буква) тоже задумал газету. Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом.

Вспомнился Гуськин: «Жизнь бьет ключом по голове»…

— Киевляне не могут опомниться, — продолжает мой собеседник. — Сотрудники местных газет при виде чудовищных для их быта гонораров, отпускаемых приезжим гастролерам, хотят сделать забастовку. Гастролеры-то уедут, а мы, мол, опять потащим на себе воз. Рестораны ошалели от наплыва публики. Открываются всё новые «уголки» и «кружки». На днях приезжает Евреинов. Можно будет открыть Театр новых форм. Необходима также «Бродячая собака»[48]. Это уже вполне назревшая и осмысленная необходимость.

— Я вот здесь только проездом, — говорю я. — Меня везут в Одессу для литературных вечеров.

— В Одессу? Сейчас? Никакого смысла. Там полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нет, мы вас сейчас не выпустим.

— Кто «мы»?

— Киев.

Чу-де-са!

Выплывает круглое знакомое лицо москвички.

— Мы уже давно здесь. Мы ведь киевляне, — заявляет она с гордостью. — У отца моего мужа был дом вот здесь, на самом Крещатике. Мы самые коренные… Здесь очень недурной крепдешин. Моя портниха…

— Придете сегодня к Машеньке? — покрывает москвичку актерский бас. — Она здесь на несколько гастролей. Дивное кофе… Варят прямо со сливками и с коньяком…

Пьют, едят, едят, пьют, кивают головами. Скорей! Скорей! Успеть бы еще выпить, еще съесть и прихватить с собой! Близок третий звонок…

Оленушка устроила мне приют у своих подруг. Одна из подруг служила, две младшие еще учились в гимназии.

Все три были влюблены в тенора местной оперы, восторженно клекотали индюшиными голосами и были очень милы.

Жили они во флигеле, во дворе, а двор был весь завален дровами, так что нужно было знать, где проложен фарватер, чтобы, искусно лавируя, добраться до входной двери. Новички в дровах застревали и, выбившись из сил, начинали кричать. Это служило вместо звонка, и девочки спокойно говорили друг другу:

— Лиля, кто-то пришел, слышишь? В дровах кричит.

Дня через три после моего водворения во флигеле попал в западню кто-то крупный и закричал козлиным воплем.

Лиля пошла на выручку и привела Гуськина. Он так за эти три дня растолстел, что я не сразу его и узнала.

— А я все считал, что вы на вокзале, и искал для вас помещение.

— Вы думаете, что я четыре дня сижу в буфете?

Ему, очевидно, лень было очень густо врать.

— Так… Приблизительно предполагал. Здесь надо хлопотать через специальную комиссию, иначе помещения не достанете. Ну конечно, если вы сами попросите и предъявите свидетельство о болезни…

— Да ведь я же здорова.

— Ну что — здорова! Когда-нибудь, наверное, корь была. Вам и напишут — «страдала корью, необходимо крытое помещение». Что-нибудь научное напишут. Ну а что вы скажете за Киев? Были на Крещатике? И чего здесь так много блондинок — пусть мне это объяснят.

— Вам, очевидно, не нравятся блондинки? — хихикнула одна из девочек.

— Почему нет, брунетки тоже хороши, не хочу обижать, но в блондинках есть чего-то небесного, а в брунетках больше земского. Что-о? Нужно будет устроить ваш вечер.

— Мы уже условились насчет Одессы.

— Этт! Одесса!

Он загадочно усмехнулся и ушел — пухлый, сонный, масленый.

— По-моему, вы не должны с ним ехать, — решил Аверченко. — Заплатите ему неустойку и развяжитесь с ним поскорее. Он, по-моему, для организации литературных вечеров

совсем непригоден. Он вам или дрессированную собаку выпустит вместе с вами, или сам запоет.

— Вот и я этого боюсь. Но как же быть?

— А вот что: посоветуйтесь с моим импресарио. Это честнейший малый и, кажется, опытный.

Аверченко, человек очень доверчивый и сам исключительно порядочный, всех считал честнейшими малыми и всю жизнь был окружен жуликами. Но… почему все-таки не посоветоваться?

— Ладно. Пришлите мне вашего красавца.

Красавец явился на другой день и развил удивительный план.

— Прежде всего, не соглашайтесь устраивать свой вечер в Киеве, потому что это может повредить моему предприятию с Аверченкой. Один литературный вечер — это интересно, но когда литература начнет сыпаться как горох, так публика разобьется и сборы падут.

— Отлично, — поняла я. — Это вы хлопочете о себе. А я вас пригласила, чтобы посоветовать в моих делах.

— А в ваших делах, так я вам посоветую очень хитро. Тут надо поступать непременно очень хитро. Вы себе поезжайте в Одессу, пусть Гуськин устраивает там ваш вечер. Пусть возьмет залу — я вам скажу какую — есть такая в Одессе зала, где никто ничего не слышит. Ну так вот, в этой зале читайте себе один вечер ужасно слабым голосом. Публика, разумеется, недовольна, разумеется, сердится. А выдайте заметку в газеты — у вас ведь, наверное, есть знакомство в прессе — дайте заметку, что вечер такая дрянь, что ходить не стоит. А потом второй вечер в той же зале. И снова читайте себе еле слышно — пусть публика скандалит. А тут я подъеду с Аверченкой, возьму себе небольшой зал, в газетах пропечатаю огромный успех. Тогда вы позовете Гуськина и скажете: «Видите себе, как вы плохо организуете дело. Везде скандал. Давайте уничтожим договор». Ну так поверьте, что при таких условиях он на вас сердиться не станет.

Я долго молча на него смотрела.

— Скажите, вы все это сами выдумали?

Он скромно, но гордо опустил глаза.

— Значит, вы советуете мне провалить мои выступления и самой о себе дать в газеты ругательные рецензии? Это, конечно, очень оригинально. Но почему же за всю эту оригинальность должен расплачиваться несчастный Гуськин? Ведь он же ваш товарищ по ремеслу, за что же вы хотите его разорить? Разве вы не понимаете, какую гадость вы ему подстраиваете?

Он обиделся.

— Ну, я уже начинаю подозревать, что мой проект вам не нравится. Тогда устраняйте Гуськина как-нибудь иначе и

заключайте договор со мной. Я уже сумею вам устроить шик.

— Ну еще бы! Вы самый остроумный человек, какого я когда-либо встречала.

Он улыбнулся, польщенный.

— Ну уж и «самый»!

9

Засиживаться у Оленушкиных подруг было неудобно. Пришлось хлопотать о комнате. Долго, нудно, бестолково. Ожидать часами очереди, записываться, приходить каждый день справляться, распутывать путаницы.

Наконец комната была получена: в огромном отеле с пробитой крышей, с выбитыми окнами. Первый этаж занимала «Летучая мышь», второй — пустой — ремонтировался, в пустом третьем одна комната — моя.

Комната угловая: два окна в одну сторону ловили северный ветер, два в другую — западный. Рамы были двойные, и стекла в них так хитро выбиты, что сразу и не догадаешься: во внутренней раме нижнее левое и верхнее правое… В наружной — нижнее правое и верхнее левое. Посмотришь, как будто все в порядке и цело, и не понимаешь, отчего летают письма по комнате и пеньюар на вешалке шевелит рукавами.

Обстановка — кровать, стол, умывальник и два соломенных кресла. Кресла эти, безумно утомленные жизнью, любили по ночам расправлять свои ручки, ножки и спинки со скрипом и стонами.

Водворилась я в новую свою обитель в холодный сухой осенний день, осмотрелась и спросила, сама не знаю почему:

— А какой здесь доктор специалист по испанке? У меня будет испанка с осложнением в легких.

С Гуськиным дело наладилось, вернее, разладилось отлично: получив аванс из «Киевской мысли», я заплатила ему неустойку, и он, вполне успокоенный, уехал в Одессу.

— Вы ведь не будете работать с Аверченкиным импресарио? — ревниво спросил он.

— Даю вам слово, что не буду ни с ним, ни с кем бы то ни было. Всякие выступления ненавижу. Читала только на благотворительных вечерах и всегда с большим отвращением. Можете быть спокойны. Тем более что Аверченкин импресарио очень мне несимпатичен.

— Ну вы же меня мертвецки удивляете! Такой человек! Вы спросите в Конотопе! В Конотопе его прямо-таки обожают.

Дантист Пескин бил его костью от ветчины. Через жену. Конечно, в характере у него нет большой живности, и, пожалуй, даже и не красив… такие смуглые черты лица… Может быть, даже Пескин бил его не через жену, а по коммерческому делу. А может, и совсем не бил, а он только врет — пусть ему собака верит.

Расстались мы с Гуськиным мирно. И он, уже распрощавшись, снова просунул голову в дверь и спросил озабоченно:

— А вы кушаете сырники?

— Что? Когда? — удивилась я.

— Когда-нибудь, — отвечал Гуськин.

На этом мы и расстались.

Вслед за Гуськиным уехала из Киева Оленушка. Она получила ангажемент в Ростове.

Перед отъездом выразила желание поговорить со мною по душе и попросить моего совета в своих сложных делах.

Я повела ее в кондитерскую, и там, капая слезами в шоколад и битые сливки, она рассказала мне следующее: в Ростове живет Вова, который ужасно ее любит. Но здесь, в Киеве, живет Дима, который также ее ужасно любит. Вове восемнадцать лет, Диме девятнадцать. Оба офицеры. Любит она Вову, но выходить замуж надо за Диму.

— Почему же?

Оленушка всхлипывает и давится пирожным.

— Так надо! На-а-а-до!

— Подождите, Оленушка, не ревите так ужасно. Расскажите всю правду, если хотите знать мое мнение.

— Мне очень тяжело, — ревет Оленушка. — Это так ужасно! Так ужасно!

— Ну перестаньте же, Оленушка, вы заболеете.

— Не могу, слезы сами текут…

— Так, во всяком случае, перестаньте есть пирожные — ведь вы уже за восьмое принимаетесь, вы заболеете!

Оленушка безнадежно махнула рукой:

— Пусть! Я рада умереть — это все развяжет. Но все-таки меня ум немножко тошнит…

Повесть Оленушки, глубоко психологическая, была такова: любит она Вову, но Вова веселый, и ему во всем везет. А Дима очень бедный и какой-то неудалый, и все у него плохо, и вот даже она его не любит. Поэтому надо выходить за него замуж. Потому что нельзя, чтобы человеку так уж плохо было.

— Нельзя до-би-ва-а-ть!

Тут рев принял такие угрожающие размеры, что даже старуха хозяйка вышла из-за прилавка, сочувственно покачала головой и

погладила Оленушку по голове.

— Она добрая женщина! — всхлипнула Оленушка. — Дайте ей на чай!

Через три дня проводили все-таки Оленушку в Ростов.

Поезда были переполнены, с трудом достали ей место и снабдили письмом к кассиру на харьковской станции, которому телеграфировали устроить ей спальное место до Ростова.

Через неделю получили от Оленушки письмо, в котором рассказывалась жуткая история, как офицер выторговал себе смерть.

В Харькове оказалось свободным только одно место в спальном вагоне, которое кассир и отдал Оленушке. Стоявший за нею офицер начал требовать, чтобы место это предоставили ему. Кассир убеждал, показывая телеграмму, объяснял, что место заказано. Офицер ни на какие доводы не соглашался. Он офицер, он сражался за отечество, он устал и хочет спать. Оленушка хотя и с большой обидой, но уступила ему свое место, а сама села во второй класс.

Ночью она была разбужена сильным толчком — чуть не свалилась со скамейки. Картонки и чемоданы полетели на пол. Испуганные пассажиры выбежали на площадку. Поезд стоял. Оленушка спрыгнула на полотно и побежала вперед, где толпились и кричали люди.

Оказалось, что паровоз врезался на полном ходу в товарный поезд. Два передних вагона разбиты в щепы. Несчастного офицера, так горячо отстаивавшего свое право на смерть, собирали по кусочкам…

«Значит, не всегда делаешь людям добро, когда им уступаешь», — писала Оленушка.

Очевидно, очень мучилась, что «из-за нее» убили офицера.

А через месяц телеграмма: «Помолитесь за Владимира и Елену».

Это значило, что Оленушка вышла замуж.

Я начала работать в «Киевской мысли».

Время было бурное и сумбурное. Бродили неясные слухи о Петлюре[49].

— Это еще кто такой?

Одни говорили — бухгалтер.

Другие — беглый каторжник.

Но бухгалтер или каторжник, во всяком случае, он бывший сотрудник «Киевской мысли», сотрудник очень скромный, кажется, просто корректор…

Все мы, новоприезжие «работники пера», чаще всего

встречались в доме журналиста М. С. Мильруда[50], чудесного человека, где сердечно принимала нас его красивая и милая жена и трехлетний Алешка, который, как истинное газетное дитя, играл только в политические события: в большевиков, в банды, в белых и под конец в Петлюру. Грохотали стулья, звенели чашки и ложки. Петлюра с диким визгом подполз ко мне на четвереньках и острыми зубами укусил мне ногу.

Жена Мильруда общественной деятельностью не занималась, но когда пригнали в Киев голодных солдат из немецкого плена и общественные организации много и мирно вопили о нашем долге и о том, как опасно создавать кадры обиженных и недовольных, чутких к большевистской пропаганде, — она без всяких воплей и политических предпосылок стала варить щи и кашу и вместе со своей прислугой относила обед в бараки и кормила каждый день до двадцати человек.

Народу в Киев все прибывало.

Встретила старых знакомых — очень видного петербургского чиновника, почти министра, с семьей. Большевики замучили и убили его брата, сам он еле успел спастись. Дрожал от ненависти и рычал с библейским пафосом:

— Пока не зарежу на могиле брата собственноручно столько большевиков, чтобы кровь просочилась до самого его гроба, — я не успокоюсь.

В настоящее время он мирно служит в Петербурге. Очевидно, нашел возможность успокоиться и без просочившейся крови…

Выплыл Василевский (Не-Буква) с проектом новой газеты. Собирались, заседали, совещались.

Потом Не-Буква исчез.

Вообще перед приходом Петлюры многие исчезли. В воздухе почувствовалась тревога, какие-то еле заметные колебания улавливались наиболее чуткими мембранами наиболее настороженных душ, и души эти быстро переправляли свои тела куда-нибудь, где поспокойнее.

Неожиданно явился ко мне высокий молодой человек в странном темно-синем мундире — гетманский приближенный. Он с большим красноречием стал убеждать меня принять участие в организующейся гетманской газете. Говорил, что гетман — это колосс, которого я должна поддержать своими фельетонами.

Я подумала, что если колосс рассчитывает на такую хрупкую опору, то, пожалуй, его положение не очень надежно. Кроме того, состав сотрудников намечался чересчур пестрый. Мелькали такие имена, с которыми красоваться рядом было бы очень неприятно. Очевидно, колосс в газетных делах разбирался плохо или просто ничем не брезговал.

Я обещала подумать.

Молодой человек, оставив чек на небывало крупный аванс — в случае моего согласия, — удалился.

После его ухода я, как Соня Мармеладова[51], «завернувшись в прадедамовый[52] платок», пролежала весь день на диване, обдумывая предложение. Чек лежал на камине, в его сторону я старалась не смотреть.

Рано утром запечатала чек в конверт и отослала его «колоссальному» представителю.

Кое-кто упрекал меня потом за то, что я «излишне донкихотствую» и даже врежу товарищам по перу, так как своим поступком бросаю тень на газету и тем самым мешаю войти в нее людям более рассудительным, чем я.

Рассудительные люди, во всяком случае, блаженствовали недолго.

К Киеву подходил Петлюра.

10

Приехал Лоло.

Он, как киевский уроженец, оказался «Левонидом», а жена его, артистка Ильнарская, «жинкой Вирой».

Приехали исхудавшие, измученные. Еле выбрались из Москвы. Много помог им наш ангел-хранитель — громадина комиссар.

— После вашего отъезда, — рассказывала «жинка Вира», — приходил, как пес, выть на пожарище.

Вскоре дошли слухи, что комиссар расстрелян.

Видела несколько раз Дорошевича.

Жил Дорошевич в какой-то огромной квартире, хворал, очень осунулся, постарел и, видимо, нестерпимо тосковал по своей жене, оставшейся в Петербурге, — хорошенькой легкомысленной актрисе.

Дорошевич ходил большими шагами вдоль и поперек своего огромного кабинета и говорил деланно равнодушным голосом:

— Да, да, Леля должна приехать дней через десять…

Всегда эти «десять дней». Они тянулись до самой его смерти. Он, кажется, так и не узнал, что его Леля давно вышла замуж за обшитого телячьей кожей «роскошного мужчину» — большевистского комиссара.

Он, вероятно, сам поехал бы за ней в Петербург, если бы не боялся большевиков до ужаса, до судорог.

Он умер в больнице, одинокий, во власти большевиков.

А в эти киевские дни он, худой, длинный, ослабевший от болезни, все шагал по своему кабинету, шагал, словно из последних сил шел навстречу горькой своей смерти.

Работая в «Русском слове», я мало встречалась с Дорошевичем. Я жила в Петербурге, редакция была в Москве. Но два раза в моей жизни он «оглянулся на меня».

В первый раз — в самом начале моей газетной работы. Редакция очень хотела засадить меня на злободневный фельетон. Тогда была мода на такие «злободневные фельетоны», бичующие «отцов города» за антисанитарное состояние извозчичьих дворов и проливающие слезу над «тяжелым положением современной прачки». Злободневный фельетон мог касаться и политики, но только в самых легких и безобидных тонах, чтобы редактору не влетело от цензора.

И вот тогда Дорошевич заступился за меня:

— Оставьте ее в покое. Пусть пишет о чем хочет и как хочет.

И прибавил милые слова:

— Нельзя на арабском коне воду возить.

Второй раз оглянулся он на меня в очень тяжелый и сложный момент моей жизни.

В такие тяжелые и сложные моменты человек всегда остается один. Самые близкие друзья считают, что «неделикатно лезть, когда, конечно, не до них».

В результате от этих деликатностей получается впечатление полнейшего равнодушия.

«Почему все отвернулись от меня? Разве меня считают виноватым?»

Потом оказывается, что все были сердцем с вами, все болели душой и все не смели подойти.

Но вот Дорошевич решил иначе. Приехал из Москвы. Совершенно неожиданно.

— Жена мне написала, что вы, по-видимому, очень удручены. Я решил непременно повидать вас. Сегодня вечером уеду, так что давайте говорить. Скверно, что вы так изводитесь.

Он говорил долго, сердечно, ласково, предлагал даже драться на дуэли, если я найду это для себя полезным.

— Только этого не хватало для пущего трезвона!

Взял с меня слово, что, если нужна будет помощь, совет, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему в Москву, и он сейчас же приедет.

Я знала, что не позову, и даже не вполне верила, что он приедет, но ласковые слова очень утешили и поддержали меня — пробили щелочку в черной стене.

Этот неожиданный рыцарский жест так не вязался с его

репутацией самовлюбленного, самоудовлетворенного и далеко не сентиментального человека, что очень удивил и растрогал меня. И так больно было видеть, как он еще хорохорился перед судьбой, шагал, говорил:

— Через несколько дней должна приехать Леля. Во всяком случае, падение большевиков — это вопрос нескольких недель, если не нескольких дней. Может быть, ей даже не стоит выезжать. Сейчас ехать небезопасно. Какие-то банды…

«Банды» был Петлюра.

Предчувствие мое относительно испанки оправдалось[53] блестяще.

Заболела ночью. Сразу ураганом налетел сорокаградусный жар. В полубреду помнила одно: в одиннадцать часов утра актриса «Летучей мыши» Алексеева-Месхиева[54] придет за моими песенками, которые собирается спеть в концерте. И всю ночь без конца стучала она в дверь, и я вставала и впускала ее и тут же сразу понимала, что все это бред, никто не стучит и я лежу в постели. И вот опять и снова стучит она в дверь. Я с трудом открываю глаза. Светло. Звонкий голос кричит:

— Вы еще спите? Так я зайду завтра.

И быстрые шаги, удаляющиеся. Завтра! А если я не смогу встать, так до завтра никто и не узнает, что я заболела? Прислуги в гостинице не было, и никто не собирался зайти.

В ужасе вскочила я с постели и забарабанила в дверь.

— Я больна, — кричала я. — Вернитесь!

Она услышала мой зов. Через полчаса прибежали испуганные друзья, притащили самое необходимое для больного человека — букет хризантем.

— Ну, теперь дело пойдет на лад.

Известие о моей болезни попало в газеты.

И так как людям, собственно говоря, делать было нечего, большинство пережидало «последние дни конвульсий большевизма», не принимаясь за какое-либо определенное занятие, то моя беда нашла самый горячий отклик.

С утра до ночи комната моя оказалась набитой народом. Было, вероятно, превесело. Приносили цветы, конфеты, которые сами же и съедали, болтали, курили, любящие пары назначали друг другу рандеву на одном из подоконников, делились театральными и политическими сплетнями. Часто появлялись незнакомые мне личности, но улыбались и угощались совсем так же, как и знакомые. Я чувствовала себя временами даже лишней в этой веселой компании. К счастью, на меня вскоре совсем перестали обращать внимание.

— Может быть, можно как-нибудь их всех выгнать? — робко жаловалась я ухаживавшей за мной В. Н. Ильнарской.

— Что вы, голубчик, они обидятся. Неловко. Уж вы потерпите. Вот поправитесь, тогда и отдохнете.

Помню, как-то вечером, когда гости побежали обедать, осталась около меня только В. Н. и какой-то неизвестный субъект.

Субъект монотонно бубнил;

— Имею имение за Варшавою, конечно, небольшое…

— Имею доход от имения, конечно, небольшой…

Снится это мне или не снится?

— Имею луга в имении, конечно, небольшие…

— Имею тетку в Варшаве…

— Конечно, небольшую, — неожиданно для себя перебиваю я. — А что, если для разнообразия послать за доктором? Молодой человек, вы, по-видимому, такой любезный — приведите ко мне доктора, конечно, небольшого…

Он это прибавил или я сама? Ничего не понимаю. Надеюсь, что он.

Пришел доктор. Долго удивлялся на мой обиход.

— У вас здесь что же — бал был?

— Нет, просто так, навешают сочувствующие.

— Всех вон! Гнать всех вон! И цветы вон! У вас воспаление легких.

Я торжествовала.

— Чему же вы радуетесь? — даже испугался доктор.

— Я предсказала, я предсказала!

Он кажется, подумал, что у меня бред, и радости моей разделить не согласился.

Когда я поправилась и вышла в первый раз — Киев был весь ледяной. Голый лед и ветер. По улицам с трудом передвигались редкие пешеходы. Падали, как кегли, сшибая с ног соседей.

Помню, заглядывала я иногда в какую-то редакцию. Стояла редакция посреди ледяной горы. Снизу идти — все равно не дойдешь: десять шагов сделаешь — и сползаешь вниз. Сверху идти — раскатишься и прокатишь мимо. Такой удивительной гололедицы я никогда не видала.

Настроение в городе сильно изменилось. Погасло. Было не праздничное. Беспокойно бегали глаза, прислушивались уши… Многие уехали, незаметно когда, неизвестно куда. Стали поговаривать об Одессе.

Там сейчас как будто дела налаживаются. А сюда надвигаются банды. Петлюра, что ли.

«Киевская мысль» Петлюры не боялась. Петлюра был когда-то ее сотрудником… Конечно, он вспомнит об этом…

Он действительно вспомнил. Первым его распоряжением было — закрыть «Киевскую мысль». Задолго до того, как вошел в город, прислал специальную команду.

Газета была очень озадачена и даже, пожалуй, сконфужена.

Но закрыться пришлось.

11

Настала настоящая зима, с морозом, со снегом.

Доктор сказал, что после воспаления легких жить в нетопленой комнате с разбитыми окнами, может быть, и очень смешно, но для здоровья не полезно.

Тогда друзья мои разыскали мне приют у почтенной дамы, содержавшей пансион для гимназисток. Живо собрали мои вещи и перевезли и их, и меня. Работали самоотверженно. Помню, как В. Н. Ильнарская, взявшая на себя мелочи моего быта, свалила в картонку кружевное платье, шелковое белье и откупоренную бутылку чернил. Верочка Чарова (из московского театра Корша[55]) перевезла двенадцать засохших букетов, дорогих по воспоминаниям. Тамарочка Оксинская[56] (из Сабуровского театра) собрала все визитные карточки, валявшиеся на подоконниках. Алексеева-Месхиева тщательное уложила остатки конфет и пустые флаконы. Так деловито и живо устроили мой переезд. Забыли только сундук и все платья в шкафу. Но мелочи все были налицо — а ведь это самое главное, потому что чаще всего забывается.

Новая моя комната была удивительная. Сдавшая мне ее милая дама, очевидно, обставила ее всеми предметами, скрашивавшими ее жизненный путь. Здесь были какие-то рога, прутья, шерстяные шишки, восемь или десять маленьких столиков с толстой тяжелой мраморной доской, подпертой растопыренными хрупкими палочками. На столики эти ничего нельзя было ставить. Можно было только издали удивляться чуду человеческого разума: суметь укрепить такую тяжесть такой ерундой. Иногда эти столики валились сами собой. Сидишь тихо и вдруг слышишь на другом конце комнаты — вздохнет, закачается и — на пол.

Кроме ерунды был в комнате рояль, который за рогами и шишками мы не сразу и различили. Стоял он так неудобно, что играющий должен был пролезть между рогами и этажеркой и сидеть, окруженный тремя столиками.

Решили немедленно устроить комфорт и уют: лишнюю дверь завесить шалью, рояль передвинуть к другой стене, портреты

теток перевесить за шкаф…

Сказано — сделано. Загрохотали столики, задребезжало что-то стеклянное, одна из теток сама собой сорвалась со стены.

— Господи! Что же это! Услышит хозяйка — выгонит меня.

Явившаяся поздравлять с новосельем от группы «курсисток» белокурая кудрявая Лиля предложила свои услуги, моментально разбила вазочку с шерстяными шишками и в ужасе упала на диван, прямо на второй теткин портрет, заботливо снятый, чтобы не разбить.

Треск, рев, визг.

— Пойте что-нибудь, чтобы не было слышно этого грохота.

Приступили к самому важному — двинули рояль.

— Подождите! — крикнула я. — На рояле бронзовая собачка на малахитовой подставке — очевидно, хозяйка ею дорожит. Надо ее сначала снять. Не суйтесь — я сама, вы только все колотите.

Я осторожно подняла прямо за собачку — какая тяжелая! Вдруг — что это? Отчего такой грохот? Отчего вдруг стало легко? В руках у меня одна собачка. Малахитовая подставка, разбитая вдребезги, у моих ног. Ну кто же мог знать, что она не приклеена!

— Ну теперь, наверное, прибежит хозяйка, — в ужасе шепчет Лиля.

— Вы сами виноваты. Отчего вы не пели? Я же вас просила. Ведь видели, что я принялась за собачку, ну и затянули бы что-нибудь хоровое. Двигайте рояль, а то мы до ночи не кончим.

Двинули, покатили, завернули хвост, поставили.

— Чудесно. Вот здесь будет удобно. Алексеева-Месхиева, я вам здесь новую песенку сочиню.

Живо пододвинула стул, взяла аккорды — что за ужас! Рояль перестал играть. Пододвинули еще немножко, поколотили по крышке, молчит, и кончено.

Стук в дверь.

— Молчите!

— Пойте!

Все равно надо отворить…

Входит не «она». Входит знакомый инженер, поздравляет с новосельем.

— Отчего у вас у всех такие трагические лица?

Рассказываем всё. И главный ужас — рояль.

— Рояль? Ну, я вам это живо налажу. Прежде всего надо вытащить клавиши.

— Милый, вас сам Бог послал.

Подсел, что-то покрутил и выдвинул.

— Вот, а теперь назад.

Клавиши назад не влезали.

Инженер притих, вынул платок и вытер лоб.

Страшная догадка озарила меня.

— Стойте! Смотрите мне прямо в глаза и отвечайте всю правду. Вы раньше когда-нибудь клавиши вытаскивали?

— Да!

— А назад они влезали?

Молчание.

— Отвечайте правду! влезали?

— Н-нет. Ни-ко-гда.

Унылые будничные дни.

Бурлившая жизнь, беспокойная и шумная, — осела.

Возвращаться домой нельзя. С севера Киев отрезан. Кто успел — уже уехал. Но все куда-то собираются. Все чувствуют, что оставаться надолго не придется.

Как-то при выходе из театра в вестибюле разговаривали мы с ясновидящим Арманом Дюкло К нему подошел дежуривший у двери солдат и спросил:

— Скажите мне, господин Дюкло, скоро ли Петлюра придет?

Арман сдвинул брови, закрыл глаза.

— Петлюра… Петлюра… через три дня.

Через три дня Петлюра вошел в город.

Удивительное явление был этот Арман Дюкло. Перед моим отъездом из Москвы я была несколько раз на его сеансах. Он отвечал очень верно на задаваемые ему вопросы.

Потом, когда мы познакомились, он признавался, что обыкновенно приступал к сеансам с различных подготовленных трюков, но потом начинал нервничать, очевидно, впадал в транс и, сам не зная почему и как, давал тот или иной ответ.

Это был совсем молодой, лет двадцати, не больше, очень бледный и худой мальчик с красивым утомленным лицом. Никогда не рассказывал о своем происхождении, недурно говорил по-французски.

— Я жил много много лет тому назад. Меня звали Калиостро.

Но врал он лениво и неохотно.

Кажется, был он просто еврейским мальчиком из Одессы. Импресарио его был какой-то очень бойкий студент. Сам Арман, тихий, полусонный, не был деловым человеком и очень равнодушно относился к своим успехам.

В Москве им чрезвычайно заинтересовался Ленин и два раза вызывал его в Кремль для уяснения своей судьбы. Когда мы его расспрашивали об этих сеансах, он отвечал уклончиво:

— Не помню. Помню только, что у самого Ленина до конца

успех. У других различно.

Импресарио его рассказывал, что трусил безумно, потому что видел, как на Армана «накатило», и тогда он уже не отдает себе отчета, с кем имеет дело.

— Слава Богу, пронесло благополучно.

Но пронесло ненадолго. Через несколько месяцев Арман был расстрелян.

Наступил последний акт киевской драмы.

Петлюра входил в город. Начались аресты и обыски.

Ночью никто не ложился. Сидели вместе, обыкновенно в квартире Мильруда. Чтобы не заснуть, играли в карты, чутко прислушивались, не идут ли? Если стук или звонок — прятали карты и деньги под стол. К нашей квартире в эти дни примкнул и Арман Дюкло.

— Нет, я не могу играть в карты. Ведь я же знаю каждую карту вперед, — объявил он.

И проигрывал три ночи подряд.

— Странно. Я был еще маленьким ребенком, и тогда уже никто не решался со мной играть…

— Да кто же с маленькими детьми в карты играет? — отвечали ему.

Тихий, полусонный, он не спорил и не смеялся. Странный был мальчик.

— Я всегда полусплю. И этот сон так истощает меня. Он выпивает все мои силы и всю мою кровь.

Бледное-бледное было его красивое лицо. Он говорил правду.

На улицах появились петлюровские патрули. Необыкновенно вежливые джентльмены в солдатских шинелях щелкали каблуками и предупреждали, по какой улице ходить не следует, чтобы не попасть в облаву.

— Кто же вы такие? — спрашивали мы.

— А мы те самые, що казали «банда», — с гордым смирением отвечали джентльмены.

Опустели, закрылись магазины. Разбежались, попрятались люди. Город все больше и больше наполнялся солдатскими шинелями.

У Мильруда был обыск. Рассказывали, что маленький Алешка выбежал из детской со свирепым воплем:

— Я Петлюра! Вот я вам всем задам!

Патруль почтительно удалился.

Состоялся торжественный парад. Драматург Винниченко[57] раскланивался перед толпой. За свои драмы он таких оваций не

получал…

Молодцы в новеньких жупанах немецкого сукна скакали на сытых сильных конях.

«Москали» посмеивались: «Хай живе Украина, аж с Киева до Берлина».

Погуляли, посмотрели. Начали укладывать чемоданишки. Пора.

За городом забухали пушки.

— Где?

— Как будто за Лысой Горой. Как будто большевики подходят.

— Ну теперь пойдет надолго. У вас есть пропуск?

— В Одессу! В Одессу!

12

Пошла попрощаться с лаврой.

— Бог знает, когда еще попаду сюда!

Да, Бог знает…

Пусто было в этом сердце богомольной Руси. Не бродили странники с котомочкой, странницы с узелком на посошке. Озабоченные ходили монахи.

Спустилась в пещеры. Вспомнила, как в первый раз была здесь много лет тому назад с матерью, сестрами и старой нянюшкой. Пестрая «всякая» жизнь лежит между мной и той длинноногой девочкой с белокурыми косичками, какою я была тогда. Но чувство благоговения и страха осталось то же. И так же крещусь и вздыхаю от той же прекрасной неизъяснимой печали, исходящей от вековых сводов, древней русской молитвой овеянных, столькими, ах, столькими очами оплаканных…

Старый монах продавал крестики, четки и образок Богоматери, чудесно вклеенный в плоскую бутылочку через узкое горлышко. И две витые свечечки и аналой с крошечной иконкой на нем тоже вклеены. На венчике надпись: «Радуйся, невесто пеновестная». Чудесный образок. И сейчас, уцелевшая во многих беженских странствиях, стоит плоская бутылочка, чудо старого монаха, на моем парижском камине…

Зашла попрощаться и в Собор св. Владимира. Видела перед иконой св. Ирины маленькую черную старушонку на коленях, ступни в стоптанных башмачонках поджаты носками внутрь умиленно и робко. Плакала старушонка, и строго смотрела на нее увитая жемчугами, окованная золотом, пышная византийская

Царица.

Выехали из Киева поздно вечером. Пушки бухали где-то совсем близко.

На вокзале давка невообразимая. Какие-то воинские эшелоны забили все пути. Не то они приезжали, не то их куда-то отправляли. Они, кажется, и сами не знали.

Лица у всех растерянные, озлобленные и усталые.

С трудом добираемся до вагона, обозначенного на нашем пропуске. Вагон третьего класса, какой-то трехэтажный. Туда же вваливают и наши вещи.

Долго стоим на станции. Все сроки отхода давно прошли. Мы на втором пути. С двух сторон поезда с солдатами. Слышны крики, выстрелы. В просвете между вагонами видно, как бегут люди и в панике мечутся.

Иногда в вагон к нам приносят новости:

Сейчас будут нас выгружать снова на станцию. Весь поезд пойдет под солдат.

— Дальше одиннадцатой версты ехать вообще нельзя. Там разъезд занят большевиками.

— Только что вернулся обстрелянный поезд. Есть убитые и раненые.

Убитые! Раненые! Как мы привыкли к этим словам. Никого они не смущают и ни у кого не вызывают возгласа: «Какой ужас! Какое горе!»

Все думают просто в условиях нового нашего быта: «Раненых следует перевязать, убитых надо бы выгрузить».

Раненые и убитые — это слова нашего быта. И сами мы, если не на разъезде, то немного позже, вполне можем стать и ранеными, и убитыми.

У кого-то украли чайник. И вопрос этот обсуждается с таким же интересом (если не с большим), как и вопрос о том, что, мол, проскочим мы через одиннадцатую версту или нас отсюда даже не выпустят, потому что поездная прислуга отказывается вести поезд.

И вдруг сорвавшаяся с третьего этажа скамеек картонка треснула кого-то по голове. Это был радостный знак. Это значило, что паровоз прицепили и он дернул.

Мы поехали.

Останавливались много раз. На темных станциях и в глухом поле, по которому бегали фонарики, где кричали и стреляли.

В дверях вагона появлялись солдаты со штыками:

— Офицеры! Выходи на площадку!

В нашем вагоне офицеров не было.

Помню, бежали какие-то люди мимо окон по полотну. Потом запыхавшиеся солдаты ворвались в вагон и тыкали штыками под скамейки.

И никто не знал, что делается, и никто ничего не спрашивал. Сидели тихо, закрыв глаза, будто подремывая, делая вид, что считают все происходящее самой нормальной обстановкой для железнодорожной поездки.

В Одессу приехали ночью. Приятный сюрприз: нас заперли в вокзале и раньше утра выпустить не соглашались.

Что поделаешь!

Сложили вещи на полу, сами сели сверху и, право, чувствовали себя очень уютно. Никто в нас не стрелял, никто не обыскивал — чего еще человеку нужно?

Под утро замаячила передо мною зыбкая тень с желтым несессером в тонкой руке.

— Арман Дюкло?

— Да.

Он тоже приехал с нашим поездом. Сел около меня и стал рассказывать. Какие-то необычайно важные документы везет он в своем несессере. Ему уже предлагали за них миллион долларов, но он не выпустит их из рук.

— А по-моему, выпускайте.

— Не могу.

— Почему?

— Сам не знаю почему. Но это так истощает меня — всю жизнь держать в руках этот несессер.

Я задремала, а когда проснулась, то Армана уже не было. Он ушел, забыв у моих ног свое сокровище.

Утром открыли вокзал и выпустили нас в город. Когда носильщики укладывали на извозчиков наш багаж, несессер Армана, оказавшийся без замка, раскрылся, и из него вывалился флакон «Рю де ля Пэ» и пилочка для ногтей. Больше в нем абсолютно ничего не было.

Так как Арман долго не появлялся, то мы дали объявление в газету: «Просим ясновидящего Дюкло угадать, где его несессер».

Затем имя и адрес.

Начались одесские дни.

Опять замелькали те же лица, опять замололи ту же ерунду. Те, которых мы считали вернувшимися в Москву, оказались здесь. Которые должны были ехать в Одессу, оказались давно в Москве.

И никто в точности ничего ни о ком не знал.

Правил Одессой молодой сероглазый губернатор Гришин-Алмазов[58], о котором тоже никто в точности ничего не знал. Как случилось, что он оказался губернатором, кажется, он и сам не

понимал. Так — маленький Наполеон, у которого тоже «судьба оказалась значительнее его личности».

Гришин-Алмазов, энергичный, веселый, сильный, очень подчеркивающий эту свою энергичность, щеголявший ею, любил литературу и театр, был, по слухам, сам когда-то актером.

Он сделал мне визит и очень любезно предоставил помещение в «Лондонской» гостинице. Чудесную комнату номер шестнадцать, где во всех углах были свалены кипы «Общего дела»: до меня здесь останавливался Бурцев[59].

Гришин-Алмазов любил помпу, и когда заезжал меня навестить, в коридоре оставлял целую свиту и у дверей двух конвойных.

Собеседником он был милым и приятным. Любил говорить фразами одного персонажа из «Леона Дрея» Юшкевича[60].

— Сегодня очень холодно. Подчеркиваю «очень».

— Удобно ли вам в этой комнате? Подчеркиваю «вам».

— Есть у вас книги для чтения? Подчеркиваю «для».

Рекомендовал коменданту гостиницы, бородатому полковнику, гулявшему целые дни с двумя чудесными белыми шпицами, заботиться обо мне.

Словом, был чрезвычайно любезен.

Время для него было трудное.

«Ауспиции тревожны» — такова была модная одесская фраза, и она хорошо определяла положение.

Пока подходили большевики, горожан исподволь грабили бандиты, ютившиеся в заброшенных каменоломнях, образовавших целые катакомбы под городом. Гришину-Алмазову пришлось даже вступить в переговоры с одним из предводителей этих разбойников, знаменитым Мишкой-Япончиком. Не знаю, договорились ли они до чего-нибудь, но сам Гришин мог ездить по городу только во весь дух на своем автомобиле, так как ему обещана была «пуля на повороте улицы».

Горожане все-таки вылезали по вечерам из своих нетопленых квартир. Уходили в клубы, в театры, попугать друг друга страшными слухами. Для возвращения по домам собирались группами и приглашали охрану — человек пять студентов, вооруженных чем Бог послал. Кольца засовывали за щеку, часы в башмак. Помогало мало.

— Он, подлец, слушает, где тикает, — туда и лезет. Я говорю — это сердце от страха… Да разве они честному человеку поверят!

Бандиты останавливали извозчиков, выпрягали лошадей и уводили их к себе в катакомбы.

Но — удивишь ли нас этими страхами? Театры, клубы,

рестораны всю ночь были полны. Называли легендарные цифры проигрышей.

Утром, одурманенные вином, азартом и сигарным дымом, выходили из клубов банкиры и сахарозаводчики, моргали на солнце воспаленными веками. И долго смотрели им вслед тяжелыми голодными глазами темные типы из Молдаванки, подбирающие у подъездов огрызки, объедки, роющиеся в ореховой скорлупе и колбасных шкурках.

13

Быстро мчатся кони Феба,
Под уклон…

Шли, шли одесские дни и вдруг побежали быстро-быстро, обгоняя друг друга.

Открывались и закрывались клубы, театрики, кабаре.

Явились ко мне неизвестные мне господа средних лет и предложили «дать свое имя» какому-то «начинанию». Глубоко художественному. С горячим ужином и карточной игрой.

— Причем же я здесь?

— А вы будете считаться хозяйкой и получать ежемесячный гонорар.

— Я же ничего не понимаю ни в карточной игре, ни в обедах. Вы, верно, что-нибудь спутали.

Они потоптались и повысили мой гонорар.

Очевидно было, что мы совсем друг друга не понимали.

Потом они, кажется, нашли хозяйку в лице одной популярной певицы и успокоились. То есть закрывались, давали взятку, открывались, закрывались, давали взятку и т. д.

— Ваша полиция взятки берет? — спрашивала я у Гришина-Алмазова.

— Ну что ж! Эти деньги идут исключительно на благотворительность. Подчеркиваю «идут», — бодро отвечал он.

Одесский быт сначала очень веселил нас, беженцев.

— Не город, а сплошной анекдот.

Звонит ко мне, много раз, одна одесская артистка. Ей нужны мои песенки. Очень просит зайти, так как у нее есть рояль.

— Ну хорошо. Я приду к вам завтра, часов в пять.

Вздох в телефонной трубке.

— А, может быть, можете в шесть? Дело в том, что мы всегда в пять часов пьем чай…

— А вы уверены, что к шести уже кончите?

Иногда вечером собирались почитать вслух газетную хронику. Не жалели огня и красок одесские хроникеры. Это у них были шедевры в этом роде:

«Балерина танцевала великолепно, чего нельзя сказать о декорациях».

«Когда шла «Гроза» Островского с Рощиной-Инсаровой в заглавной роли…»

«Артист чудесно исполнил «Элегию» Эрнста, и скрипка его рыдала, хотя он был в простом пиджаке».

«На пристань приехал пароход».

«В понедельник вечером дочь коммерсанта Рая Липшиц сломала свою ногу под велосипедом».

Но скоро одесский быт надоел. Жить в анекдоте ведь не весело, скорее трагично.

Но вот маленький просвет. Приехал в Одессу наш милый редактор Ф. И. Благов[61] и стал скликать сотрудников «Русского слова». «Русское слово» начнет выходить в Одессе. Сотрудники собрались в достаточном количестве, и дело стало быстро налаживаться.

К весне появился в городе поэт Макс Волошин[62]. Он был в ту пору одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям и нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему. Иногда войдет в какую-нибудь канцелярию и, пока там надумают доложить о нем по начальству, начнет декламировать. Стихи густые, могучие, о России, о самозванце, с историческим разбегом, с пророческим уклоном. Девицы-дактило окружали его восторженной толпой[63], слушали, ахали, и от блаженного ужаса у них пищало в носиках. Потом трещали машинки — Макс Волошин диктовал свои поэмы. Выглядывало из-за двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметом и уводило Макса к себе. Уводило, и через запертую дверь доносилось густое мерное гудение декламации.

Зашел он и ко мне.

Прочел две поэмы и сказал, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву[64], которую арестовали (кажется, в Феодосии) по чьему-то оговору и могут расстрелять.

— Вы знакомы с Гришиным-Алмазовым, просите его скорее.

Кузьмину-Караваеву я немножко знала и понимала вздорность навета.

— А я пойду к митрополиту, не теряя времени. Кузьмина-Караваева окончила духовную академию. Митрополит за нее заступится.

Позвонила Гришину-Алмазову.

Спросил:

— Вы ручаетесь?

Ответила:

— Да.

— В таком случае завтра же отдам распоряжение. Вы довольны?

— Нет. Нельзя завтра. Надо сегодня и надо телеграмму. Очень уж страшно — вдруг опоздаем!

— Ну хорошо. Пошлю телеграмму. Подчеркиваю «пошлю».

Кузьмину-Караваеву освободили.

Впоследствии встречала я еще на многих этапах нашего странствия — в Новороссийске, в Екатеринодаре, в Ростове-на-Дону — круглый берет на крутых кудрях, разлетайку, гетры и слышала стихи и восторженный писк покрасневших от волнения носиков. И везде он гудел во спасение кого-нибудь.

Приехал в Одессу мой старый друг М. Пробрался гонцом от Колчака из Владивостока через всю Сибирь, через большевистские станы, с донесением, написанным на тряпках (чтобы нельзя было прощупать), зашитых под подкладку шинели. Он заехал к общим знакомым, которые сообщили ему, что я в Одессе, и сейчас же вызвали меня по телефону. Встреча была очень радостная, но и очень странная. Вся семья столпилась в углу комнаты, чтобы нам не мешать. Из приоткрытой двери умиленно выглядывала старая нянюшка. Все притихли и торжественно ждали: вот друзья, которые считали друг друга погибшими, сейчас встретятся. Господи! Заплачут, пожалуй… Времена-то ведь такие…

Я вошла:

— Мишель! Милый! Как я рада!

— А уж я-то до чего рад! Столько пережить пришлось. Посмотрите, сколько у меня седых волос.

— Ничего подобного. Ни одного. Вот у меня действительно есть. Вот здесь, на левом виске. Пожалуйста, не притворяйтесь, что не видите!

— Ну и ровно ничего. Буквально ни одного.

— Да вы подойдите к свету. Это что? Это, по-вашему, не седой волос?

— Ни капли. Вот у меня действительно. Вот, посмотрите на

свет.

— Ну, знаете, это даже подло!

— А вам лишь бы спорить. Именно я седой.

— Узнаю ваш милый характер! Что у него-то все великолепно, а у другого все дрянь!

Хозяева на цыпочках благоговейно вышли из комнаты.

Когда эти первые восторги встречи прошли, М. рассказывал много интересного о своей судьбе.

Человек он был глубоко штатский, помещик, пошел на военную службу во время войны. Поехал после революции в имение, там, в родном городишке, осажденном большевиками, выбран был диктатором.

— Вы, конечно, мне не поверите, так вот я, с опасностью для жизни, пронес под подкладкой приказы, подписанные моим именем.

Я посмотрела. Верно.

— Они подвезли артиллерию и так и сыпали по нас снарядами. Пришлось удирать, — рассказывал он. — Я скачу верхом через поле. Вдруг вижу во ржи два василечка рядом. Нигде ни одного, а тут два рядом, будто чьи-то глаза. И знаете — все забыл и пушек не слышу. Остановил лошадь, слез и сорвал василечки. А туг кругом бегут, кричат, падают. А мне чего-то и не страшно было, как вы думаете, отчего мне не было страшно? Храбрый я, что ли?

Он задумался.

— Ну а дальше?

— Оттуда попал на Волгу. До чего смешно! Флотом командовал. Ничего сражались. Помните, мне лет пять тому назад гадалка сказала, что незадолго до смерти буду служить во флоте. И все надо мной смеялись: большой, толстый и наденет шапочку с ленточками. Вот и исполнилось. Теперь еду в Париж, а потом через Америку во Владивосток обратно к Колчаку. Отвезу ему его адмиральский кортик, который он бросил в воду. Матросы его выловили и посылают с приветом.

Рассказывал, что видел в Ростове Оленушку. Она играла в каком-то театрике и очень дружно жила со своим мужем, похожим на гимназиста в военной форме. Оленушка стала убежденной вегетарианкой, варила для себя какие-то прутья и таскала кусочки мяса у мужа с тарелки.

— Да уж вы бы, Оленушка, положили бы себе прямо, — посоветовал М.

Маленький муж покраснел от испуга:

— Что вы! Что вы! Нельзя так говорить. Она сердится. Она ведь по убеждению.

М. готовился в дальний путь. Торопился. Надо было скорее отвезти Колчаку разные одесские резолюции и вообще наладить связь. Он был первым гонцом, благополучно проскочившим.

Был бодр. В Колчака и Белое дело верил свято.

— Возложенную на меня миссию выполню с радостью и самоотвержением. У меня хорошо на душе. Одно только смущает: черный опал в моем перстне треснул. Раскололся крестом. Как вы думаете, что это значит?

Я не сказала, что я думаю, но темный знак не обманул. Ровно через месяц М. умер…

Ему очень хотелось увезти меня из Одессы. Кругом говорили:

— Ауспиции тревожны!

Он уезжал на военной миноноске и обещал выхлопотать мне разрешение. Но погода была скверная, на море свирепые штормы, и я уехать не согласилась.

И столько дружеских голосов успокаивали М. на мой счет:

— Неужели вы думаете, что мы не позаботимся о Надежде Александровне, если будут эвакуировать Одессу!

— Она первая взойдет на пароход — клянусь вам в этом!

— Да неужели кто-нибудь из нас сможет уехать, не подумав прежде всего о ней? Даже смешно!

(И действительно, впоследствии было очень смешно, но не потому, что они позаботились…)

Рано утром разбудили меня. Холодное было утро. Синие тени лежали на бледных шеках М.

Когда будят рано в слепое зимнее утро — это всегда или проводы, или похороны, или несчастье, или страшная весть. И дрожит тело каждой каплей крови в этом мутном свете без солнца.

Синие тени лежали на щеках М.

— Ну, прощайте, еду. Перекрестите меня.

— Господь с вами.

— Теперь, наверное, ненадолго. Теперь скоро увидимся.

Но никаких надежд на простые, милые радости не чувствовала я в этом тоскливом рассвете, привидении грядущих дней. И я повторила тихо:

— Господь с вами. А увидимся ли мы — не знаю. Мы ведь ничего не знаем. И поэтому всякая наша разлука — навсегда.

И мы уже больше не встретились.

Через год в Париже русский консул передал мне перстень с черным опалом.

Это все, что осталось от моего друга. Его, уже мертвого, дочиста обокрал живший в том же отеле авантюрист. Он унес все — платье, белье, чемоданы, кольца, портсигар, часы, даже

флаконы с духами, но почему-то не посмел дотронуться до черного опала. Что-то в нем почувствовал.

Любопытна история происхождения этого опала.

Одно время — это было приблизительно в начале войны — я очень увлекалась камнями. Изучала их, собирала легенды, с ними связанные. И приходил ко мне одноглазый старичок Коноплев, приносил уральские благородные камни, а иногда и индийские. Уютный был старичок. Расстилал на столе под лампой кусок черного бархата и длинными тонкими щипцами, которые он называл «корцы», вынимал из коробочки синие, зеленые, красные огоньки, раскладывал на бархате, рассматривал, рассказывал. Иногда упрямился камушек, не давался корцам, бился весь в испуганных искрах, как живой птенчик.

— Ишь, неполадливый! — ворчал старичок. — Рубинчик-шпинель, оранжевый светик. Горячий.

— А вот сапфирчик. Вон как цветет камушек. Таусень, павлиний глазок. В сапфире важно не то, что он светел или темен, а то, когда он в лиловость впадает, цветет. Это все понимать надо.

Долгие часы можно было просидеть, переворачивая корцами холодные огоньки. Вспоминались легенды:

— Показать изумруд змее — у нее из глаз потекут слезы. Изумруд — цвет цветущего рая. Горько змее вспоминать грех свой.

— Аметист — целомудренный, смиренномудрый камень, очищает прикосновением. Древние пили из аметистовых чаш, чтобы не опьяняло вино. В двенадцати камнях первосвященника аметист — важнейший. И папа аметистом благословляет каноников.

— Рубин — камень влюбленных. Опьяняет без прикосновения.

— Александрит — удивительный наш уральский камень. Александрит, найденный в царствование Александра Второго и его именем названный пророчески. Носил в сиянии своем судьбу этого государя: цветущие дни и кровавый закат.

— И алмаз, яспис чистый, символ жизни Христовой.

Я любила камни. И какие были между ними чудесные уроды: голубой аметист, желтый сапфир или тоже сапфир, бледно-голубой с ярко-желтым солнечным пятнышком. По-коноплевски — «с пороком», а по-моему — с горячим сердечком.

Иногда приносил он кусок серого камня и в нем целый выводок изумрудов. Как дети, подобранные по росту, — все меньше и меньше, тусклые, слепые, как щенята. Их обидели, их слишком рано выкопали. Им еще надо было тысячелетия

созревать в глубокой горячей руде.

И вот как раз во время этой моей любви к камням принес как-то художник А. Яковлев[65] несколько опалов, странных, темных. Их привез какой-то художник с Цейлона и просил продать.

— Опалы приносят несчастье. Не знаю, брать ли? Посоветуйтесь с Коноплевым.

Коноплев сказал:

— Если сомневаетесь — ни за что не берите. Вот я покажу вам сейчас камушки дивной красоты, согласен чуть ли не задаром отдать. Вот взгляните. Целое ожерелье.

Он развернул замшевую тряпку и выложил на бархат один за другим двенадцать огромных опалов дивной красоты. Бледно-лунный туман. И в нем, в этом тумане, загораются и гаснут зеленые и алые огоньки: «Есть путь!», «Нет пути!», «Есть путь!», «Нет пути!» Переливаются, манят, путают…

— Задаром отдам, — повторяет с усмешкой Коноплев.

И не оторваться от лунной игры. Смотришь — тихий туман. И вдруг — мигнул огонек, и рядом другой, вздулся в пламень, затопил первый, и оба погасли.

— Задаром. Но должен упредить. Продал я это ожерелье все целиком госпоже Мартенс, жене профессора. Очень ей понравилось, оставила у себя. А на другое утро присылает слугу — берите, мол, скорее камни обратно: неожиданно муж скончался, профессор Мартенс. Так вот — как хотите. Не боитесь — берите, а убеждать не стану.

От коноплевских опалов я отказалась, а один из черных цейлонских решила взять. Долго вечером рассматривала его. Удивительно был красив. Играл двумя лучами: синим и зеленым. И бросал пламень такой сильный, что казалось, выходил он, отделялся и дрожал не в камне, а над ним.

Я купила опал. Другой такой же купил М.

И вот тут-то и началось.

Нельзя сказать, чтобы он принес мне определенное несчастье. Это бледные, мутные опалы несут смерть, болезнь, печаль и разлуку.

Этот — не то. Он просто схватил жизнь, охватил ее своим черным огнем, и заплясала душа, как ведьма на костре. Свист, вой, искры, огненный вихрь. Весь быт, весь лад — все сгорело. И странно, и злобно, и радостно.

Года два был у меня этот камень. Потом я дала его А. Яковлеву с просьбой, если можно, вернуть тому, кто привез его с Цейлона. Мне казалось, что нужно, чтобы он ушел, как Мефистофель, непременно тою же дорогой, какою пришел, и как можно скорее. Если пойдет по другой дороге, запутается и

вернется. А мне не хотелось, чтобы он возвращался.

Второй камень А. Яковлев оставил у себя. Не знаю, надолго ли, но знаю, что жизнь его тоже подхватила сине-зеленая волна, закружила и бросила в далекую косоглазую Азию.

Третий камень завертел тихого и мирного М. Как уютно текла его жизнь: мягкое кресло, костяной ножичек между шершавых страничек любимого поэта, ленивые руки, с ногтями, отшлифованными, как драгоценные камни, рояль, портрет Оскара Уайльда в черепаховой раме, переписанные бисерным почерком стихи Кузмина…

И вот — выронили ленивые руки неразрезанную книжку. Война, революция, нелепая женитьба, «диктатор в родном городишке», подписывающий чудовищные приказы, партизанская война на Волге, Колчак, страшный путь через всю Сибирь, Одесса, Париж, смерть. Разрезала черный камень глубокая трещина вдоль и поперек — крестом. Кончено.

Сбегались в Одессу новые беженцы — москвичи, петербуржцы, киевляне.

Так как пропуски на выезд легче всего выдавались артистам, то — поистине талантлив русский народ! — сотнями, тысячами двинулись на юг оперные и драматические труппы.

— Мы ничего себе выехали, — блаженно улыбаясь, рассказывал какой-нибудь скромный парикмахер с Гороховой улицы. — Я — первый любовник, жена — инженю, тетя Фима — гран-кокет, мамаша в кассе и одиннадцать суфлеров. Все благополучно проехали. Конечно, пролетариат был слегка озадачен количеством суфлеров. Но мы объяснили, что это самый ответственный элемент искусства. Без суфлера пьеса идти не может. С другой стороны, суфлер, сидя в будке и будучи стеснен в движениях, быстро изнемогает и должен немедленно заменяться свежим элементом.

Приехала опереточная труппа, состоящая исключительно из «благородных отцов».

И приехала балетная труппа, набранная сплошь из институтских начальниц и старых нянюшек…

Все новоприбывшие уверяли, что большевистская власть трещит по всем швам и что, собственно говоря, не стоит распаковывать чемоданы. Но все-таки распаковывали…

Настроение в городе было если не бодрое, то очень оживленное.

— Антанта! Антанта!

Смотрели в море, ждали «вымпелов».

Деньги мало-помалу исчезли. В магазинах сдачу выдавали

собственными знаками, которые иногда сами выдававшие их торговцы не узнавали. Все дорожало с каждым днем. Как-то в магазине приказчик, заворачивая мне кусок сыру, трагически указал на него пальцем и сказал:

— Вон, смотрите, с каждой минутой дорожает!

— Так заворачивайте его скорее, — попросила я. — Может быть, в бумаге он успокоится.

И вот неожиданно исчез Гришин-Алмазов. Уехал инкогнито, никому ничего не сказав. Спешил проскочить к Колчаку. Скоро стала известна его трагическая судьба. В Каспийском море он был настигнут большевиками. Увидев приближающийся корабль с красным флагом, сероглазый губернатор Одессы выбросил в море чемоданы с документами и, перегнувшись через борт, пустил себе пулю в лоб. Умер героем.

— Героем, Гришин-Алмазов! «Подчеркиваю, героем!»

В Одессе мало обратили внимания на эту смерть. Только комендант «Лондонской» гостиницы стал мне кланяться суше и рассеяннее, и его пушистая собака перестала вилять хвостом. И скоро пришел он ко мне озабоченный, извинился и сказал, что отведет мне номер в «Международной» гостинице, так как вся «Лондонская» отойдет под штаб.

Очень было жаль уходить из милого номера шестнадцатого, где каждый день в шесть часов чуть-чуть теплел радиатор, где в каминном зеркале отражались иногда милые лица: сухое, породистое Ивана Бунина, и профиль бледной камеи — его жены, и ушкуйник Алеша Толстой, и лирическая жена его Наташа Крандиевская, и Сергей Горный, и Лоло, и Нилус[66], и Панкратов…

Ну что ж — еще один этап. Мало ли их было? Мало ли их будет?..

А в городе стали появляться новые лица: воротник поднят, оглянется и шмыгнет под ворота.

— «Они» уже просачиваются! Уверяю вас, что они просачиваются. Мы видели знакомое лицо — комиссар из Москвы. Он сделал вид, что не узнал нас, и скрылся.

— Пустяки. Антанта… десант… Бояться нечего.

И вдруг знакомая фраза, догнавшая нас, прибежала запыхавшаяся:

— Ауспи-ции тре-вожны!

Началось!

Вышел первый номер «Нашего слова». Настроение газеты боевое, бодрое.

Полным диссонансом мой фельетон «Последний завтрак». Последний завтрак осужденного на смерть. Описание веселящейся Одессы. Описание зловещего молчания кругом и тихие шорохи, шелесты, шепоты в подпольях, куда «просачиваются они».

Настроение мое не одобряли.

— Откуда такой мрак? Что за зловещие пророчества? Теперь, когда Антанта… когда высаживаются новые воинские части… когда французы и т. д.

— Вот уже совсем некстати. Взгляните только, что делается на рейде!

— Вымпелы!

— Антанта!

— Десант!

Очевидно, я действительно не права…

Неунывающая толпа писателей и артистов затеяла открыть «подвал» где-нибудь на крыше. Конечно, в стиле «Бродячей собаки». Дело было только за деньгами и за названием. Под влиянием разговоров об Антанте я посоветовала назвать «Теткин вымпел»…

Прошли слухи о том, что, пожалуй, «Международную» гостиницу займут под разные штабы. Тогда снова придется мне искать пристанище. С ужасом вспомнила первые Одесские дни в холодной комнате в частной квартире, когда в разбитое окно ванной комнаты, где стоял умывальник для всей семьи, сыпал снег прямо на голову. Хозяин ходил мыться в пальто с поднятым воротником и в барашковой шапке на голове. Хозяйка мылась, засунув руки в муфту. Может быть, в таком виде им было и тепло, и удобно — не знаю. Я чихала и согревалась гимнастикой по всем существующим в мире методам. Больше мне всего этого не хотелось. Хотя была весна, весна, которая всегда ведет за собой лето, так что со стороны холода бояться нечего, но перспектива трудных квартирных поисков раздражала и утомляла заранее. Лучше ни о чем не думать. Тем более что я никак не могла себе представить оседлой жизни в Одессе. Когда я жила в «Лондонской» гостинице, мои гости говорили мне:

— Какой чудесный вид будет из вашего окна весною.

И я всегда отвечала:

— Не знаю. Не чувствую себя весною здесь. Ауспиции тревожны…

Иду в яркий солнечный день по улице. С набережной —

невиданное зрелище — чернорожие солдаты, крутя крупными белками глаз (словно каленое крутое яйцо с желтым припеком), гонят по мостовой груженых ослов. Это и есть десант. Но особого энтузиазма в народонаселении не заметно.

— Ишь, каких прислали. Лучше-то не нашлось?

Негры яростной улыбкой обнажали каннибальские зубы, кричали что-то вроде «хабалда балда», и нельзя было понять, ругаются они или приветствуют нас.

— Ну да все равно, впоследствии выяснится.

Ослы бодро помахивали хвостиками. Это ауспиция благоприятная.

— Ну? Что вы думаете за Одессу, что-о?

Странно знакомый голос…

— Гуськин!

— Что-о? Это же не город, а мандарин. Отчего вы не сидите в кафе? Там же буквально все битые сливки общества.

Гуськин! Но в каком виде! Весь строго выдержан в сизых тонах: пиджак, галстук, шляпа, носки, руки. Словом — франт.

— Ах, Гуськин, я, кажется, останусь без квартиры. Я прямо в отчаянии.

— В отчаянии? — переспросил Гуськин. — Ну так вы уже не в отчаянии.

— ?..

— Вы уже не в отчаянии. Гуськин вам найдет помещение. Вы, наверное, думаете себе: Гуськин этт!

— Уверяю вас, никогда не думала, что вы «этт»!

— А Гуськин, Гуськин это… Хотите ковров?

— Чего? — даже испугалась я.

— Ковров! Тут эти марокканцеры навезли всякую дрянь. Прямо великолепные вещи, и страшно дешево. Так дешево, что прямо дешевле порванной репы. Вот, могу сказать точную цену, чтобы вы имели понятие: чудесный ковер самого новейшего старинного качества, размером — длина три аршина десять вершков, ширина два аршина пять… нет, два аршина шесть вершков… И вот за такой ковер вы заплатите… сравнительно очень недорого.

— Спасибо, Гуськин, теперь уже меня не надуют. Знаю, сколько надо заплатить.

— Эх, госпожа Тэффи, как жаль, что вы тогда раздумали ехать с Гуськиным. Я недавно возил одного певца — так себе, паршивец. Я, собственно говоря, стрелял в Собинова…

— Вы стреляли в Собинова? Почему?

— Ну, как говорится, стрелял, то есть метил, метил в Собинова, ну да не вышло. Так повез я своего паршивца в

Николаев. Взял ему залу, билеты продал, публика, всё как следует. Так что ж вы думаете! Так этот мерзавец ни одной высокой нотки не взял. Где полагается высокая нота, там он — ну ведь это надо же иметь подобное воображение! — там он вынимает свой сморкательный платок и преспокойно сморкается. Публика заплатила деньги, публика ждет свою ноту, а мерзавец сморкается себе, как каторжник, а потом идет в кассу и требует деньги. Я рассердился, буквально как какой-нибудь лев. Я действительно страшен в гневе. Я ему говорю: «Извините меня — где же ваши высокие ноты?» Я прямо так и сказал. А он молчит и говорит: «И вы могли воображать, что я стану в Николаеве брать высокие ноты, то что же я буду брать в Одессе? И что я буду брать в Лондоне, и в Париже, и даже в Америке? Или, — говорит, — вы скажете, что Николаев такой же город, как Америка?» Ну что вы ему на это ответите, когда в контракте ноты не оговорены. Я смолчал, но все-таки говорю, что у вас, наверное, высоких нот и вовсе нет. А он говорит: «У меня их очень даже большое множество, но я не желаю плясать под вашу дудку. Сегодня, — говорит, — вы требуете в этой арии «ля», а завтра потребуете в той же арии «си». И всё за ту же цену. Ладно и так. Найдите себе мальчика. Город, — говорит, — небольшой, может и без верхних нот обойтись, тем более что кругом революция и братская резня». Ну что вы ему на это скажете?

— Ну, тут уж ничего не придумаешь.

— А почему бы вам теперь не устроить свой вечер? Я бы такую пустил рекламу. На всех столбах, на всех стенах огромными буквами что-о? Огромными буквами «Выдающая программа…»

— Надо «ся», Гуськин.

— Кого-о?

— Надо «ся». Выдающаяся.

— Ну пусть будет «ся». Разве я спорю. Чтобы дело разошлось из-за таких пустяков… Можно написать: «Потрясающийся успех».

— Не надо «ся», Гуськин.

— Теперь уже не надо? Ну я так и думал, что не надо. Почему вдруг. Раз всегда все пишут «выдающая»… А тут дамские нервы и давай «ся».

Он вдруг остановился, огляделся и шепотом спросил.

— А может, вам нужна валюта?

— Нет. Зачем?

— А для Константинополя.

— Я не собираюсь уезжать.

— Не собираетесь?

Он подозрительно посмотрел на меня.

— Не собираетесь? Ну пусть будет так. Пусть будет, что не собираетесь.

Чувствовалось, что не верит.

— Разве кто-нибудь сказал вам, что я еду в Константинополь?

Гуськин ответил загадочно:

— А разве нужно, чтобы еще говорили? Хэ!

Ничего не понимаю. Смотрю на сизого Гуськина, на яростно улыбающихся негров, на нетерпеливые хвостики ослов. Может быть, эти черные лики повернули мечту Гуськина к Стамбулу?

Странно все это…

15

Быстро, словно испуганные, побежали дни.

Сколько их? Совсем немного — три-четыре? Может быть, шесть? Не помню.

Но вот — будят меня утром топот, голоса, хлопанье дверей.

Встаю.

Странная картина: тащат по коридору сундуки, чемоданы, картонки, узлы. Беготня, суета. Двери раскрыты настежь. На полу всюду клочья бумаги, веревки.

Выселяют их всех, что ли? Ну да там видно будет.

В вестибюле навален всякий багаж. Суетятся озабоченные люди, шепчутся, суют друг другу деньги, толкуют о каких-то пропусках. И все это в страшном волнении. Красные, глаза выпучены, руки расставлены, котелки на затылке.

Вероятно, «штабы» приезжают. Не выселили бы и меня.

Вернулась на всякий случай к себе в номер, вынула из шкафа платья, из комода белье. Сунула в сундук и пошла в редакцию.

Там, наверное, всё знают.

На улице совсем уже неожиданное зрелище: бегут черные рожи, гонят ослов. Только теперь повернуты ослы мордами к морю, а хвостами к городу. Торопятся черные, колотят ослов палками, и бегут ослы впритруску.

Что это может значить?

Из прачечной выбегает французский солдат с охапкой мокрого белья. За ним две осатанелые прачки.

— Управы на них нету! Стой! Может, чужое забрал…

Через открытую дверь прачечной валит пар и видно, как там французские солдаты вырывают у прачек белье. Крики, вопли. И господин в котелке копошится там же.

Что это может значить? Завоевывают прачек?

Одесские прачки действительно бич Божий. Что они с нами

выделывали! Одна из них не вернула мне ровно полдюжины платков.

— Так я же вас за это удовлетворяю, — с достоинством сказала она.

— Как так?

— Да ведь я же не беру с вас за стирку тех платков, которые я вам не вернула!

Смотрю, у другой прачечной тоже рукопашная.

— Мадам Тэффи!

Оборачиваюсь.

Малознакомая личность. Кажется, кто-то из журналистов. Бежит, запыхавшись.

— Видели картинку? Развели панику! А вы так себе спокойно прогуливаетесь! Разве уже закончили все сборы?

— Сборы? Куда?

— Куда? В Константинополь.

Чего они меня все гонят в Константинополь?

Но он уже убежал, размахивая руками, утирая лоб.

— В чем дело?

Вчера еще заходили ко мне друзья и знакомые. Никто мне ничего о Константинополе не говорил. Эвакуация, что ли? Но разве это бывает так вдруг, мгновенно?

В редакции полная растерянность.

— Что случилось?

— Как «что случилось»? Французские войска бросили город, вот что случилось. Надо удирать.

Вот он, Константинополь-то!

Катились мы все с севера, вниз по карте. Сначала думали, что посидим в Киеве, да и по домам. Я еще дразнила братьев-писателей:

— Что! Довел нас язык до Киева?

Погнало нас вниз, прибило к морю, теперь, значит, надо вплавь. Но куда?

Слышу проекты.

«Наше слово» наймет большую шхуну, нагрузит в нее ротационную машину и типографскую бумагу, заберет всех сотрудников и двинет на всех парусах в Новороссийск.

Говорили и сами себе не верили.

— А вы куда едете? — спросили у меня.

— Да ровно никуда. Остаюсь в Одессе.

— Да вас повесят.

— Это действительно будет очень скучно. Но куда же мне деваться?

— Хлопочите скорее о пропуске на какой-нибудь пароход.

«Хлопотать» я абсолютно не умела.

В одной из редакционных комнат сидел на подоконнике А. Р. Кугель[67], бледный, лохматый, и разговаривал сам с собой.

— Куда идти? Раз они уже здесь, раз никто защитить не может… Может быть, у них сила? У них право?

Я подошла к нему, но он даже не заметил меня и продолжал говорить сам с собой.

Надо все-таки что-нибудь предпринять, если действительно все уезжают. Что же я буду делать одна?

Вот теперь как раз кстати вспомнить о преданных душах, которые месяц тому назад со слезами восторга, «которых они не стыдились», вопили, что в случае эвакуации Одессы я первая войду на пароход.

Позвонила по телефону к адвокату А. Ответила его дочь.

— Папы нет дома.

— Вы уезжаете?

— Н-нет, ничего не известно. Я ничего не знаю.

Позвонила к Б.

Ответила квартирная хозяйка.

— Уехали. Все уехали.

— Куда?

— На пароход. У них давно были пропуски от французов.

— А! Вот как! Значит, давно…

Б. тоже клялись и умилялись…

Хотела повидать кое-кого из литературных друзей, но почему-то часть города была оцеплена солдатами. Почему — никто не знал. Вообще никто ничего не знал.

— Отчего уходят французские войска?

— Получена тайная телеграмма из Франции. Там революция, там утвердились коммунисты, и значит, войска против большевиков сражаться не могут.

Во Франции революция? Что за галиматья!

— Нет, — догадался кто-то. — Они не уходят, а только делают вид, что уходят. Чтобы обмануть большевиков.

Из парикмахерской выскочила знакомая дама.

— Безобразие! Жду три часа. Все парикмахерские битком набиты… Вы уже завились?

— Нет, — отвечаю я растерянно.

— Так о чем же вы думаете? Ведь большевики наступают, надо бежать. Что же вы так, нечесаная, и побежите? Зинаида Петровна молодец: «Я, — говорит, — еще вчера поняла, что положение тревожно, и сейчас же сделала маникюр и ондюлясьон[68]». Сегодня все парикмахерские битком набиты. Ну, я бегу…

Прохожу мимо дома адвоката А. Решаю просто зайти и узнать.

— Папы все еще нет. Он придет часа через два.

Вся передняя завалена платьем, бельем, башмаками, шляпами. Раскрытые сундуки и чемоданы наполовину набиты вещами.

— Вы уезжаете?

— Кажется, да…

— Куда?

— Кажется, в Константинополь. Но у нас нет никаких пропусков, и папа хлопочет. Вероятно, не поедем.

Звонит телефон.

— Да! — кричит она в трубку. — Да, да. Вместе. Каюты рядом? Отлично. Папа заедет за мной в семь часов.

Не желая ее конфузить тем, что слышала ее разговор, я тихонько открываю дверь и ухожу.

На улице новая встреча.

Знакомая одесситка. Очень возбужденная и даже радостная.

— Голубчик! Ну вы же мне не поверите! Плотный, как кожа! Спешите скорее, там уже немного осталось.

— Чего? Где?

— Крепдешин. Ну прямо замечательный! Я себе набрала на платье. Чего вы удивляетесь? Нужно пользоваться. Дешево продают, потому что все равно большевики отберут. Бегите же скорее! Ну?

— Спасибо, но, право, как-то нет настроения.

— Ну, знаете, лавочник ждать не станет, пока у вас настроение переменится. И верьте мне, что нас ждет — неизвестно, но зато известно, что крепдешин всегда нужен.

Зашла к моим друзьям М-м.

Они ничего не знали. Не знали даже, что войска уходят. Но у них были другие приметы тревожных перемен.

— Долбоносый въехал в квартиру и поселился в гостиной. Прислушайтесь!

Прислушалась.

Из гостиной через коридор неслись звуки очень неприятного ржавого голоса. Голос пел:

Мадам Лю-лю-у-уу…
Я вас люблю-у-у…

Ага! Понимаю. Это был голос долбоносого субъекта, типа очень подозрительного, который шмыгал иногда по коридору, старательно отворачивая лицо. Кто-то из бывших у М-м узнал его

и даже назвал кличку. Это был большевик из Москвы.

Приходил к хозяйке, шептался с ней, подслушивал, подглядывал. Одновременно и ухаживал, так как хозяйка была женщина нестарая, с утра ходила в платье с открытой жирной шеей, густо, словно мукой, обсыпанной пудрой, глаза у нее были выкаченные, с толстыми веками, нос шилом, словом — вся любовь.

Поздно вечером слышно было, как, покончив с прозой шпионажных донесений, она томно ворковала голубиными стонами.

— Ой-й-й! И где мое блаженство? Где?

— Твое блаженство и с тобой! — отвечал ей ржавый голос.

И вот со вчерашнего дня «блаженство» перестало прятаться. Оно переехало с корзиной и громко крикнуло в кухню:

— Аннушка! Почистите мне бруки!

Большевик перестал прятаться.

— Действительно, ауспиции тревожны.

М-м никуда ехать не собирались. И меня это подбодрило.

Вот сидят же люди спокойно на месте.

Пошла к себе в гостиницу.

Швейцары куда-то исчезли. Большинство номеров пусты, с настежь открытыми дверями.

Только что поднялась к себе — стук в дверь.

Влетает знакомый москвич Х.

— Я второй раз забегаю. Нет ли у вас денег? Все банки закрыты. Нам не с чем выехать, жена в отчаянии.

— Куда вы едете?

— Мы сегодня вечером на «Шилке» во Владивосток. А вы куда?

— Никуда.

— Вы шутите! Вы с ума сошли. Оставаться в городе, который обещали отдать бандам на разграбление. Говорят, Молдаванка уже вооружена и ждет только, когда все войска отойдут, чтобы ринуться в город.

— Куда же мне деваться?

— Мы были уверены, что вы давно уже устроились. Едемте с нами на «Шилке» во Владивосток — у нас есть пропуск. Мы и вас проведем.

— Хорошо. Я с радостью.

— В таком случае ровно в восемь часов вечера будьте с багажом на пристани. Помните же — ровно в восемь.

— Ну конечно. Поцелуйте Лелечку.

Теперь, когда мой отъезд устраивался, я почувствовала, как мне, в сущности, хотелось уехать. Теперь, когда можно было

спокойно думать о том, что меня ждало, если бы я осталась, мне стало страшно. Конечно, не смерти я боялась. Я боялась разъяренных харь с направленным прямо мне в лицо фонарем, тупой идиотской злобы. Холода, голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков, плача, выстрелов и чужой смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела. Я больше не могла.

Открыла окно.

Где-то на боковой улице стреляли.

Уложила вещи. Спустилась вниз.

В вестибюле стало спокойнее. У стен еще остались кое-какие чемоданы, но суетни не было. Даже отельная прислуга куда-то исчезла. У парадного крыльца вертелся мальчишка-рассыльный.

— Кто это стреляет? — спросила я.

— А это шпекулянтов пугают.

— Каких спекулянтов?

— А которые валютой торгуют. Их там множество на улице — зайдите за угол, так увидите. Отъезжающим валюту продают, ну вот в них и палят.

Мальчишке, видимо, нравилось, что палят.

Я вышла на улицу, заглянула за угол. Действительно, там подальше группировались кучками какие-то люди, о чем-то толковали, махали руками.

Раздавался выстрел — группы медленно расплывались и быстро собирались снова.

— Туда не ходите. Подстрелют, — остановил мальчишка. — А там налево тоже не пройти. Там кордон.

— Почему?

— А хочут грабить нашу «Международную» и «Лондонскую». Здесь самая нажива: буржуи и иностранцы. Сюда прежде всего придут.

Вот так история!

— А много еще жильцов осталось в отеле?

— Оченно мало. Почитай, что никого нет. Все выехали.

Я решила пройти на пристань, разыскать, где стоит «Шилка», чтобы потом легче было ее найти, когда приеду с багажом.

Дорога к морю оказалась свободной.

На пристани пусто.

Подальше на рейде суда: «Херсон», «Кавказ» и иностранцы.

Среди пришвартованных к пристани барок разыскала «Шилку». Маленькое суденышко. Неужели оно пришло из Владивостока, пересекло Индийское море?

На «Шилке» ни души. Из трубы дыма не видно…

Ну, значит, успеют к вечеру наладить.

Заметив хорошенько место, пошла домой.

Попробовала созвониться по телефону с друзьями. Телефон не действовал.

Разыскала своего приятеля — швейцарова мальчишку и вместе с ним стащила вниз багаж.

— А найду ли я извозчика?

— Извозчика-а? Ну, это, знаете ли, того-с. Это надо у пристани караулить и ловить порожняка. А в городе не найдете.

Столковалась с мальчишкой, чтобы он пошел на пристань и заказал извозчика к семи часам, лучше приеду пораньше. Х. будут ждать и волноваться.

Поднялась к себе.

Что-то безнадежное было в этих пустых коридорах с распахнутыми настежь дверями, с обрывками бумаг и веревок, которых никто не выметал.

Дунул вихрь, закружил и смёл. Остались только пыль да сор…

Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать.

Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его и всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ… но не хочу об этом говорить.

Отвязала свой крестик. Простой, резной, какой кладут на грудь покойникам. Вспомнила Соловки, тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер, холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прядки волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица. Лики.

Старенький монашек у глухой церковки далеко в глуби леса. На стенах церковки все архангелы: Михаил с мечом, Рафаил с кадилом, Варахиил, вертоградарь райский, с розами в руках, и Гавриил, ангел благовещения, с веткой лилий, и Иегудиил — карающий, с бичами, и Силахиил, ангел молитвы со сложенными руками, и Уриил, скорбный ангел смерти со свечой, перевернутой пламенем вниз.

— Святые ангелы у вас, батюшка?

Старичок моргает, не понимает, не слышит:

— Куды? Куды?

Улыбнулся мелкими лучиками сухих морщин.

— Лики, милая, лики!..

Крестики, четки, тканные молитвой пояски в монастырской лавочке.

Старуха, сухая, костистая, зловещая, с круглыми ястребиными глазами, роется в поясках:

— Усю обряду смертную давай мне. Усю на девять человек

семьи. На всех запасайтесь, православные. Война. И что еще будет…

Да. «И что еще будет»?.. Я выбираю кипарисовый крестик…

Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. В страшные, бессонные черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком…

Стук в дверь.

Не дожидаясь моего ответа, влетает П., некто из некрупных общественных деятелей. Волосы всклокочены, борода точно ветром сдута набок. Глаз припух.

— Ах, с каким трудом я добрался до вас! — кричит он, растерянно глядя мимо меня. — С той стороны стреляют, с этой не пропускают… еле проскочил…

— Ну какой же вы милый, что вспомнили обо мне в такое время!

— Ну еще бы. Я прежде всего подумал о вас. Вы именно такой человек, который может выручить. С вашими знакомствами, со связями, с вашей известностью… Мы оказались в ужасном положении. Ш. обещал всех нас устроить на пароход, отходящий в Константинополь. Он клялся, что французы заберут нас всех. Назначил прийти за пропусками сегодня к одиннадцати… Мы сидели, как дураки, перед запертыми дверями до трех, и вдруг входит секретарь и выражает полное удивление нашим присутствием. Оказывается, что господин Ш. изволил уехать еще в восемь часов утра и никаких распоряжений не оставил. Нет — как вам это нравится! Теперь вся надежда на вас.

— Что же я-то могу сделать?

— Как что? Вы можете куда-нибудь съездить и похлопотать. Поезжайте на «Кавказ», расскажите, в каком мы положении. Вас все знают.

— Да начать с того, что у меня у самой никакого пропуска нет. Х. обещал взять меня с ними на «Шилку». Если бы не он, пришлось бы остаться в Одессе.

— Никогда не поверю! Вы, которую вся Россия… Бликген и Робинсон выпустили карамель вашего имени. Карамель «Тэффи». Сам ел. И чтобы вы…

— Карамель-то ели, а вот все-таки если бы не Х., то пришлось бы мне…

— В таком случае мы едем с вами на… «Шилку», — решил П. — Вы обязаны нас устроить. Мы тоже не кто-нибудь. Россия последних моментов тоже кое-чем нам обязана. Слушайте: я бегу на разведки. Если ничего не удастся — вы нас устраиваете на «Шилку». Это ваш гражданский долг. Вы ответите перед историей. Жму вашу руку и верю вам.

Черт знает что!

Распахнул дверь, стукнулся лбом о притолоку и выскочил. Но через секунду дверь снова распахнулась.

— У вас, конечно, есть валюта?

— Нет. Валюты у меня нет.

— Ай-ай-ай! Ну как же так можно! Как можно быть такой непредусмотрительной, — распекал он меня. — Положительно, господа, живете вы точно на Луне, совершенно не сознавая момента и не учитывая возможностей.

На минутку задумался и прибавил очень строгим тоном:

— Теперь где же я возьму валюту в случае, если придется ехать за границу?

Он ушел, по-видимому, очень недовольный мной.

Смеркалось. Пора было собираться на пристань.

Внизу ждал меня мой мальчишка. Он договорил извозчика за какую-то легендарную цифру. Тот обещал заехать за мной в семь часов.

Мальчишка предложил пообедать.

— Повар остался и два официанта. Кое-что могут собрать поесть.

Мне есть не хотелось.

Вышла на улицу. Послушала, как стреляют в разных концах города. Стреляли, по-видимому, без особого смысла и цели. Просто так «постреливали», напутственно, как деревенский мальчишка бросает щепочку вслед барской коляске.

Чувствовалась настороженность, мертвая зыбь, отражение где-то бушующей бури.

Мальчишка стоял на подъезде и манил меня рукой: приехал обещанный извозчик.

Спустились к набережной.

Тихо.

Отыскали «Шилку».

На ней пусто. Ни одного огонька. Пусто и на берегу.

Что же это значит? Слезла с извозчика, подошла ближе.

— Эй! «Шилка»!

На борту замаячила фигура. Китаец!

— Эй! Есть кто-нибудь на «Шилке»? Уходит «Шилка» сегодня в море? А? Отвечай же!

Китаец юркнул вниз. Скрылся.

— Эй! Китаец!

Сверху с берега кто-то выстрелил. Очень близко.

— Ой, барыня! — крикнул извозчик. — Ты как себе хочешь, а я тут стоять не стану. Я багаж твой на берег выгружу, а ждать тут не стану.

— Подожди немножко, голубчик! — попросила я. — Я тебе заплачу. Сейчас придут мои знакомые. Мы сговорились.

— Ни за какие деньги ждать не стану. Не слышите, что ли? Стреляют. Гужи срежут, лошадь уведут. Я тебе багаж выгружу, и сиди, коли хочешь, хоть всю ночь.

Я еще повертелась на берегу. Ни души. Покричала китайца.

Темнеет.

Опять выстрел, и зашуршал камушек недалеко от меня.

Извозчик решительно слез с козел и стал стаскивать чемодан.

Что я тут буду делать одна на берегу? Ясно, что «Шилка» сегодня не двинется. Ни огня, ни команды на ней не видно. Но где же Х.? Может быть, заехали ко мне в «Международную» или прислали туда записку…

За двойную плату извозчик соглашается отвезти меня обратно. Теперь, если придется снова ехать на пристань, у меня еле хватит, чем заплатить.

Гостиница погружена в полный мрак. Только внизу, в вестибюле и в ресторане, кое-где светятся лампочки.

— Никто не приходил? Не присылал за мной?

Никто, ничего. Тишь, гладь, Божья благодать.

Хотелось есть, но боюсь тратить деньги.

Остаюсь внизу, в вестибюле. Неприятно идти одной по пустым коридорам. Достаю какую-то уютную книжку, кажется Ибсена, и сажусь поближе к лампе.

К судьбе своей у меня полное равнодушие. Ни тревоги, ни страха. Сделать все равно ничего не могу. Проследила мысленно свой странный путь из Москвы всё на юг, на юг и всё не по своей воле. Явился перст судьбы в образе Гуськина, ткнул меня.

— Поездка всего на один месяц. Несколько вечеров с валовым сбором, и вот вы уже дома, и вот вы уже спокойны. Что-о?

И вот качусь вниз по карте, и гонит меня судьба, куда хочет, и докатила до самого моря. Теперь захочет — в море загонит, захочет — по берегу покатит. В сущности, не все ли равно?

Подошел официант. Официантского в нем осталось только крахмальная манишка с черным галстуком. Фрак заменил рваный пиджачок.

— Повар хочет, чтобы вы покушали, — сказал он.

— Ну что же, раз повар хочет — покоримся повару.

— Обед все равно готовили. Суп есть, баранина, компот.

— Ну вот и отлично.

Он накрыл передо мной столик и принес суп. Подавая, оглядывался, прислушивался, заглядывал в окно. Потом исчез.

Я ждала, ждала и решила пойти на разведку. Заглянула в буфет.

— Где тот лакей, что мне обед подавал?

— Лаке-ей? — спросил чей-то голос из темного угла. — Сбежал твой лакей. На улице стреляют. Скоро Молдаванка сюды нагрянет. Сбежал как прихвостень капитализма.

Я вернулась в вестибюль.

Там металась от окна к двери, от двери к лестнице высокая молодая дама. Увидя меня, она быстро подошла.

— Ваша комната номер шестой? Мы с братом в том же этаже, но в другом конце коридора. Так мы вот что придумали: все двери в коридор мы закроем на ключ, а внутри оставим сообщение. Если станут ломиться к вам первой, то вы бегите по комнатам и запирайте за собой дверь. Если начнут ломиться к нам, мы побежим таким же путем к вам.

— А вы думаете, что будут ломиться?

— Ну конечно.

И опять знакомая фраза:

— Молдаванка вооружена и ждет, когда последний патруль уйдет, чтобы ринуться сюда и в «Лондонскую». Они воображают, что здесь спрятались буржуи и капиталисты.

— Может быть, нам лучше куда-нибудь уйти?

— А куда вы пойдете? Ночь. Слышите? Стреляют… А куда вещи денете? Да и кто вас ночью пустит? Э, мы уже всё обдумали. Будем тут отсиживаться. Это ваш багаж?

— Да.

— Не советую тут оставлять.

Она обернулась и сказала шепотом:

— Отельные хлопцы, которые здесь остались, — с ними заодно. Порядочные все сбежали. Ну так мы с братом пойдем наверх запирать двери.

Она убежала.

Как все это скучно-скучно! Как все это надоело! Право, даже пожалеешь, что прошло то первое время, «весна» революции, когда мелкой дрожью стучали зубы, когда, замирая, прислушивались, проедет грузовик мимо или остановится у ворот, когда до тошноты билось сердце под удары прикладов в двери.

Теперь все привычно, все скучно до омерзения. Грубо, грязно и глупо.

Но куда, однако, девались Х.? Почему он не забежал, не дал ничего знать? Может быть, «Шилка» уйдет утром и они еще уведомят меня…

— Надежда Александровна!

Инженер В. Углы рта опущены, дышит тяжело — сейчас заплачет.

— Что случилось? Как вы сюда попали? — удивляюсь я.

— Меня подло обманули. Мне обещали пропуск на «Корковадо», я прождал весь день и ничего не получил. Все меня бросили… как со… со… ба-ку-у-у.

Он высморкался и вытер глаза.

— Я не могу больше быть один. Я пришел за вами. Отчего вы не уехали?

— Я жду Х-ов. Мы должны были встретиться на пристани в восемь часов и вместе погрузиться на «Шилку». Может быть, они еще приедут за мной?

— Х.? Вы ждете Х-ов? Да ведь они уже уехали!

— Куда? Как? Почем вы знаете?

— Да я встретил их сегодня вечером. Они ехали с багажом на «Кавказ». Едут в Константинополь.

— Быть не может! И ничего не просили передать мне?

— Нет, ничего. Они очень волновались и спешили. На ней была ваша меховая накидка — помните? — ей было холодно, вы ей дали надеть. Да, да, они уехали в Константинополь.

Я молчала, ошеломленная, и вдруг, не знаю почему, вся эта история показалась мне ужасно смешной.

— Чего же вы смеетесь? — ужасался В. — Они же вас надули. Передумали и даже не дали знать.

— Вот это-то и смешно.

В. схватился за голову.

— Она смеется, когда я в жалком отчаянии! А что будет с моей девочкой! Маленькая моя Лелюся, Лелюсевич мой!

— Так девочка же ваша сейчас в полной безопасности в деревне. Чего же вы убиваетесь?

— Я так одинок, так ужасно одинок! Как со… соба… а…

— Не вспоминайте вы, ради Бога, собаку, а то опять разреветесь…

— Умоляю вас! Едемте со мной на «Шилку», у меня есть два пропуска. Выдали на меня и на жену. Я проведу вас как жену. Умоляю! Я не могу больше оставаться один. Я с ума сойду.

— А разве «Шилка» уйдет сегодня?

— Да, часов в одиннадцать. Так мне сказали.

— Тогда едем. Я согласна.

— Ну как же я рад! Это ваш суп? Я его съем. Боже мой! Ведь, может быть, придется умирать голодной смертью! Теперь я бегу за извозчиком, чемоданы со мной, я весь день вожу с собой. Бегу! Ждите!..

Ну, на этот раз, кажется, выберусь. Чемоданы В. здесь. Если забудет меня, так чемоданы вспомнит.

Решила предупредить о моем отъезде даму, с которой

условились спасаться друг к другу.

Поднялась наверх, прошла по темному коридору, шурша раскиданной бумагой, путаясь в обрывках веревки, стучала в двери, кричала:

— Это я! Я уезжаю!

Никто не отозвался. Либо они не верили моему голосу, либо сами удрали куда-нибудь и спрятались в другом месте, оставя меня одну справляться с разбойниками.

Спустилась вниз.

В. уже ждал меня и волновался, думая, что я сбежала. Он дико боялся оставаться один.

— Ну, едем.

Поехали по темным улицам к пристани.

Кое-где вблизи постреливали. Зато издали доносилась уже совсем серьезная пальба.

Спустились к морю. Вот она, «Шилка». По ней бродят огоньки. Значит, там люди?

Подъехали ближе.

На пристани народ, сундуки, узлы, чемоданы. Прилажены сходни. Наверху белеет морская офицерская фуражка.

— Идем скорее! Идем скорее! — торопит В. — Захватят все места. И не отставайте! Я боюсь быть один!..

Какое счастье, что у него вдруг объявился такой удобный для меня психоз. Иначе сидеть бы мне в Одессе…

— Идем! Идем!

17

Странный корабль.

> Не слышно на нем капитана,[69]
> Не видно матросов на нем…

Темно. Электричества, очевидно, тоже на нем нет.

С тихим гулом ползут по трапу пассажиры. «Шилка», очевидно, без груза — ватерлиния видна над водой, и трап круто подымается с берега.

Ни суетни, ни истерической нервозности в толпе не заметно. Все как-то настороженно тихи. Деловито шепчутся. Изредка только прорывается негромкий окрик:

— Генерал М. здесь?

— Здесь.

— Мичман Р. Ищут мичмана.

— Есть!

И опять только тихий гул. Ночь теплая, темная.

Чуть-чуть накрапывает дождик.

Подымаюсь с толпой на палубу. Никто никаких пропусков не спрашивает.

— Постараемся пробиться в каюты, — советует В. — Погода, кажется, будет скверная.

Но в каюты уже не пробраться.

— Интересно, как мы двинемся. Ведь машины не работают, — говорю я.

— Может быть, еще наладят. Ведь не останемся же мы здесь! Слышите пальбу? Это, говорят, атаман Григорьев берет Одессу-Товарную[70]. Пожалуй, ночью они будут уже здесь.

Пароход набивается все плотнее и плотнее. Уже трудно двигаться по палубе.

— Постойте здесь, — говорит В. — Я попробую пробраться глубже.

Я подошла к борту и стала глядеть в море.

Тихое, темное и спокойное было море, наша новая дорога в неизвестное. Пахло мокрым канатом. Поблескивали огоньки на рейде, где большие, серьезные и важные корабли, набитые важными и сведущими персонами, таинственно переговаривались световыми сигналами. Готовились в дальний путь, в свободные моря, к спокойным берегам.

— Пропадать будем, — тихо пробормотал кто-то около меня. — Если не найдут буксира, чтобы увел нас на рейд, крышка нам. Канун да ладан.

— Ба-ба-бах! — отвечала ему Одесса-Товарная.

— Зарево! Видите?

— В городе, говорят, уже грабят.

— Господи! Господи!

И вдруг кто-то тихо запел. Красивый женский голос. Я нагнулась: примостившись на чемодане, сидела молоденькая нарядная барышня. Покачивала ножкой, перекинутой через колено, и задумчиво пела цыганский романс:

Где б ни скиталась я душистою весною,
Я вижу тот же сон, и им волнуюсь я…

Поет!

— Как это так вы можете петь? — удивился кто-то.

— А мне все равно. Надоело.

— Видно, еще не много претерпели! — продолжал удивлявшийся.

— Ну нет, все-таки порядочно. Усадьбу сожгли, брат пропал без вести… Еле успели удрать.

— А вы что же, помещица, что ли?

— Я-то? Я еще и института не кончила.

Повернула лицо к тихому морю и снова запела.

…душистою весною,
Я вижу тот же сон…

Сидит на чемодане, болтает ногой в светлом башмачке, живет мечтой.

А рядом кто-то, не то вздыхая, не то икая, жует булку. А маленький пузатенький господин робко у меня спрашивает:

— Вы, извините, госпожа Тэффи? Я, извините, Беркин. Я немного вас уже видал. Может быть, вы мне можете дать совет? Я не знаю, оставаться мне на пароходе или вернуться в Одессу?

И уже шепотом:

— У меня при себе крупная сумма. Вы мне можете поручиться, что на пароход не пролезли большевики?

— Да я-то почем знаю? Вы же видите, что я сама здесь.

— Вы здесь, но, может быть, вы не рискуете, а я рискую так, как я вам уже сказал… Простите, но меня, извините, очень знобит, исключительно от страха, так как имею на себе фуфайку… Так вы советуете остаться? Умоляю вас, я сделаю, как вы решите!

— Ну как же я могу брать на себя ответственность!

— Ну я же вас умоляю!

Я взглянула на него: все лицо дрожит, и углы рта опустились — плачет, что ли?

— По-моему, оставайтесь здесь. Здесь спокойно, а в город как вы теперь проберетесь? Темно, пусто — вас еще ограбят.

— Уф, как вы, однако, правы! Ну, вот я уже и спокоен.

Вернулся В.

— Все каюты и коридоры битком набиты. Нашел место только в ванной. Там кроме нас будут еще двое. Вам уступили скамеечку, я и еще одна личность на полу и один в ванне. Вещи наши уже свалены в трюм.

Подошел инженер О. и рассказал новости: из пароходной команды нет ни души. Все убежали в город, очевидно, желая сдать пароход большевикам. Машина разобрана, многих частей не хватает. Не то унесены они или уничтожены с умыслом — чтоб не дать нам уйти и увести «Шилку», не то просто в целях ремонта. Нашли забившихся в трюм китайцев, пароходных слуг. Они сначала делали вид, что ничего не знают и не понимают, но,

когда им пригрозили револьвером, указали, где спрятаны кое-какие части машины. Тотчас начали разыскивать среди пассажиров механиков и инженеров. Вызвался О. и еще двое-трое, и приступили к работе. Надеются собрать машину. Но работы много, и придется кое-что самим смастерить. Не хватало каких-то подшипников. Если удастся починить — мы спасены. А нет, так дело дрянь.

Начали искать среди пассажиров моряков, чтобы взяли на себя командование. Нашлось несколько человек, и выбрали командиром капитана Рябинина…

Но, собственно говоря, публика ничего обо всех этих делах не знала и даже не спрашивала. Размещали ручной багаж, чтобы удобнее было сидеть, укладывали детей спать, устраивали жизнь. Инженер О. спустился в машинное отделение.

Я пошла бродить по пароходу. Кое-где в толпе мелькали знакомые лица: профессор Мякотин, Федор Волькенштейн, Ксюнин, Титов… Товарищ министра юстиции Ильяшенко (впоследствии убитый большевиками).

На полу в коридорах, на лестницах, на связках каната, под трубой, на скамейках, под скамейками — всюду лежали и сидели люди.

— Господа! Да ведь мы поехали! — закричал вдруг чей-то радостный голос. — Мы едем!

— Пошли! Пошли!

Тихо поворачивался берег, поворачивались огоньки на рейде.

— Идем!

Но машина не стучит, и дыма из трубы не видно.

— Буксир! Буксир нас ведет.

— И то слава Богу. Хоть на рейд поставит. Хоть подальше от проклятого берега будем.

Буксир «Рома» вел нас на рейд.

А потом что?

Вот и мы, «как большие», стоим на рейде.

Между пароходами стали сновать лодочки…

Одна лодочка причалила к нашей «Шилке». По трапу поднялся какой-то зловещий одессит, разыскал своих знакомых, безмятежно жевавших финики, и клятвенно уверил их, что они неминуемо погибнут. Знакомые выплюнули недожеванные финики и предались бурному отчаянию, а одессит, с видом человека, исполнившего тяжелый долг, деловито шагнул через борт и спустился в свою лодочку.

Мой новый приятель, «извините, Беркин», вдруг засуетился и решил тоже раздобыть лодку и наведаться на какой-нибудь пароход.

— Зачем вам это нужно?

— Ну, все-таки узнаю, как там у них, и расскажу, как тут у нас.

Лодочники драли совершенно несообразные деньги, но желающих разузнать и рассказать нашлось довольно много.

«Извините, Беркин» побывал на двух пароходах.

— Ну, я же им порассказал!..

— Что же вы рассказали?

— Рассказал, что нам сообщили по радио, что с моря идут большевики. Из Севастополя.

— По какому радио? У нас ведь аппарат не действует.

— Отлично себе действует…

— Да мне только что говорил мичман, который этим заведует.

— А вы ему верите? Так вы лучше мне верьте.

— Откуда же вы знаете?

Вранье было явное и определенное.

Лодки продолжали сновать между пароходами. За баснословные деньги ездили люди попугать друг друга. Для такой великой цели разве чего пожалеешь!

Беркин ездил три раза.

— Больше я уже себе позволить не могу. Лодочники такой нахальный народ и пользуются человеческой бедой.

Под утро врали угомонились.

Наше пароходное начальство волновалось тремя вопросами — как двинуть «Шилку», откуда достать уголь для топки и чем накормить пассажиров.

Китайцы, которым снова пригрозили, показали запас риса и консервов. Но всего этого было мало.

Недалеко от нас на рейде оказался пароход, везший из Севастополя в Одессу провиант. Попросили у него продовольственной помощи. Пароход отказался и заявил строго, что идет в Одессу разгружаться.

— Да ведь там большевики!

— А нам до этого дела нет, — отвечал пароход.

Тогда «Шилка» возмутилась и открыла военные действия: послала две шлюпки с пулеметами добывать провиант.

Провиант добыли, но обиженный пароход пожаловался французскому кораблю «Жан Барт».

«Жан Барт» грозно заорал на «Шилку»:

— Разбойники! Большевики! Объяснить немедленно, не то…

«Шилка» отвечала с достоинством и с сентиментом, что, мол, у нее на борту голодные женщины с голодными детьми и что, мол, французы всегда были рыцарями.

«Жан Барт» притих и немедленно послал к «Шилке» шлюпку с шоколадом, мукой и сгущенным молоком.

Инженер О. поднялся из машинного отделения и сказал, что «Шилка» может двигаться, но только задним ходом.

Многих это известие перепугало. Думали — раз задний ход, так, значит, назад, в Одессу.

Мякотин, Титов и Волькенштейн как члены партии — не помню какой — выползали из трюма под трубу совещаться. Шептались оживленно и многозначительно смолкали, когда кто-нибудь подходил. Ксюнин в трюме начал издавать на пишущей машинке газету.

18

Буксир подтащил нас к угольщику, и было объявлено всем, всем, всем:

— Должны сами грузить на «Шилку» уголь. Рабочих на угольщике нет, на пароходе команды нет. Если хотите, чтобы пароход двинулся, — грузите уголь.

— Неужели… все должны работать?

— А то как же, — был ответ.

Началась прелюбопытная штука.

Элегантные молодые люди в щегольских костюмчиках смущенно улыбались, показывая, что понимают шутку. Конечно, сейчас, мол, выяснится, что нельзя же заставлять элегантных людей таскать на спине уголь. Ведь это же нелепо! Вздор какой!

— Эй! Выстраивайтесь все на палубе! — закричал властный голос. — Все мужчины, кроме стариков и больных.

Элегантные молодые люди оторопели. Растерянно оглянулись. Шутка затянулась слишком долго.

— Ну? Чего же вы тут топчетесь?! — крикнули на одного из них. — Слышали команду? Лезьте наверх.

Может быть, наверху поймут их элегантность и неспособность…

Палуба быстро наполнялась выстраивающимися в ряды пассажирами.

— Сейчас вам раздадут корзины. Наденьте их на спину.

Элегантные молодые люди усмехались, чуть-чуть пожимали плечами, точно участвовали в нелепом анекдоте, о котором потом забавно будет порассказать.

Но вот у борта на трапе начался какой-то скандал.

— Позвольте, — кричал кто-то. — На каком же основании вы уклоняетесь?! Человек сильный, здоровый…

— Прошу вас оставить меня в покое!

На палубу выбежал кряжистый господин лет сорока с дрожавшими от бешенства глазами:

— Прошу немедленно оставить меня в покое!

— Нет, вы сначала скажите, какие у вас основания отказываться от работы, на которую призваны буквально все?

— Какие основания? — заревел кряжистый господин. — А такие, что я дворянин и помещик и никогда в жизни не работал, не работаю и не буду работать. Ни-ког-да! Зарубите себе это на носу.

Ропот возмущения всколыхнул толпу.

— Позвольте, но ведь если мы не будем работать, то пароход не отойдет от берега!

— Мой муж тоже помещик! — пискнуло из толпы.

— Ведь мы же все попадем в лапы к большевикам!

— Но при чем же я здесь?! — в бешеном недоумении вопил кряжистый. — Наймите людей, устройтесь как-нибудь. Мы жили в капиталистическом строе, в этих убеждениях я и желаю оставаться. А если вам нравится социалистическая ерунда и труд для всех, так вылезайте на берег и идите к своим, к большевикам. Поняли?

Публика растерялась, замялась…

— Отчасти, гм… — сказал кто-то.

— Но, с другой стороны, нельзя же доставаться большевикам…

— И почему мы должны работать, а он нет?

— Самосудом бы его! — хрюкнула пролезшая на палубу старушонка.

— Ну, знаете, господин, вы это бросьте, — урезонивал добродушный купец из Нижнего.

— Не задерживать! — вылетел начальнический окрик.

Белая морская фуражка приблизилась.

— Спускайтесь к угольщику, берите корзины.

К начальству подскочил один из «элегантов» и зашептал, скосив глаза на принципиального дворянина.

Начальство мотнуло головой и спокойно ответило:

— А ну его к черту!

Нагрузка началась.

Длинной вереницей прошли по трапам вверх и вниз почерневшие, закоптевшие грузчики. Все пассажиры вылезли из кают, из трюма, из коридоров смотреть на невиданное зрелище: молодые «элеганты» в лакированных башмачках и шелковых носочках, поддерживая затянутыми в желтые перчатки руками тяжелые корзины, тащили уголь.

Они быстро вошли в роль, сплевывали и ругались.

— Гайда, ребята, не задерживай!

«Ребята» в лице «извините, Беркина», плешивого, пузатого, на тонких кривых ногах, отвечали:

— Э-эй-юхнем!

— Чего выпучили глаза? — кричал на зрителей длинный, как любительская удочка, чтец-декламатор. — Заставить бы вас поработать, не стали бы глаза пучить.

— Смотреть-то они все умеют, — язвил купец из Нижнего. — А вот ты поработай с наше…

— Г-аботать они не желают, — прокартавил курносый лицеист. — А небось есть побегут в пег-вую голову… Собаки!

Кто-то затянул ерундовую песенку последних дней:

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить.

Кто-то пустил вперебой:

Ешь ананас,
Рябчика жуй,
День твой последний
Приходит, буржуй!

И:

Эх, яблочко,
Куды котишься?
Попадешь в Чеку,
Не воротишься!

Подпевая, с аппетитом поругиваясь, работали вовсю.

«Вот он, евреиновский театр для себя, — подумала я. — Играют в крючников, и вошли в роль, и увлеклись игрой. И даже видно, кто себе как представляет заданный ему тип».

Вот ползет по трапу пузатый «извините, Беркин». Ноги у него пружинят и заплетаются. Лезет по трапу, как паук по паутине, — круглый, с тонкими лапками. Но выражение лица прямо Стеньки Разина, волжского разбойника, —

Размахнись рука,

Раззудись плечо!
Эй ты, гой еси… —

и все прочее.

И тащит тяжеленную корзинищу, какую ему без художественного вдохновения ролью и не поднять бы никогда.

Вот какой-то интеллигент с челочкой на лбу.

Шагнет понуро, с упорной и горькой усмешкой на устах. Очевидно, ему кажется, что он бурлак, тянет бечевку и растит в груди зерно народного гнева: тащу, мол, тяну, мол, но…

Но настанет пор-ра,[71]
И пр-роснется нар-род!

За ним ползло какое-то чучело в белых гетрах, в тирольской шляпе с перышком и, растирая замшевой перчаткой черные потеки на шеках, говорило простонародным тоном:

— Э-эх, братцы-парнишки, видно, тянуть нам эту ла… эту ля… эту ламку до конца дней!

Вылез из машинного отделения инженер О. в рабочей блузе, весь в саже.

— Ничего, кажется, наладил. Теперь уже есть надежда…

Заговорил что-то про лебедку, про подшипники и снова полез в машинное отделение.

И вдруг раздался дикий хрип, вопль, визг, точно сотни козлов, тысячи поросят вырвались из застенка, где с них драли шкуру. Это заревела наша труба. Черный дым валил из нее. Она дышала, вопила, жила. Пароход задрожал, заскрипел рулевой цепью и тихо повернулся.

— Да он задним ходом, — сказал кто-то.

— Идем! Без буксира!

— Спасены-ы-ы!

Около меня стоял Федор Волькенштейн и смотрел в открытое море, куда вольно и быстро уходил большой пароход.

— Это «Кавказ», — шептал он, — уходит в Константинополь… Ушел… Ушел…

Он долго смотрел вслед. Потом сказал мне:

— На «Кавказе» увезли моего мальчика. Когда-то я снова увижу его? Может быть, лет через двадцать… и он не узнает меня. Может быть, никогда.

Вот и мы вышли в море. Стучит винт, тихо дрожит пароход, гремит рулевая цепь. Волны упруго шлепают в правый борт.

Судовая жизнь налаживается. На мостике появился капитан

Рябинин, маленький, но стройный, похожий на мальчика-кадета. Появился помощник капитана, несколько мичманов, юнги. В машинном отделении инженер О., какие-то машинисты, студенты-технологи. В кочегарке — офицеры.

Пассажиры нежно волновались и умилялись над дружной работой волонтеров. Особенно трогало их самопожертвование офицеров в кочегарке.

— Ведь они прожгли свое платье, и теперь им не в чем будет выйти на берег.

Устроили комитет, который должен был собрать деньги и вещи для пострадавших.

— Объявим неделю бедноты, — предложил кто-то.

Но звучало это очень неприятным воспоминанием и было мгновенно отклонено.

— Просто организуем летучие отряды для реквизиции белья и платья, — предложил другой.

Но это было уже совсем отвратительно, и в ответ все завопили:

— Зачем? Это же прямо оскорбительно! Мы добровольно отдадим все, что нужно…

— Что долго толковать! Каждый из нас должен отчислить в пользу офицеров, работающих в кочегарке, по двести рублей, по две смены белья и по одному костюму.

— Грандиозно! Чудесно!

— Но… извините, — сказал знакомый голос.

Ага! «Извините, Беркин».

— Извините, но выдавать предметы мы будем не сегодня — они там еще, не дай Бог, попортятся. Выдавать мы будем по прибытии в Новороссийск: это значительно удобнее для обеих сторон. Я правильно говорю?

— Правильно!

— Правильно! Дельно! — поддержали пассажиры и разошлись с успокоенными физиономиями.

Впоследствии эта ассигнованная благодарными пассажирами сумма все уменьшалась. В Севастополе стали поговаривать уже только о белье и костюме.

По прибытии в Новороссийск забыли и об этом…

19

Началась дамская трудовая повинность.

Созвали пассажиров чистить силой отобранную с баржи свежую рыбу (та самая добыча, за которую призвал нас к ответу

французский пароход).

Соорудили на палубе столы из опрокинутых через козлы досок, роздали ножи, соль, и закипела работа.

Я благополучно вылезла на палубу, когда все места у столов были уже заняты. Хотела было дать несколько советов нашим хозяйкам (тот, кто не умеет работать, всегда очень охотно советует), но запах и вид рыбьих внутренностей заставили меня благоразумно уйти вниз.

По дороге встретила «извините, Беркина».

— Как поживаете? — радостно приветствовал он меня. И вдруг, понизив голос и совершенно изменив выражение лица, проговорил быстро:

— Слышали? Измена!

Оглянулся по сторонам и еще тише сказал:

— Капитан — изменник. Ведет нас в Севастополь, чтобы передать с рук в руки большевикам.

— Что за вздор? Откуда вы это взяли?

— Один пассажир подслушал радио. Молчите! Ни слова! Ни слова, но подготовляйте своих знакомых.

Он снова оглянулся, прижал палец к губам и скрылся.

Я поднялась наверх и разыскала мичмана, заведующего нашей радиостанцией.

— Скажите, действует наш аппарат?

— Нет, еще не наладили. Надеюсь, к завтрему поправим.

— А скажите, вы уверены, что в Севастополе большевиков нет?

— Ну кто же может поручиться? Вестей получить неоткуда. И ни одного встречного судна до сих пор не было. Впрочем, мы примем все меры, чтобы предварительно разузнать. Хотите посмотреть радиоаппарат?

Эх, Беркин, Беркин! «Извините, Беркин»! И откуда у вас все это берется!

Между тем внизу начали раздавать обед: суп из рыбы и рис с корнбифом.

Пассажиры с тарелками, судками, плошками и ложками выстроились двумя длинными хвостами в очереди.

У меня не было ни плошки, ни ложки, и где раздобыть это добро, я совершенно не знала. Какая-то добрая душа пожертвовала мне крышку от жестяного чайника.

— Вам туда рису положат.

Ладно. А вот ложка… Пошла в кухню.

В кухне два китайца — повар с помощником. Ни один ничего не понимает.

— Есть у вас ложка? Ложка? Понимаете? Ложка?

— Тасаталосака? — сказал повар.

— Ну, да, да — ложка! Дайте мне ложку!

— Тасаталосака, — спокойно повторил помощник, и оба занялись своим делом, не обращая на меня внимания.

— Я вам верну ее. Понимаете? Я вам заплачу.

Я показала им деньги.

И вдруг, откуда ни возьмись, налетела на меня серой бурей щучьего вида девица.

— Подкупать! — завизжала она. — Подкупать деньгами пароходных служащих! Получать привилегии, которых нет у неимущих!

— Чего вы кричите? — оторопела я. — Мне просто ложка нужна. Пусть даром дают, если не хотят получить на чай, я не в претензии.

При слове «на чай» с девицей сделались конвульсии.

— Здесь нет ни бар, ни чаев, ни денег. Здесь все работают и все получают одинаковый паек. Я видела, как вы хотели давать деньги, чтобы получать преимущества. Я могу засвидетельствовать, что видела и слышала. Я иду к капитану и расскажу ему все.

Она быстро повернулась и вылетела из кухни.

Итак, значит я — гнусный преступник, и вдобавок, несмотря на все душевные подлости, лишенный ложки.

Уныло пошла я на палубу. По дороге встречаю одного из наших судовых командиров.

— Что, вы уже пообедали? — спрашивает он бодро.

Я безнадежно махнула рукой.

— Ни плошки, ни ложки, и вдобавок на меня же еще жалуются капитану.

— Что за ерунда? — удивился офицер. — Идите к себе в каюту. Я сейчас пришлю вам обед.

И через десять минут я царственно сидела на скамеечке в ванной комнате, поджав по-турецки ноги, и на коленях у меня была тарелка с рисом и корнбифом, и в рис воткнуты ложка и вилка. Вот как возвеличила меня судьба.

Поздно вечером, когда я уже улеглась на свою беженскую котиковую шубку, дверь в каютку распахнулась, и в мутном свете коридора обрисовалась фигура щучьей девицы.

— Вы не спите? — спросила фигура.

— Нет еще.

— У вас в багаже, кажется, есть гитара?

— Да. А что?

Я была сонная и испугалась. Вдруг она побежит жаловаться капитану, что я вожу с собой музыкальные инструменты, «когда

народ голодает».

Ну, думаю, все равно. Пусть выбрасывают в воду мое белье и платье. Гитары не отдам.

— Будьте любезны, — холодно говорит щучья девица, — дать свою гитару. Она нужна в лазаретном отделении, где есть больной элемент.

В первый раз слышу, чтобы больных лечили гитарами!

— Нет, — также холодно ответила я. — Я вам своей гитары не дам. Кроме того, она с багажом в трюме, и вряд ли будут выворачивать весь груз для ваших выдумок.

— Если вы так относитесь к своему гражданскому долгу, — истерически задохнулась девица, — то мы еще увидим!..

Как она мне, однако, надоела! Отдать мою любимицу, мою певучую радость, мою гитару в эти рыбьи плавники!

«Больной элемент», наверное, подтянул бы колки и затренькал:

Вы-ыйду ль я на ре-еченьку,[72]
Выйду ль я на бы-ыструю…

Ужас какой!

Я так люблю ее, мою «подругу семиструнную»…

С самого детства знаю я над собой эту власть струны.

Помню, как в первый раз ребенком услышала в балете в Мариинском театре соло на арфе Цабеля[73]. Я была так потрясена, что, вернувшись домой, ушла одна в гостиную, обняла жесткую диванную подушку с вышитой бисерной собачкой и плакала, до боли прижимаясь лицом к бисерным лапам. Я ведь не могла рассказать о неизъяснимом восторге, о блаженной струнной тоске, первый раз зазвеневшей для меня в земной моей жизни.

Звук струнный — это почти первая музыкальная радость человечества. Самая первая, конечно, свирель — у народов пастушеских. Но в первой молитве, в первом храме всегда торжественно и вдохновенно пели струны…

Короткие арфы в руках у жриц Ассирии, у египтянок…

«Начальнику хора. На струнных орудиях. На осьмиструнном. Псалом Давида»…

Потом лиры, лютни и, наконец, гитара. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый века — все звенит, все поет и плачет гитарными струнами. Миннезингеры[74], менестрели[75], бродячие поэты-музыканты разносят в песнях чары любви и колдовство черной книги «Гримуара». И вся поэзия средневековой жизни идет в сердца через струны.

В дни самого мрачного средневековья, когда тихие затворники, пряча мысль свою, как тайную лампаду в темных кельях монастырей, в исступленных муках души искали великий разум у жизни и за эту муку свою сгорали на кострах инквизиции, — тогда о радостях земли знали только песни, и несли их певцы-поэты с гитарами в руках.

В России гитара, была хороша только у цыган. Русский человек относился к ней, как к балалайке: уныло подбирал лады и тренькал:

Выйду ль я на реченьку…

Цыгане «мотивчика» не тренькают. Они умеют перебирать струны говорком, давать вспышки, вскрики и сразу гасить бурный аккорд ласковой, но властной ладонью.

У каждого своя манера дотронуться до струны. И каждому она отвечает иначе. И у нее бывают свои настроения, и не всегда одинаково отзовется она даже на привычное ей касание.

— Более сырой, более сухой воздух, — скажут мне.

Может быть. Но разве наши собственные настроения не зависят в большой мере от «сухости» окружающей среды?

Старая, пожелтевшая гитара с декой, тонкой и звонкой, — сколько в ней накоплено звуков, сколько эманаций от песенно касавшихся пальцев: такая гитара — дотроньтесь до нее! — сама поет, и всегда в ней найдется струна, настроенная созвучно какой-то вашей струне, которая ответит странным физическим тоскливо-страстным ощущением в груди, в том месте, где древние предполагали душу…

Я не могла отдать свою гитару щучьей девице для увеселения «больного элемента».

20

Утром ко мне зашел Смольянинов. Он был чем-то вроде администратора на нашем корабле. В прошлой своей жизни — как будто сотрудником «Нового времени». В точности не знаю.

— Знаете, — сказал он мне, — кое-кто из пассажиров выражает неудовольствие, что вы вчера рыбу не чистили. Говорят, что вы на привилегированном положении и не желаете работать. Нужно, чтоб вы как-нибудь проявили свою готовность.

— Ну что ж, я готова проявить готовность.

— Прямо не знаю, что для вас придумать… Не палубу же вас

заставить мыть.

— А-ах!

Мыть палубу! Розовая мечта моей молодости!

Еще в детстве видела я, как матрос лил воду из большого шланга, а другой тер палубу жесткой, косо срезанной щеткой на длинной палке. Мне подумалось тогда, что веселее ничего быть не может. С тех пор я узнала, что есть многое повеселее, но эти быстрые крепкие брызги бьющей по белым доскам струи, твердая, невиданная щетка, бодрая деловитость матросов — тот, кто тер щеткой, приговаривал «гэп! гэп!» — остались чудесной радостной картиной в долгой памяти.

Вот стояла я голубоглазой девочкой с белокурыми косичками, смотрела благоговейно на эту морскую игру и завидовала, что никогда в жизни не даст мне судьба этой радости.

Но добрая судьба пожалела бедную девочку. Долго томила ее на свете, однако желания ее не забыла. Устроила войну, революцию, перевернула все вверх дном и вот наконец нашла возможность — сует в руки косую щетку и гонит на палубу.

Наконец-то! Спасибо, милая!

— А скажите, — обращаюсь я к Смольянинову, — у них есть такая косая щетка? И воду будут лить из шланга?

— Как? — удивляется Смольянинов. — Вы согласны мыть палубу?

— Ну конечно! Ради Бога, только не передумайте. Бежим скорее…

— Да вы хоть переоденьтесь.

Переодеться-то было не во что.

Вообще на «Шилке» носили то, что не жалко, сохраняя платье для берега, так как знали, что купить уже будет негде. Поэтому носили то, в чем в ближайшие дни никакой надобности не предвиделось: какие-то пестрые шали, бальные платья, атласные туфли.

На мне были серебряные башмаки… Все равно в них по городу не пойдешь квартиру искать.

Поднялись наверх.

Смольянинов пошел, распорядился. Юнга притащил щетку, притянул шланг. Брызнула веселая вода на серебряные башмаки.

— Да вы только так… для виду, — шептал мне Смольянинов. — Только несколько минут.

— Гэп-гэп, — приговаривала я.

Юнга смотрел с испугом и состраданием.

— Разрешите мне вас заменить!

— Гэп-гэп, — отвечала я. — Каждому свое. Вы, наверное,

грузили уголь, а я должна мыть палубу. Да-с. Каждому свое, молодой человек. Работаю и горжусь приносимой пользой.

— Да вы устанете! — сказал еще кто-то. — Позвольте, я за вас.

«Завидуют, подлые души!» — думала я, вспоминая мои далекие мечты. Еще бы, каждому хочется.

— Надежда Александровна! Вы и в самом деле переутомились, — говорит Смольянинов. — Теперь будет работать другая смена.

И прибавил вполголоса:

— Очень уж вы скверно моете.

Скверно? А я думала, что именно так, как матросик моего далекого детства.

— И потом, уж очень у вас довольное лицо, — шепчет Смольянинов. — Могут подумать, что это не работа, а игра.

Пришлось отдать щетку.

Обиженная, пошла вниз. Проходя мимо группы из трех незнакомых дам, услышала свое имя.

— Да, да, она, говорят, едет на нашем пароходе.

— Да что вы!

— Я вам говорю — Тэффи едет. Ну, конечно, не так, как мы с вами: отдельная каюта, отдельный стол и работать не желает.

Я грустно покачала головой.

— Ах, как вы несправедливы! — сказала я с укором. — Я собственными глазами только что видела, как она моет палубу.

— Ее заставили мыть палубу? — воскликнула одна из дам. — Ну это уже чересчур!

— И вы видели ее?

— Видела, видела.

— Ну и что? Как?

— Такая длинная, истощенная, цыганского типа, в красных сапогах.

— Да что вы!

— А нам никто ничего не сказал!

— Это же, наверно, очень тяжелая работа?

— Ну еще бы, — отвечала я. — Это вам не рыбу ножичком гладить.

— Так зачем же она так?

— Хочет показать пример другим.

— И никто нам ни слова не сказал!

— А скажите, когда она еще будет мыть? Мы хотим посмотреть.

— Не знаю. Говорят, на завтра она записалась в кочегарку. Впрочем, может быть, это вранье.

— Ну это уже было бы совсем чересчур, — пожалела меня одна из дам.

— Ну что ж, — успокоила ее другая. — Писатель должен многое испытать. Максим Горький в молодости нарочно пошел в булочники.

— Так ведь он в молодости-то еще не был писателем, — заметила собеседница.

— Ну, значит, чувствовал, что будет. Иначе зачем бы ему было идти в булочники?

Поздно вечером, когда я сидела одна в нашей каюте-ванной, кто-то тихо постучал в дверь.

— Можно?

— Можно.

Вошел неизвестный мне человек в военной форме. Окинул взглядом каюту.

— Вы одна? Вот и отлично.

И, обернувшись, позвал:

— Войдите, господа. Посторонних нет.

Вошли три-четыре человека. Между ними инженер О.

— В чем же дело? — спросил О. — О чем вы хотели говорить?

— Дело очень важно, — зашептал тот, который вошел первым, — нас обманывают. Нам говорят, что мы идем в Севастополь, а между тем капитан держит курс на Румынию. Там он выдаст нас большевикам.

— Что за бред? Почему в Румынии большевики?

— Бред ли это — вы узнаете слишком поздно. Во всяком случае, «Шилка» держит курс на Румынию. Нам остается сделать одно: сегодня же ночью идти к капитану, уличить его и передать командование лейтенанту Ф. Этому человеку мы можем верить. Я его хорошо знаю, и, кроме того, он родственник одного очень известного общественного деятеля. Итак, решайте немедленно.

Все молчали.

— Знаете что, господа, — сказала я. — Все это не проверено и очень неясно. И почему нельзя днем спросить попросту у капитана, отчего мы не держим курс на Севастополь? А врываться к нему ночью — ведь это прямой бунт.

— Ах, вот вы как! — сказал коновод и зловеще замолчал.

В полутемной каютке шепчемся, как черные заговорщики. Над головами громыхает рулевая цепь: это предатель маленький капитан заворачивает к Румынии. Прямо страничка из авантюрного романа.

— Да, — согласился инженер О. — Мы лучше завтра расспросим.

И коновод неожиданно согласился.

— Да, пожалуй. Может быть, так даже будет лучше.

Утром О. сказал мне, что говорил с капитаном и тот очень охотно и просто объяснил, что держал такой курс, потому что надо было обойти минные поля.

Вот удивился бы бедный капитан, если бы мы вползли к нему ночью с кинжалами в зубах…

Я видела потом лейтенанта Ф. Унылый, длинный неврастеник, он, кажется, даже и не знал, что его собирались провозгласить диктатором. А может быть, и знал… Он в Севастополе оставил «Шилку».

21

Жизнь входит в свою колею.

Первые дни любительских подвигов, когда полковник Щ., засучив рукава, месил на палубе тесто для лепешек и золотой браслет позвякивал на его красивой белой руке, а рядом сидел известный статистик Г. и громко высчитывал, сколько будет припеку на душу, на полдуши и на четверть, — эти дни давно миновали.

Теперь продовольствием заведовал повар, китаец Миша.

Миша был чахоточный старик с лицом удивленной старой девы. Когда не было работы, отдыхал, сидя на корточках, и курил особую трубку, пропуская дым через воду. Что-то вроде кальяна.

Другой китаец, молодой дурень Акын, рассказывал, что Миша был еще недавно здоровый и сильный, но как-то рассердился и так долго и громко ругался, что «разорвал себе горло».

Был еще третий китаец — слуга и прачка.

Я заинтересовалась китайским языком.

— Акын, как по-китайски «старик»?

— Тасаталика, — отвечает Акын.

— А как «стакан»?

— Тасатакана.

Удивительно, как китайский язык созвучен русскому.

— А как «капитан»?

— Тасакапитана.

Гм… очевидно, что слово остается почти без изменения.

— А как «корабль»?

— Тасаколабля.

Чудеса!

— А «шапка»?

— Тасасапака.

Подошел мичман Ш.

— Учусь китайскому языку. Удивительно, до чего он напоминает русский.

Мичман засмеялся.

— Да, да, я слышал. Ведь он воображает, что вы его заставляете учить русские слова. Это он с вами по-русски говорил. И дурак же ты, Акын!

— Тасадулака! — охотно согласился китаец.

Однообразно шли дни.

Ели рис с корнбифом. Пили отвратительную воду из опреснителя.

Прошлого не вспоминали, о будущем не думали. Знали, что, по всей вероятности, дойдем до Новороссийска, а кто и что нас там встретит — было неизвестно.

Предполагалось, что «Шилка» пойдет во Владивосток. Я очень на это надеялась. Там я встретила бы своего друга М. Потом через Сибирь могла бы вернуться в Москву. Оставаться в Новороссийске совершенно не имело смысла. Да и что там делать?

Пока что бродила ночью по палубе. Постою с лунной стороны, перейду на черную, на безлунную.

Привыкла к пароходным звукам и шумам. Лежа на своей узенькой скамеечке в ванной каюте, слушала, как гремит рулевая цепь, как топочут ногами юнги, убирая палубу.

Пассажиры утряслись, как мешок с картофелем, и каждый нашел свое место. Старый сановник, похожий на толстого татарина, пристроился к кругленькой учительнице из Киева.

— Так вы продолжаете утверждать, — говорил сановник крутым генеральским басом, — вы продолжаете утверждать, что вареники вкуснее ботвиньи?

И укоризненно качал головой:

— Ай-яй-яй! Неужели вы не понимаете, что творог вообще мерзость?

— Нет, вареники — это очень вкусно, — собирая губы бантиком, отвечала учительница. — Это вы нарочно, чтобы дразнить. Вы такой.

Что значило «такой» — неизвестно. Но сановнику было приятно, и он с удовольствием смотрел на круглую, как вишня, учительницу с туго закрученными косами и грязной малиновой ленточкой на шее.

Инженер О. исполнял роль главного механика и сидел в машинном отделении.

Вывезший меня из Одессы В. впал в меланхолию и съедал двойную порцию риса, в который он настругивал купленную в

Севастополе каменную колбасу. Ел с аппетитом и со слезами на глазах:

— Боюсь, что придется помирать с голоду.

По вечерам выползала из трюма какая-то графская горничная, куталась в драгоценную манильскую шаль, становилась у борта, подпиралась кулачком, пригорюнивалась и тихо пела:

Гори, гори, моя звезда,[76]
Звезда любви, звезда рассветная…

Как-то на какой-то недолгой стоянке оказалась борт о борт около нас угольная баржа, черная — вся дым и сажа. Звали ее «Виолетта».

Закопченный, как ламповый фитиль, матросик с этой «Виолетты» долго всматривался в графскую горничную. Отходил от борта, снова подходил. Глаз не мог оторвать.

— Кажется, наша Травиата одержала победу, — шутили пассажиры.

Но горничная была горда и на закопченного матросика не глядела.

Гори, гори, моя звезда-а…

Но когда «Виолетта» отчалила, матросик вдруг, перегнувшись, крикнул:

— Анюта! Вы?

Горничная оторопела, вскинула глаза. Губы у нее побелели.

— Господи! Да никак… ваше сиятельство!.. Наш барин… Ей-Бо-гу!.. Что же это…

И, обернувшись, растерянно говорила нам:

— Кто же их знал, где они. Я долго добро стерегла, да вон все равно все растащили.

Она мяла в руках драгоценную шаль.

— Все как есть растащили. До капочки.

Сколько дней мы плывем? Восемь? Десять? Кто-то сказал, что одиннадцать. Быть не может!

Днем, когда моя каютка-ванная пустеет, я лежу на узкой скамеечке и думаю о том, какой тоненький слой дерева и железа отделяет меня от синей холодной бездны. Ходят подо мной рыбы, кружатся клубками студенистые медузы, уцепившись за глубокую подводную скалу, шевелит лапами краб — выпучил глаза и

ворочает ими, следит за днищем нашего парохода: не свалится ли оттуда кто-нибудь на завтрак. Неужто не свалится? Неужто не найдется никого, до предела своего дотосковавшего? А там, еще глубже, — камни, водоросли и еще какая-нибудь усатая гадина шевелит щупальцами, ждет.

Говорят, океан несет утопленников к берегам Южной Америки. Там самое глубокое в мире место, и там на двух-трехверстной глубине стоят трупы целыми толпами. Соленая, крепкая вода хорошо их сохраняет, и долгие-долгие годы колышутся матросы, рыбаки, солдаты, враги, друзья, деды и внуки — целая армия. Не принимает, не претворяет чужая стихия детей земли…

Гляжу, закрыв глаза, в зеленую прозрачную воду, глубоко подо мной. Плывет веселая стая мелких рыбок. Плывет косяком. Ведет весь косяк, очевидно, какой-нибудь рыбий мудрец и пророк. Как трепетно, покорно вся стайка мгновенно повинуется малейшему его движению. Он вправо — все вправо. Он назад — все назад. А ведь стайка большая. Начни считать — штук шестьдесят. Кружатся, сигают в стороны, поворачивают… Ой, рыбы, рыбы, а не дурак ли он, этот ваш передовой пророк и философ?..

Скоро придем в Новороссийск.

Но никого это не радует. Скорее тревожит.

Те, у кого там родные, тоже не радуются. Неизвестно, застанут ли их, и неизвестно, что за это время с ними произошло.

На «Шилке» кое-как наладили радиостанцию. Но сговориться пока что она ни с кем не смогла. Так и плыли мы в неизвестность, злую ли, добрую ли, и того не знали.

Скучные стали дни, долгие…

К мысу радости, к скалам печали ли,[77]
К островам ли сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять мне тяжелых ресниц…
Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды…
Все равно…

Как странно было мне услышать эти оборванные строчки через несколько лет с эстрады Саль-Гаво, принаряженные, переложенные на музыку…

Словно я закупорила их в засмоленную бутылку, бросила в море — и вот понесли волны эту бутылку, прибили к далеким счастливым берегам, и там ее подобрали, раскупорили, созвали народ и прочли SOS всем, всем, всем…

Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять мне тяжелых ресниц…

22

Рано утром разбудил меня рев сирены.

Что-то там наверху делается?

Поднялась на палубу — картина совершенно неожиданная и невиданная: серый жемчужный туман, густой, недвижный, охватил меня сразу, отделил от мира. Сделала несколько шагов и уже не могла найти лестницу, по которой поднялась. Протянула руки и не видела собственных пальцев.

А сирена ревела тревожно, и весь пароход дрожал мелкой дрожью.

Стоим ли мы на месте или идем?

Какие-то голоса, неясные, точно их окутал туман, раздавались недалеко от меня. Но в общем какая-то необычайная тихость, сон, облачное сновидение.

Я не знала — одна я на палубе или около меня люди. Может быть, все пассажиры собрались здесь где-нибудь за этой ревущей трубой, а я думаю, что я одна.

Я сделала несколько шагов и наткнулась на какую-то ограду. Вытянула руки, ощупала — борт. Я стою у борта, а там за ним — жемчужная бездна.

И вдруг прямо перед моим лицом заколыхался туман, поплыл быстро, как театральная декоративная кисея, раздернулся в разные стороны и — странный сон — ярко-красные фески, близко-близко от меня, я бы могла достать их рукой — черные рожи, глаза как крутое яйцо с желтым припеком, яростной улыбкой оскаленные зубы. Я даже отшатнулась. Для них этот разорвавшийся туман, видно, тоже был чудом. Они кинулись к борту, замахали руками, загалдели что-то вроде:

— Гюзель Каре! Каре гюзель!..

Еще и еще красные фески, белки́, руки, зубы…

И вдруг это маленькое «окошко в Африку» помутнело, потускнело и мгновенно задернулось наплывшим туманом.

— Ч-черт! — раздался голос около меня. — Едва не

наскочили.

Ревела сирена, и дрожал пароход тихой, мелкой дрожью.

Подходим к Севастополю. Подходим робко.

Встретили лодку, помахали ей тряпкой, побеседовали, расспросили и не поверили. Встретили другую. Опять побеседовали. Наконец — делать нечего, все равно надо было брать уголь — вошли в гавань.

В городе оказалось тихо. Город был в руках белых.

Половина наших пассажиров выгрузилась.

Остальные пошли бродить по улицам. Передавали друг другу волнующие вести.

— Нашли сапожный магазин и в нем четыре пары замшевых туфель. Три огромные, а одна совсем крошечная.

Дамы побежали примерять. Я, конечно, тоже.

Действительно, три пары гигантских, одна крошечная.

— Где вы такие ноги видали? — спрашиваю у сапожника.

— Зато посмотрите, какой товар хороший! И фасончик — прямо ножка смеется!

— Да ведь эти огромные, а те не влезут. Как же быть?

— А вы купите две парочки, вот и будет ладно. Одна, значит, большая, другая маленькая, вот и выйдет середина наполовину.

Хорошо торговал севастопольский сапожник!

Город был пыльный, унылый, обтрепанный.

Побродили и вернулись на «Шилку». Знали, что уголь грузят спешно и сразу отойдут.

Пароход опустел. Но перед самым отходом принял новых, уже «казенных пассажиров»: целый отряд военной молодежи, охранявшей крымские дворцы. Доставить их надо было на кавказский антибольшевистский фронт.

Красивые, нарядные мальчики весело переговаривались, картавили по-французски, пели французские песенки. Разместились на палубе.

А в трюм серой, пыльной, войлочной волной, гремя штыками и манерками, вкатился отряд боевой обстрелянной пехоты.

Оба эти отряда не смешивались и как бы не замечали друг друга.

Наверху перекликались веселые голоса.

— Où es-tu, mon vieux?[78]

— Коко, где Вова?

— Кто пролил мой одеколон?

Пели: «Rataplan-plan-plan…»

Снизу поднимались, погромыхивая жестяной кружкой, на камбуз за кипяточком усталые серые люди, подтягивали какие-то

рваные ремешки, шлепали оборванными подметками, опустив глаза, пробирались, громыхая сапожищами, мимо лакированной молодежи.

Но бедную лакированную молодежь ждала очень горькая участь там, на фронте. Многие встретили смерть нарядно. Храбро и весело. Для многих этот «Rataplan» был последней песенкой.

Среди этой молодежи был один с поразительно красивым голосом. Он долго, до глубокой ночи пел. Говорили, что это племянник певца Смирнова…

К ночи стало слегка покачивать.

Я долго стояла одна на палубе.

Обрывки песен, веселый говор и смех доносились из салона.

Серая, войлочная, пыльная команда давно затихла в трюме. Они не веселились. Они уже слишком многое видели и узнали, чтобы смеяться. Спали крепко, «деловито», как крестьянин во время страды, которому сон нужен и важен, потому что дает силы для нового тяжкого дня.

Поскрипывала, покачивалась «Шилка». Черная волна ударяла упруго и глухо. Разбивала ритм песни, чужая этому маленькому веселому огоньку, светящемуся из окна салона в темную ночь. Своя глубокая и страшная жизнь, своя неведомая нам сила и воля. Не зная нас, не видя, не понимая — поднимет, бросит, повлечет, погубит — сти-хи-я.

Большая звезда вздулась костром, бросила на море золотую ломаную дорожку, словно маленькая луна.

— Это Сириус, — произнес около меня голос.

Мальчишка-кочегар.

Глаза, белые от замазанного сажей лица, напряженно смотрят в небо. Через открытый ворот бурой от грязи рубашки виден медный крестик на замызганном гайтанчике.

— Это Сириус.

— Вы знаете звезды? — спросила я.

Он замялся.

— Немножко. Я плаваю… я кочегар… на пароходе ведь часто приходится посматривать на небо.

— Из кочегарки?

Он оглянулся кругом.

— Ну да. Я кочегар. Не верите?

Я взглянула на него. Действительно — почему же не верить? Рука с обломанными черными ногтями, этот медный крестик…

— Нет, я верю.

Черные волны с острыми белыми рыбьими гребешками плыли у борта, хлюпали, шлепали по пароходу лениво и злобно. Погасла дорожка Сириуса, начался мелкий дождик.

Я отошла от борта.

— Надежда Александровна! — тихо окликнул меня кочегар.

Я остановилась.

— Откуда вы меня знаете?

Он снова оглянулся кругом и заговорил совсем тихо:

— Я был у вас на Бассейной. Меня представил вам мой товарищ, лицеист Севастьянов. Помните? Говорили о камнях, о желтом сапфире…

— Да… чуть-чуть вспоминаю…

— Здесь никто не знает, кто я. Даже там, в кочегарке. Я плыву уже третий раз. Третий рейс. Все мои погибли. Отец скрылся. Он мне сказал: ни на одну минуту не забывать, что я кочегар. Только тогда я смогу уцелеть и сделать благополучно то, что мне поручено. И вот плыву уже третий раз и должен опять вернуться в Одессу.

— Там уже укрепятся большевики.

— Вот тогда мне туда и нужно. Я заговорил с вами потому, что был уверен, что вы узнаете меня. Я вам верю и даже думаю, что вы нарочно притворяетесь, что не узнали меня, чтобы не встревожить. Неужели так хорош мой грим?

— Поразительный. Я и сейчас уверена, что вы самый настоящий кочегар, а только в шутку упомянули о Севастьянове.

Он усмехнулся.

— Спасибо вам.

Он нагнулся, быстро поцеловал мне руку и шмыгнул к трапу.

Маленькое пятнышко сажи осталось у меня на руке.

Да. Петербург. Вечера. Томные, нервные дамы, рафинированная молодежь. Стол, убранный белой сиренью. Беседа о желтом сапфире…

Что говорил о желтом сапфире этот худенький картавый мальчик?

Сколько еще рейсов сделает он с медным крестиком на замызганном гайтанчике? Один? Два? А потом прижмет усталые плечи к каменной стенке черного подвала и закроет глаза…

Темное пятнышко угольной сажи осталось на моей руке.

И всё…

23

И вот другая ночь. Тихая, темная.

Вдали полукругом береговые огоньки.

Какая тихая ночь!

Стою долго на палубе, вслушиваюсь в тишину, и все кажется

мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон… Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны.

— Да, благовест, — говорит кто-то рядом. — По воде хорошо слышно.

— Да, — отвечает кто-то. — Сегодня ведь пасхальная ночь. Пасхальная ночь!

Как мы все забыли время, не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве.

Пасхальная ночь!

Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом, в огнях и пении, там, на земле, славящем Воскресение.

Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови в простые, милые дни детства…

Младшая моя сестра Лена[79]… Она всегда была со мной рядом, мы вместе росли. Всегда у своего плеча видела я ее круглую розовую щеку и круглый серый глаз.

Когда мы ссорились, она била меня своим крошечным и мягким, как резиновый комочек, кулаком и сама, в ужасе от своего зверства, плакала и повторяла:

— Я ведь тебя убить могу!

Она вообще была плакса. И когда я принималась рисовать ее портрет (я в пять лет чувствовала большое влечение к живописи, которое впоследствии сумели из меня вытравить), то прежде всего рисовала круглый открытый рот, затушевывала его черным, а потом уже пририсовывала глаза, нос и щеки. Но это все были уже совершенно не значащие аксессуары. Главное — разинутый рот. Он передавал великолепно сущность физическую и моральную моей модели…

Лена тоже рисовала. Она всегда делала то же, что я. Когда я хворала и мне давали лекарство, то и ей должны были накапать в рюмочку воды.

— Ну что, Ленушка, лучше ли тебе?

— Да, слава Богу, как будто немножко легче, — со вздохом отвечала она.

Да, Лена тоже рисовала, но прием у нее был другой. Рисовала она нянюшку и начинала с того, что старательно проводила четыре горизонтальные параллельные черточки.

— Это что же такое?

— Это морщины на лбу.

К этим морщинам потом двумя-тремя штрихами

пририсовывалась вся нянюшка. Но очень трудно было вывести правильные черточки для морщин, и Лена долго сопела и портила лист за листом.

Лена была плакса.

Помню ужасный, позорный случай.

Я уже целый год училась в гимназии, когда Лену отдали в младший приготовительный.

И вот как-то стоит наш класс на лестнице и ждет своей очереди спуститься в переднюю. Малыши-приготовишки только что прошли вперед.

И вдруг вижу — маленькая фигурка со стриженым хохолком на лбу, волоча тяжелую сумку с книгами, испуганно пробирается около стенки и не смеет пройти мимо нас.

…Лена!

Наша классная дама подошла к ней:

— Как ваша фамилия? Вы из какого класса?

Лена подняла на нее глаза с выражением самого нечеловеческого ужаса, нижняя губа у нее задрожала и, не отвечая ни слова, она втянула голову в плечи, затрясла хохолком, подхватила свою сумку и с громким плачем побежала по лестнице, маленький, несчастный катыш!

— Какая смешная девочка! — засмеялась классная дама.

А я! Что я переживала в этот момент! Я закрыла глаза, спряталась за спину подруги… Какой позор! Вдруг классная дама узнает, что это моя сестра! Которая ревет, вместо того чтобы ответить просто и благородно: «Из младшего приготовительного» — и сделать реверанс. Какой позор!

…Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный…

Помню, в старом нашем доме, в полутемном зале, где хрустальные подвески люстр сами собой, тихо дрожа, звенели, стояли мы рядом, я и Лена, и смотрели в черное окно, слушали благовест. Нам немножко жутко оттого, что мы одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжественно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос.

— А отчего, — говорит Лена, — отчего ангелы сами не звонят?

Я вижу в полутьме ее серый глазок, блестящий и испуганный.

— Ангелы только в последний час приходят, — отвечаю я и сама боюсь своих слов…

Отчего в эту, вот в эту пасхальную ночь пришла ко мне за тысячи верст, в темное море, сестра моя, пришла маленькой девочкой, какой я больше всего любила ее, и встала около меня?

Я не знаю почему…

Я узнаю только через три года, что в эту ночь за тысячи верст

от меня, в Архангельске, умирала моя Лена…

Пришли в Новороссийск.

Какой огромный порт!

Мол за молом, без числа.

Всюду, как шеи гигантских черных журавлей, вздымаются подъемные краны. Бесконечные амбары, сараи, склады. На молах и на набережной — народ.

Сначала показалось, что это пассажиры ждут парохода. Но, побродив между ними, увидела, что они не ждут, а просто живут здесь. Устроили из лохмотьев и корзинок палатки, развесили рваное барахло, обжились и живут.

Старухи тут же на жаровнях жарят какие-то огрызки.

Полуголые дети играют стеклышками от бутылок и бараньими костями. Все черномазые, со взбитой черной шерстью на голове.

Перед каждой палаткой привязан к жердочке пучком или гирляндой чеснок.

Это всё беженцы-армяне. Сидят в Новороссийске уже давно. Куда их двинут — не знают. В городе свирепствует сыпной тиф. И среди этих беженцев много больных. И дети мрут от лихорадки. Эти пучки чеснока привязаны, чтобы отгонять заразу. Запаха чеснока очень не любят привидения, вампиры, оборотни и разные болезни. И тех, и других, и третьих я отлично понимаю.

Странная жизнь этих беженцев!

Откуда-то их выгнали, куда-то погонят. Имущества — три лохмота и сковородка. А живут ничего себе. Ни уныния, ни даже нетерпения не заметно.

Перебраниваются, смеются, бродят вдоль всего лагеря друг к другу в гости, шлепают ребят. Кое-кто даже торгует сушеной рыбой и прессованной бараньей колбасой.

Мальчишка свистит в глиняную свистульку, и две девочки, обнявшись, пляшут.

Никто не ропщет, не волнуется, не пристает с расспросами. Принимают эту жизнь как нормальный человеческий быт.

Вот одна женщина в драном, но шелковом платье, очевидно, была еще недавно богатой, показывает соседке, как она натянула на веревку свою шаль. И очень довольна, что так хорошо все устроила. Вот если бы только шаль на одну четверть (показывает много раз ладонью, сколько именно надо), да, ровно на одну четверть была подлиннее, так совсем бы закрывала их палатку.

Вот только этой четверти и не хватает для полного комфорта.

Да. Все познается сравнением. Соседка не может не завидовать. У нее только гирлянда чеснока защищает жилище от

вампиров, заразы и посторонних взглядов.

Иду в город. Там уже бродят беспастушными стадами наши шилкинские пассажиры. Ищут знакомых, узнают насчет квартир, насчет цен и — главное — насчет большевиков.

Тут впервые услышали мы слово «зеленые».[80]

Зеленые были новые, не совсем понятные — из белых или из красных образовался этот новый цвет…

— Они там. За Геленджиком, — показывали нам на высокие белые горы с правой стороны бухты.

— Они никого не трогают…

Как они там живут? Почему и от кого прячутся?

— К ним и офицеры уходят.

Унылыми серыми группами стоят на углах и перекрестках наши шилкинцы и уныло плетут ерунду.

— Что, господа, — раздается деловитый бас. — Ясное дело — надо ехать в Трапезунд[81].

— В Трапе-зу-нд?

— Ну конечно, господа. Там, говорят, масло очень дешево.

— Ни малейшего смысла. Через неделю, максимум через две, большевики уйдут, а отсюда нам все-таки ближе двинуть домой.

Но любитель масла не сдавался.

— Отлично, — говорил он. — Пусть через две недели. Но лучше же эти две недели прожить приятно, чем черт знает как.

— Пока доберетесь, пока то да се… Не успеем мы вашим дешевым маслом и бутерброд намазать, как придется выбираться.

— Но куда же деваться?

В других группах говорили о тифе. Говорили, что весь город в панике. Люди мрут как мухи.

В аптеках продавали какие-то патентованные средства, мази, жидкости и даже ладанки, предохраняющие от заразы.

Советовали туго завязывать концы рукавов вокруг руки, чтобы ничто не могло заползти.

Настроение в городе было унылое.

Да, Новороссийск был тогда очень унылым городом.

Долго болтались мы из дома в дом, справлялись о квартирах. Все было занято, все комнаты и углы битком набиты.

Встретила даму с «Шилки», бывшую фрейлину.

— Мы сравнительно очень недурно устроились, — сказала она. — Нашли комнату, хозяйка положила на пол несколько матрацев. В общем, нас там будет одиннадцать человек, причем двое совсем маленьких детей, так что их, собственно говоря, и считать нечего в смысле жилищной площади. Конечно, они, вероятно, будут плакать, эти дети, но все-таки, в общем, это не хуже, чем на «Шилке», и вдобавок нам не угрожает качка.

Дама боялась качки больше всего на свете. Но «Шилку» упрекнуть было нельзя: нас покачало только один раз, и то немножко, несмотря на то что я была в числе пассажиров. Дело в том, что до сих пор какая бы тихая погода ни была, достаточно было мне поставить ногу на пароход, чтобы началась качка.

И в каких только морях меня не качало! На Балтийском, на Каспийском, на Азовском, на Черном, на Белом, на Средиземном, на Мраморном, на Адриатическом… Да что говорить о морях! Даже на получасовом переходе из Сан-Женгольфа в Монтрё по Женевскому озеру поднялась такая качка, что все пассажиры заболели.

Это свойство мое вызывать бурю лично меня не особенно огорчает. Я люблю грозу на море и сильно от нее не страдаю. Но в средние века, пожалуй, за эту мою особенность меня очень серьезно сожгли бы на костре.

Помню, как-то раз пострадал не поверивший в мою силу орловский помещик.

Нужно было мне проехать из Севастополя в Ялту, и этот самый орловский помещик галантно вызвался меня проводить, чтобы позаботиться обо мне во время пути. Я его сердечно поблагодарила, но сочла долгом предупредить:

— Будет качка.

Помещик не поверил: море как зеркало, на небе ни облачка.

— Увидите! — мрачно сказала я, но он только пожал плечами. Погода дивная, да и к тому же он всегда геройски переносит качку. Со мной, конечно, придется повозиться, а за себя-то уж он отвечает.

— Ну что же, тем лучше.

Сели на пароход.

Все пассажиры радовались дивной погоде, но капитан неожиданно сказал:

— Идемте-ка скорее завтракать. Вот как обогнем маяк, пожалуй, нас слегка покачает.

Я выразительно посмотрела на помещика.

— Ну что ж, — сказал он. — За себя лично я не боюсь. А за вами я понаблюдаю.

За завтраком мой помещик совсем разошелся: давал всем советы, как нужно сидеть, и как нужно лежать, и о чем нужно думать, и как сосать лимон, и жевать корку с солью, и упираться затылком, и стараться выгнуть спину, и чего-чего только не было.

Я даже удивилась, что такой сухопутный человек вдруг в таких морских делах, оказывается, совсем свой человек.

Пассажиры слушали его с интересом и уважением. Спрашивали советов. Он охотно отвечал, толково и подробно. Я, конечно, хотя и удивлялась, но слушала тоже очень внимательно. Уж кому-кому, а мне указаниями этого опытного человека пренебрегать не следовало.

Так как больше всего он подчеркивал, что при легкой качке следует держаться на палубе, то я сразу после завтрака и поднялась туда. Помещик последовал за мной.

Капитан оказался прав: мы обошли маяк, и сразу пароход наш пошел верблюжьей походкой, ныряя носом и поднимая по очереди то правый, то левый борт.

Я весело разговаривала, держась за перила. Смотрела на горизонт, где в сизых облаках поблескивала, еще далекая, молния, дышала влажным соленым ветром.

Но вот — два-три моих вопроса остались без ответа. Обернулась — пусто. Мой помещик скрылся. Что бы это значило? Немногие пассажиры, поднявшиеся со мной после завтрака, ушли тоже. И тут я почувствовала, что у меня сильно кружится голова.

Надо лечь.

Идти оказалось довольно трудно, и я кое-как спустилась по лестнице, держась двумя руками за перила. Внизу в общей дамской каюте все места уже были заняты. Все пассажирки лежали.

Я разыскала пустой уголок и кое-как примостилась, положив голову на чей-то чемодан.

Но куда же исчез мой помещик? Ведь выехал специально, чтобы позаботиться обо мне в дороге. Вот бы теперь сбегал бы за лимоном или хоть достал бы подушку.

Лежу, удивляюсь, вспоминаю его советы и наставления.

В эту большую каюту выходило шесть дверей из отдельных дамских каюток. Все эти каютки были заняты, и я решила, что

останусь там, где я была, и постараюсь заснуть.

И вдруг дверь распахивается — и влетает мой помещик. Без шляпы, вид дикий, глаза блуждают…

— Вы меня ищете? — крикнула я. — Я здесь!..

Но он не слышал. Он рванул дверь одной из каюток и всунул туда голову. Раздался дикий визг, какой-то козлиный рев, и дверь захлопнулась снова.

«Это он меня ищет!» — подумала я и закивала ему головой.

Но он не видел меня. Он кинулся ко второй каютке, опять рванул дверь и всунул голову. И снова козлиный рев и дикий визг. Я даже разобрала визжащие слова:

— Что за безобразие!..

И опять он выскочил, и дверь захлопнулась.

«Он думает, что я в одной из этих кают…»

— Николай Петрович! Я здесь!

Но он уже подскочил к третьей каютке и, всунув в нее голову, вопил козлиным ревом что-то непонятное, и женские голоса визжали про «безобразие».

«Что с ним, — думала я, — чего он блеет, как козел? Мог бы постучать и спросить…»

Но тут он сунул голову в четвертую каютку, которая была поближе ко мне, и отскочил, отшвырнутый чьими-то руками, остановился растерянный и страшный и завопил:

— Да где же это, наконец, черт возьми? — кинулся к пятой двери.

Тут я все поняла и, спрятав лицо в шарф, сделала вид, что я сплю.

Мои соседки стали волноваться и возмущаться:

— Безобразие! Открывать двери в дамские каюты и так…

— Этот господин, кажется, с вами едет? — спросила меня одна из пассажирок.

— Ничего подобного, — удивленно и обиженно ответила я. — Вижу его в первый раз.

Она, кажется, мне не поверила, но поняла, что от такого спутника нельзя не отречься.

Навестив таким образом все шесть кают подряд и сопровождаемый криками возмущения и визгом негодования, он пулей выскочил в коридор.

Когда мы подошли к Ялте, я встретила его около сходней.

— Вот вы где! — неестественно бодро сказал он. — А я вас искал весь день на палубе. На палубе было чудесно! Этот простор, эта мощь, ни с чем не сравнимая! Красота! Стихия! Нет — я прямо слов не нахожу. Я все время в каком-то экстазе простоял на палубе. Конечно, не всякий может. Из всего парохода, по правде

говоря, только я да капитан держались на ногах. Даже помощник капитана, опытный моряк, однако, сдрейфил. Н-да. Все пассажиры в лежку. Очень приятный, свежий переход.

— А я взяла себе отдельную каюту, — сказала я, стараясь не смотреть на него.

— Я так и знал, что с вами будет возня, — пробормотал он, стараясь не смотреть на меня.

25

Какое очарование души увидеть среди голых скал, среди вечных снегов у края холодного мертвого глетчера крошечный бархатистый цветок — эдельвейс. Он один живет в этом царстве ледяной смерти. Он говорит: «Не верь этому страшному, что окружает нас с тобой. Смотри — я живу».

Какое очарование души, когда на незнакомой улице чужого города к вам, бесприютной и усталой, подойдет неизвестная вам дама и скажет уютным киево-одесским (а может быть, и харьковским) говорком:

— Здравствуйте! Ну! Что вы скажете за мое платье?

Вот так бродила я по чужому мне Новороссийску, искала пристанища и не находила, и вдруг подошла ко мне неизвестная дама и сказала вечно женственно:

— Ну, что вы скажете за мое платье?

Видя явное мое недоумение, прибавила:

— Я вас видела в Киеве. Я Серафима Семеновна.

Тогда я успокоилась и посмотрела на платье. Оно было из какой-то удивительно скверной кисеи.

— Отличное платье, — сказала я. — Очень мило.

— А знаете, что это за материя? Или вы воображаете, что здесь вообще можно достать какую-нибудь материю? Здесь даже ситца ни за какие деньги не найдете. Так вот, эта материя — аптечная марля, которая продавалась для перевязок.

Я не очень удивилась. Мы в Петербурге уже шили белье из чертежной кальки. Как-то ее отмачивали, и получалось что-то вроде батиста.

— Конечно, она, может быть, не очень прочная, — продолжала дама, — немного задергивается, но недорогая и широкая. Теперь уже такой не найдете — всю расхватали. Осталась только йодоформенная, но та хотя и очень красивого цвета, однако плохо пахнет.

Я выразила сочувствие.

— А знаете, моя племянница, — продолжала дама, — купила

в аптеке перевязочных бинтов — очень хорошенькие, с синей каемочкой — и отделала ими вот такое платье. Знаете, нашила такие полоски на подол, и, право, очень мило. И гигиенично — все дезинфицировано.

Милое, вечно женственное! Эдельвейс, живой цветок на ледяной скале глетчера. Ничем тебя не сломить! Помню, в Москве, когда гремели пулеметы и домовые комитеты попросили жильцов центральных улиц спуститься в подвал, вот такой же эдельвейс — Серафима Семеновна — в подполье, под плач и скрежет зубовный — грела щипцы для завивки над жестяночкой, где горела за неимением спирта какая-то смрадная жидкость против паразитов.

Такой же эдельвейс бежал под пулеметным огнем в Киеве купить кружево на блузку. И такой же сидел в одесской парикмахерской, когда толпа в панике осаждала пароходы.

Помню мудрые слова:

— Ну да, все бегут. Так ведь все равно, не побежите же вы непричесанная, без ондюлясьона?!

Мне кажется, что во время гибели Помпеи кое-какие помпейские эдельвейсы успели наскоро сделать себе педикюр…

Умиротворенная этими мыслями, я спросила у неизвестной мне Серафимы Семеновны насчет комнаты.

— Есть одна, недурная, только там вам будет неуютно.

— Пустяки. Что уж тут может быть неуютного. Где уж тут выбирать и разбирать!

— Все-таки я вам советую немножко обождать. Там двое тифозных. Если умрут, так, может быть, сделают дезинфекцию… Немножко подождите.

Вспомнила свои поиски в Одессе. Здесь тиф, там была свирепая испанка. Кто-то снабдил меня в Киеве письмом к одному одесскому инженеру, который обещал предоставить мне комнату в своей квартире. Тотчас по приезде пошла по указанному адресу. Звонила долго. Наконец дверь чуть-чуть приоткрылась и кто-то шепотом спросил, что мне нужно. Я протянула письмо и сказала, в чем дело. Тогда дверь приоткрылась пошире и я увидела несчастное, изнуренное лицо пожилого человека. Это был тот самый инженер.

— Я не могу вас впустить в свою квартиру, — все так же шепотом сказал он. — Место у меня есть, но поймите: пять дней тому назад я похоронил жену и двоих сыновей. Сейчас умирает мой третий сын. Последний. Я совсем один в квартире. Я даже руку не смею вам протянуть — может быть, я уже заражен тоже. Нет, в этот дом входить нельзя.

Да. Там была испанка, здесь сыпной тиф.

Серафима Семеновна с большим аппетитом рассказывала ужасы.

— Одна барышня пошла в церковь, на похороны своего знакомого. А там ее спрашивают: «Отчего, мол, у вас такой глубокий траур?» Она говорит: «Вовсе не траур, а просто черное платье». А ей показывают: «Почему же у вас на юбке серая полоса нашита?» Взглянула — а это всё паразиты. Ну, она, натурально, хлоп в обморок. Начали ее приводить в чувство, а она уже вся в тифу.

Под эти бодрящие рассказы пошла я разыскивать «Шилку», которую перевели к другому молу, далекому и пустому. Там торчала она, тихая, голая, высоко вылезая из воды, и спущенные длинные сходни стояли почти вертикально.

Посмотрела — решила, что все равно не влезу. И сходни-то были без зарубок — прямо две узкие доски. Сделала несколько шагов — ноги скользят обратно, а подо мной отвесный срыв высокого мола, а внизу глубоко вода.

Совсем загрустила. Села на чугунную тумбу и стала стараться думать о чем-нибудь приятном.

Все-таки, что ни говори, я очень недурно устроилась. Погода хорошая, вид чудесный, никто меня не колотит и вон не гонит. Сижу на удобной тумбе, как барыня, а надоест сидеть, могу встать и постоять либо походить. Что захочу, то и сделаю, и никто не смеет мне запретить.

Вон сверху, с парохода, кто-то перевесился, кто-то стриженый, и смотрит на меня.

— Отчего же вы не подымаетесь? — кричит стриженый.

— А как же я подымусь? — кричу я.

— А по доске.

— А я боюсь.

— Да ну!

Стриженый отошел от края и через минуту бойко бочком побежал по доске вниз.

Это пароходный офицер из машинного отделения.

— Боитесь? Держите меня за руку.

Вдвоем идти оказалось еще страшнее. Доски гнутся неровно. Ступишь левой ногой — правая доска подымается чуть не до колена. Ступишь правой — левая доска подпрыгнет.

— Завтра обещают протянуть рядом веревку, чтобы было за что держаться, — утешает меня офицер.

— Так не ждать же мне до завтра. Раздобудьте мне палку, я с палкой пойду.

Офицер послушно побежал вдоль мола к берегу, притащил большую палку.

— Ладно, — сказала я. — Теперь сядьте на эту тумбу и пойте что-нибудь цирковое.

— Циркового не знаю. Можно танго «Аргентина»?

— Попробуем.

— «В далекой знойной Аргенти-и-не!..» — запел офицер. — Что же теперь будет?

— Ради Бога, не останавливайтесь! Пойте и как следует отбивайте такт!

Я ухватила палку двумя руками и, держа ее поперек, шагнула на доски.

— «Где не-бе-са так знойно си-и-ни…» — выводил офицер.

Господи! Какой фальшивый голос! Только бы не рассмеяться…

Итак: вниз не смотреть. Смотреть вперед на доски, идти по одной доске, подпевать мотив.

— «Где женщины, как на карти-ине…»

Ура! Дошла до борта. Теперь только поднять ногу, перешагнуть и…

И вдруг ноги поехали вниз. Я выронила палку, закрыла глаза… Кто-то крепко схватил меня за плечи. Это сверху, с парохода. Я нагнулась, уцепилась за борт и влезла.

Маленький капитан, узнав, что я еще не нашла комнаты, предложил бросить всякие поиски и остаться гостьей на пароходе. В мое распоряжение отдавалась маленькая каютка за очень дешевую плату, могла столоваться с командой «из общего котла» и ждать вместе с командой, как выяснится дальнейшая судьба «Шилки». Если удастся двинуть ее во Владивосток, то отвезут туда и меня.

Я была очень довольна и от души поблагодарила милого капитана.

И началась унылая и странная жизнь на пароходе, прижатом к берегу, к пустому длинному белому молу.

Никто не знал, когда и куда тронемся.

Капитан сидел в своей каюте с женой и ребенком. Помощник капитана шил башмаки своей жене и свояченице, очаровательной молоденькой кудрявой Наде, которая бегала по трапам в кисейном платьице и балетных туфлях, смущая покой корабельной молодежи.

Мичман Ш. бренчал на гитаре.

Инженер О. вечно что-то налаживал в машинном отделении…

Вывезший меня из Одессы В. тоже временно остался на «Шилке». Он целые дни бродил по городу, искал кого-нибудь из друзей и возвращался с копченой колбасой, ел, вздыхал и

говорил, что боится голодной смерти.

Китаец-повар готовил нам обед. Китаец-прачка стирал белье. Слуга Акын убирал мою каюту.

Тихо закатывалось солнце, отмечая красными зорями тусклые дни, шлепали волны о борт, шуршали канаты, гремели цепи. Белели далекие горы, закрывшие от нас мир.

Тоска.

26

Начался норд-ост.

Я еще в Одессе слышала о нем легенды.

Приехал туда как-то из Новороссийска один из сотрудников «Русского слова», весь забинтованный, завязанный и облепленный пластырем. Оказывается, что попал он в норд-ост, шел по улице, ветром его повалило и катало по мостовой, пока ему не удалось ухватиться за фонарный столб.

Рассказывали еще, как все пароходы сорвало с якорей и унесло в море и удержался в бухте только какой-то хитрый американец, который развел пары и полным ходом пошел против ветра прямо на берег. Таким образом ему удалось удержаться на месте.

Я особой веры всем этим рассказам не придавала, но все-таки с большим интересом ждала норд-оста.

Говорили, что считать он умеет только тройками. Поэтому дует или три дня, или шесть, или девять и т. д.

И вот мое желание исполнилось.

Завизжала, заскрипела, застонала наша «Шилка» всеми болтами, цепями, канатами. Застучала железом, засвистела снастью.

Я пошла в город в тайной надежде, что меня тоже повалит и покатит по улице, как сотрудника «Русского слова».

Благополучно добралась до базара. Стала покупать какую-то ерунду, и вдруг серой тучей взвилась пыль, полетели щепки, хлопнула парусина над ларьками, что-то с грохотом повалилось и что-то пенистое розовое закрыло от меня мир.

Я отчаянно замахала руками. Мир открылся, а розовое, оказавшееся моей собственной юбкой, вздувшейся выше моей собственной головы, обвилось вокруг ног.

Очень смущенная, я оглядываюсь кругом. Но все терли глаза, жмурились, закрывали лица локтями, и, по-видимому, никто не обратил внимания на мое первое знакомство с норд-остом. Только какая-то баба, торговавшая бубликами, помирала со

смеху, глядя на меня…

Норд-ост дул двенадцать дней. Выл в снастях всеми воплями мира. Тоскливыми, злобными, скорбными, свирепыми. Сдул народ с улиц, торговцев с базара, моряков с палубы. Ни одной лодки на рейде, ни одной телеги на берегу.

Гуляют столбы желтой пыли, крутят сор и щепки, катают щебень по дороге.

К нашей «Шилке» прибило раздувшийся труп коровы.

Говорят, ветер часто валит скот в море.

Юнги отталкивали корову баграми, но ее снова прибивало к нам, и страшный раздувшийся пузырь долго колыхался, то отплывая, то снова вздымаясь у самого борта.

Уныло бродили обитатели «Шилки».

Выйдешь на палубу — слева, в пыли и щепках, затихший город, замученный тревогой, страхом и сыпным тифом. Справа — убегающее море, волны, спешно и бестолково подталкивающие друг друга, наползающие друг на друга и падающие, раздавленные новыми волнами, плюющими на них яростной пеной.

Суетливо шныряющие чайки тоскливо и горько бросали друг другу какие-то последние слова, обрывистые, безнадежные.

Серое небо.

Тоска.

Ночью грохот и стук на палубе не давали спать. Выйдешь наверх из душной каюты — ветер закрутит, подхватит, захлопнет за тобой дверь и потянет на черную сторону, туда, где со свистом и воем гонит ветер испуганную толпу волн, прочь, прочь, прочь…

Прочь от тоскливых берегов. Но куда?

Скоро и нас, может быть, так вот погонит озверелая стихия, но куда? На какие просторы?

Идешь опять в каюту.

Слушаешь, лежа на твердой деревянной койке, как где-то уныло тренькает мичман на своей расстроенной гитаре да кашляет надрывно старый китаец — корабельный кок, который когда-то «так рассердился, что оборвал себе сердце».

Брожу по городу в надежде что-нибудь узнать. Нашла какую-то бывшую редакцию бывшей новороссийской газеты. Но там никто ничего не знал. Вернее, все знали очень много, каждый совершенно противоположное тому, что знал другой.

В одном сходились все: Одесса в руках большевиков.

Встретила на улице знаменитого «матроса» Баткина[82]. Здесь, в Новороссийске, он оказался щеголеватым студентом, гулял, окруженный толпой гордящихся им барышень,

рассказывал, будто его расстреливали и спасся он только силою своего красноречия. Впрочем, все это рассказывал он как-то не особенно уверенно и ярко и не очень настаивал на том, чтобы ему верили. В рассказе о расстреле было хорошо только то, что он умирал с именем любимой женщины на устах. При этой детали хор барышень опускал глаза.

Я смотрела на этого приглаженного, принаряженного студента и вспоминала того пламенного матроса, который выходил на сцену Мариинского театра и на фоне развернутого андреевского флага бурно призывал к борьбе до конца. А в большой царской ложе слушали и аплодировали ему сотрудники «Вечерней биржевки»[83]…

Вихревой норд-ост сдул этого возникшего из огня Феникса. Пыль и щепки… Впоследствии он, говорят, предложил свои услуги большевикам. Не знаю…

Пыль и щепки…

Но те вечера на фоне андреевского флага не забуду.

Брожу по городу.

Стали встречаться новые группы беженцев. Попадались знакомые.

Поразило и запомнилось новое выражение лиц, встречавшихся все чаще и чаще: странно бегающие глаза. Смущенно, растерянно и мгновениями — нагло. Как будто несколько секунд жизни не хватило им, чтобы в этой наглости спокойно утвердиться.

Потом я поняла: это были те, неуверенные (как бедный А. Кугель) в том, где правда и где сила.

Ждали у моря погоды. Заводили связи здесь, не теряли связей там.

Неожиданно встретила того самого сановника, который говорил в Киеве, что до тех пор не успокоится, пока не зарежет семерых большевиков на могиле своего расстрелянного брата: «Чтобы кровь, кровь просочилась, дошла до его замученного тела!»

У него вид был также не особенно боевой. Голову втянул в плечи и оглядывался по-волчьи, поворачиваясь всем телом, сторожко кося хитрым глазом.

Разговаривал со мной как-то натянуто, о семи большевиках не упоминал и вообще пафоса не обнаруживал. Вся повадка была такая, будто пробирается он по жердочке через топкое место.

— А где же ваша семья? — спросила я.

— Семья пока в Киеве. Ну да скоро увидимся.

— Скоро? А как же вы туда проберетесь?

Он почему-то оглянулся, по-новому, по-волчьи.

— Скоро, наверное, будут всякие возможности. Ну да пока нечего об этом толковать.

Возможности для него явились скоро. Он и сейчас с успехом и почетом работает в Москве…

Все воспоминания этих моих первых новороссийских дней так и остались задернутыми серой пылью, закрученными душным вихрем вместе с мусором, со щепками, с обрывками, с ошметками, сдувавшими людей направо, налево, за горы и в море, в стихийной жестокости, бездушной и бессмысленной. Он, этот вихрь, определял нашу судьбу.

27

Да, вихрь определял нашу судьбу. Отбрасывал вправо и влево.

Четырнадцатилетний мальчик, сын расстрелянного моряка, пробрался на север, разыскивая родных. Никого не нашел. Через несколько лет он был уже в рядах коммунистов. А семья, которую он разыскивал, оказалась за границей. И говорит о мальчике с горечью и стыдом…

Актер, певший большевистские частушки и куплеты, случайно застрял в городе после ухода большевиков, переделал свои частушки на антибольшевистские и навсегда остался белым…

Очень мучились крупные артисты, оставшиеся на юге вдали от родных и театров. Совершенно растерянные, кружились они в белом вихре. Потом, сорвавшись, неслись безудержной птичьей тягой через реки и пожары в родной скворечник.

Появились деловитые господинчики, сновавшие им одним ведомыми путями из Москвы на юг и обратно. Что-то провозили, что-то привозили… Иногда любезно предлагали доставить что-нибудь из оставленных в Петербурге или Москве вещей, отвезти деньги родственникам.

Странные были эти господинчики. Ведь не для того же они ездили, чтобы оказывать нам услуги. Зачем они сновали туда и обратно, кому, в сущности, служили, кого продавали? Никто этим серьезно не интересовался. Говорили просто:

— Вот такой-то едет в Москву. Он как-то умеет пробираться.

А почему он умеет и зачем ему это умение так нужно, об этом никто не задумывался.

Иногда кто-нибудь вскользь обронит:

— Наверное, шпион.

Но так добродушно и просто, словно сказал:

— Наверное, адвокат.

Или:

— Наверное, портной.

Профессия, мол, как всякая другая.

А они шныряли, покупали и продавали.

Население Новороссийска менялось. Исчезли таборы, что так живописно оживляли набережную.

Схлынул первый поток беженцев.

Белая армия продвигалась вперед, и в освобожденные города вливался поток своевременно сбежавших из них обывателей.

Все лихорадочно следили за успехами Деникина.

В этой лихорадке были порой и трагикомедии.

Один харьковец, которого я часто встречала на улице под ручку с молоденькой актрисой, разводил руками и растерянно говорил:

— Чего же они так скоро продвигаются! Ну хоть отдохнули бы немножко. Разве вы не находите, что надо дать солдатикам отдышаться? Конечно, они герои, но передышка и герою не вредна.

И безнадежно прибавлял:

— Ведь эдак, пожалуй, скоро и по домам пора.

У него в Харькове была жена.

Но самое комичное в этой трагедии было то (и я это знала наверное), что жена его была в таком же мрачном восторге от быстрых шагов деникинской армии.

— Воображаю, — говорю я харьковцу, — как ваша бедненькая жена будет рада!

И думаю: «Бедненькая! Небось после каждой новой вести о белых успехах бродит по дому, рвет письма, вытряхивает из пепельниц подозрительные окурки и пишет дрожащей рукой записочку: “Белые приближаются. На всякий случай завтра не приходите”».

— Да, воображаю, как ваша бедная жена волнуется…

Не знаю, что именно он думает, но говорит:

— Н-да. Воображаю! Вы ведь ее знаете — божью коровку. Мне иногда даже хочется, чтобы она меня любила поменьше. Такая само-отреченная любовь — это ведь всегда страдание. Я, конечно, и верен, и предан, вы сами знаете…

— Да, да, конечно…

— В наше время это даже редкость — такое супружество. Верны друг другу прямо как какие-нибудь Бобчинский и

Добчинский.

Не знаю, как они потом встретились. Благополучно ли замел следы Бобчинский и удачно ли вывернулся Добчинский.

Неожиданно приехали ко мне на «Шилку» деловые гости — две актрисы, посланные от екатеринодарского антрепренера Б-е. Мне предлагалось устроить в Екатеринодаре два вечера моих пьес. Актеры разыграют пьесы — труппа хорошая, — я что-нибудь прочту. Условия недурные. Я согласилась.

Актрисы передали мне письмо от Оленушки. Она писала из Екатеринодара, что ее муж умер от сыпного тифа и что она собирается меня навестить.

Бедная Оленушка! Как странно будет видеть ее в трауре, вдовой!

Но вот пришла ее телеграмма: «Приеду завтра».

На «Шилке» как раз грузили уголь. Большая, уже почти пустая угольная баржа стояла рядом.

Сижу на палубе, смотрю на сходни, жду.

Вдруг наши юнги чему-то засмеялись, закричали:

— Браво! Браво!

Оглянулась. Идет какая-то барышня прямо по узенькому борту вдоль зияющей черной бездной пустой баржи. Идет, балансируя дорожным несессерчиком да еще подпрыгивая.

— Оленушка!

Я себе представляла ее в длинной черной вуали, с носовым платком в руке. А эта — розовая мордочка, с какой-то клетчатой кепкой на затылке.

— Оленушка! Я думала, что вы в трауре…

— Нет, — отвечала она, чмокая меня в щеку. — Мы с Вовой дали друг другу клятву, что если один умрет, так другой не должен горевать, а наоборот, ходить в кинематограф и всячески стараться отвлечься от печали. Мы так поклялись.

Рассказала мне сложную историю своего брака.

Когда она приехала в Ростов, Вова ее ждал, приготовил ей комнату рядом со своей, но никому в гостинице они не сказали, что знают друг друга. Потихоньку повенчались, опять-таки делая перед всеми вид, что совершенно незнакомы.

— Зачем же вам это было нужно?

— Я боялась, что Дима в Киеве узнает, что я вышла замуж, и застрелится. Или просто будет очень страдать, — смущенно отвечала Оленушка. — Я не могу, когда люди страдают…

Горничная в гостинице очень удивлялась, видя на Оленушкином столике портрет Вовы.

— Ну до чего, барышня, этот ваш братец похож на того офицера, что у нас живет!

— Неужели похож? — удивлялась Оленушка. — Надо будет как-нибудь посмотреть.

Жили мирно, бедно и весело.

Вова по делам службы часто уезжал. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был уже в чине капитана, и ему давали ответственные поручения. На дорогу Оленушка благословляла его маленькой, шитой жемчугом иконкой Божьей Матери и давала, «чтоб он не чувствовал себя одиноким», плюшевую собачку.

Раз вернулся Вова из командировки очень усталый и печальный.

— Ко мне на вокзале, — рассказывал он, — подошла большая лохматая собака и все просила глазами, чтобы я ее погладил. Такая она была жалкая и грязная. И я все почему-то думал: «Вот пожалею, поглажу ее и заболею тифом». А она все смотрела на меня и все просила приласкать. Теперь, наверное, умру.

Тихий стал. И начало казаться ему, что каждый раз, как он входил в комнату, какой-то странный, прозрачный, словно желатиновый человек стоит у стены. Нагнется и исчезнет.

Потом вызвали Вову снова в Екатеринодар. Он уехал и пропал. Давно прошел намеченный срок возвращения. А об Екатеринодаре ходили страшные слухи: падал народ на улице, молниеносно пораженный сыпным тифом. Умирали, не приходя в сознание.

Взяла Оленушка двухдневный отпуск в своем «Ренессансе» (кажется, так звали театрик, где она играла) и поехала разыскивать мужа. Обошла все большие гостиницы и госпитали — не нашла и следов никаких.

Вернулась домой.

И тут кто-то довел до ее сведения, что муж ее действительно болен и лежит в госпитале в Екатеринодаре.

Выпросила Оленушка снова отпуск и нашла госпиталь. Там сказали, что мужа ее подобрали на улице в бессознательном состоянии, что он долго мучился, тиф у него был в самой жестокой форме и умер он, не придя ни разу в сознание, и уже похоронен. В бреду повторял только два слова: «Оленушка, ренессанс». Кто-то из соседей по койке выразил предположение, что, пожалуй, это он говорит о ростовском театре и просит, чтобы дали туда знать.

— Бедный мальчик, — сказал Оленушке врач, — всеми силами души звал вас все время, и никто не понимал его…

Вдове передали «имущество покойного» — плюшевую собачку и маленькую, шитую жемчугом иконку Божьей Матери.

И в тот же день должна была Оленушка вернуться в Ростов и в тот же вечер должна была играть какую-то белиберду в театрике

стиля «Летучей мыши».

Такова была коротенькая история Оленушкиного брака.

Как поется в польской детской песенке:

Влез котик
На плотик
И поморгал.
Хороша песенка
И не долга…

28

Приближался срок, назначенный для моих вечеров в Екатеринодаре. Ничем не могу объяснить то невыносимое отвращение, которое я питаю ко всяким своим публичным выступлениям. Сама не понимаю, в чем тут дело. Может быть, только психоаналитик Фрейд сумел бы выяснить причину.

Я не могу пожаловаться на дурное отношение публики. Меня всегда принимали не по заслугам приветливо, когда мне приходилось читать на благотворительных вечерах. Встречали радостно, провожали с почетом, аплодировали и благодарили. Чего еще нужно? Казалось бы — будь доволен и счастлив.

Так нет!

Просыпаешься ночью как от толчка.

«Господи! Что такое ужасное готовится?.. Какая-то невыносимая гадость… Ах, да! — нужно читать в пользу дантистов!»

И чего-чего только ни придумывала, чтобы как-нибудь от этого ужаса избавиться!

Звонок по телефону (обыкновенно начиналось так):

— Когда разрешите заехать к вам по очень важному делу? Я вас не задержу…

Ага! Начинается.

— Может быть, вы будете любезны, — говорю я в трубку и сама удивляюсь, какой у меня стал блеклый голос, — может быть, вы можете сказать мне сейчас, в чем приблизительно дело…

Но, увы, обыкновенно редко на это соглашаются. Дамы-патронессы почему-то твердо верят в неодолимую силу своего личного обаяния.

— По телефону трудно! — певуче говорит она. — Разрешите всего пять минут, я вас не оторву надолго.

Тогда я решаюсь сразу сорвать с нее маску.

— Может быть, это что-нибудь насчет концерта?

Тут уж ей податься некуда, и я беру ее голыми руками.

— Когда ваш концерт намечается?

И конечно, какой бы срок она ни назначила, он всегда окажется для меня «к сожалению, немыслимым».

Но бывает так, что срок назначается очень отдаленный — через месяц, через полтора. И мне, по легкомыслию, начинает казаться, что к тому времени вся наша планетная система так круто изменится, что и волноваться сейчас не о чем. Да, наконец, и патронесса к тому времени забудет, что я согласилась, или вечер отложат. Все может случиться.

— С удовольствием, — отвечаю я. — Такая чудесная цель. Можете на меня рассчитывать.

И вот в одно прекрасное утро разверну газету и увижу свое имя, отчетливо напечатанное среди имен писателей и артистов, которые через два дня выступят в зале Дворянского или Благородного собрания в пользу, скажем, учеников, выгнанных из гимназии Гуревича[84].

Ну что тут сделаешь? Заболеть? Привить себе чуму? Вскрыть вены?

А раз был со мной совсем уж жуткий случай. Вспоминаю о нем, как о страшном сне. Бывают такие сны. От многих доводилось слышать.

— Снилось мне, будто должен я петь в Мариинском театре, — рассказывал мне старичок профессор химии. — Выхожу на сцену и вдруг соображаю, что петь-то я абсолютно не умею и вдобавок вылез в ночной рубашке. А публика смотрит, оркестр играет увертюру, а в царской ложе государь сидит. Ведь приснится же эдакое…

Так вот случай, о котором я хочу рассказать, был такой же категории. Кошмарный и смешной. Пока спишь, пока в нем живешь — кошмар. Когда выйдешь из него — смешной.

Приехал как-то какой-то молодой человек просить, чтобы я участвовала в диспуте о кинематографе. О «великом немом».

Тогда эта тема была в большой моде.

Участвовать обещали Леонид Андреев[85], Арабажин[86], критик Волынский[87], Мейерхольд и еще не помню кто, но что-то много и звонко.

Я, конечно, сразу пришла в ужас.

Еще прочесть кое-как с эстрады по книжке свой собственный рассказ — это куда ни шло, в конце концов, не так уж трудно. Но говорить я совсем не умею. Никогда не говорила и начинать не хочу.

Молодой человек стал меня уговаривать. Можно, мол, если я совсем уж не умею говорить, написать на листочке и прочесть.

— Да я ничего не знаю о кинематографе и ровно ничего о нем не думаю.

— А вы подумайте!

— Никак не могу подумать — все равно не выйдет.

В то время как раз ужасно много по этому вопросу писалось, но я все это пропустила и действительно совершенно не знала, на кого опереться, на что сослаться и против кого высказаться.

Но тут молодой человек сказал чудесное успокоительное слово:

— Диспут-то ведь будет через полтора месяца. За это время вы, конечно, отлично ознакомитесь с вопросом, а потом по записочке и прочтете.

Действительно — все выходило так уютно и просто, и главное — через полтора месяца.

Ну конечно, я согласилась, и молодой человек ушел окрыленный.

Время шло. Никто меня не беспокоил, никто ничего не напоминал, и я ни о чем не вспоминала. И вот настал как-то скучный, пустой вечер, когда видеть никого не захотелось и ехать было некуда. И вот от скуки решила я пойти в Литейный театр, отчасти даже по делу. В театре этом шли постоянно мои пьесы, и изредка нужно было проверять, как именно они идут. Дело в том, что актеры так вдохновлялись (народ был все молодой, веселый, талантливый) и так, по актерской терминологии, «накладывали», то есть прибавляли столько отсебятины, что уже на десятом-двенадцатом представлении некоторые места пьесы столь далеко отходили от подлинника, что сам автор с трудом мог догадаться, что это именно его пьесу разыгрывают. А если оставить без присмотра, то на двадцатом или на тридцатом даже с любопытством мог бы спросить, что это за веселая дребедень такая — ничего не поймешь, а что-то между тем как будто знакомое…

Помню как сейчас, как один очень талантливый актер, играя в моей пьесе «Алмазная пыль»[88] и исполняя роль нежно влюбленного художника, вместо слов: «Я, как черный раб, буду ходить за тобой» — отчетливо и ясно говорил:

— Я, как черный рак, буду ходить за тобой.

Я подумала, что либо я ослышалась, либо он оговорился.

Пошла за кулисы.

— Скажите, — говорю, — мне это показалось?

— Нет, нет, это я так придумал.

— Да зачем же? — недоумевала я.

— А так смешнее выходит.

Ну что тут поделаешь!

Но «рак» — это еще пустяки.

Раз, после долгого пропуска зайдя в театр, услышала я и увидела вместо своей пьесы такую развеселую галиматью, что прямо испугалась. Бросилась за кулисы. Там актеры встретили меня радостно и гордо.

— Что! Видели, как мы вашу пьесу разделали? Довольны? Публика-то в каком восторге!

— Это все, конечно, очаровательно, — ответила я. — Но, к сожалению, мне придется вас просить вернуться к моему скромному тексту. Мне неудобно подписывать свое имя под плодом чужого творчества.

Они очень удивились…

Итак, в тот памятный вечер отправилась я в Литейный театр.

Было уже часов десять, и спектакль, очевидно, давно уже начался. У меня вход был свободный, и я прошла в конец зала и разыскала пустое место.

Народу было много, но… что это за пьеса? И почему зал освещен?

Смотрю — на сцене стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидят… Посредине Мейерхольд — его сразу узнала. Арабажин стоит и что-то говорит… Вот Волынский… В конце стола какой-то молодой человек… Мейерхольд, сощурившись, всмотрелся в меня, видимо, узнал, подозвал знаком молодого человека (какая знакомая у него физиономия!) и сказал что-то, указывая на меня… Молодой человек кивнул головой и направился к выходу за кулисы.

Что все это может значить? Верно, просто хочет из любезности предложить пересесть поближе… Но что они тут делают?

Между тем молодой человек вошел в боковую дверь и уверенно пробирался ко мне.

Подошел.

— Вы желаете сейчас говорить или после перерыва? — спросил он.

— Я… я не желаю сейчас… Я не понимаю… — залепетала я в полном недоумении.

— Значит, после перерыва, — деловито сказал молодой человек. — Во всяком случае, мне сказано просить вас подняться на сцену и занять место за столом. Я провожу вас.

— Нет… нет… я сама. Господи! Что же это!

Он удивленно вскинул бровь и ушел.

И тут разобрала я долетавшие со сцены слова:

— «Великий немой»…

— Роль кинематографа…

— Искусство или не искусство…

И что-то забрезжило в моей голове, что-то стало принимать еще неясные, но явно неприятные формы…

Я тихо поднялась и пробралась к выходу. А у выхода увидела огромный плакат: «Диспут о кинематографе».

И среди участвующих отчетливо и ясно свое собственное имя…

Прибежав домой, я велела перепуганной моим страхом горничной закрыть на цепочку дверь и никому не отворять, сняла телефонную трубку, легла в постель и засунула голову под подушку. В столовой был приготовлен ужин, но я боялась туда пойти.

Мне казалось, что там «они» меня легче разыщут…

Как хорошо, что все на свете кончается.

29

Итак, пришлось все-таки ехать в Екатеринодар, где антрепренер местного театра устраивал два вечера моих произведений с моим участием.

Выехала из Новороссийска в сумерки, унылая, усталая. Поезд был переполнен. Целые полчища солдат и офицеров забили все вагоны. Очевидно, ехали на фронт, на север. Но вид у всех был такой замученный, прокопченный, истерзанный, что вряд ли они долго отдыхали. Может быть, их просто перебрасывали с одного фронта на другой. Не знаю.

Меня втиснули в вагон третьего класса, с разбитым окном, без освещения.

На скамейках, на полу — всюду фигуры в бурых шинелях.

Душно. Накурено.

Прежде чем поезд успел двинуться, многие уснули.

Наискось от меня стоял, упершись спиной в стену, высокий тощий офицер.

— Андреев! — окликнули его со скамейки. — Садись, мы потеснимся.

— Не могу, — отвечал офицер. — Мне легче, когда я стою.

И так простоял он всю ночь, откинув назад голову, закатив белки полузакрытых глаз, на лбу у него, под сдвинутым козырьком фуражки, чернело темно-алое круглое пятно. Точно командир «Летучего голландца»[89], прибитый гвоздем к мачте, стоял он так всю ночь, чуть покачиваясь от толчков на

расставленных длинных худых ногах. Говорили мало, кроме одного офицера, сидевшего у разбитого окна. Тот, не переставая, все рассказывал что-то, и я скоро поняла, что говорит он просто сам с собой, что никто его не слушает…

Но вот около меня один спрашивает другого:

— Вы слышали про полковника Х?

Называет фамилию, уже слышанную мною в Новороссийске. Про полковника этого рассказывали, что большевики на его глазах замучили его жену и двоих детей, и он с тех пор, как захватит где большевистский отряд, сейчас же принимается за расправу и каждый раз одинаково: непременно садится на крыльцо, пьет чай и заставляет, чтобы перед ним этих пленников вешали, одного за другим, одного за другим.

А сам все пьет чай.

Вот его имя и назвал кто-то около меня.

— Слышал, — отвечал собеседник. — Он сумасшедший!

— Нет, не сумасшедший. То, что он делает, это для него нормально. Вы поймите, что после всего, что он пережил, вести себя по-обычному было бы очень, очень странно. Ненормально было бы. Каждой душе есть свой предел. Дальше человеческий разум выдерживать не может. И не должен. И полковник Х поступает вполне для себя нормально. Поняли?

Собеседник ничего не ответил. Но кто-то подальше, сидящий по ту сторону прохода, громко сказал:

— Они выкололи глаза мальчику, ребенку десяти лет, вырезали их начисто. Кто не видел такого лица с вырезанными глазами, тот представить себе не может, до чего это страшно. Он жил так два дня — и все время кричал…

— Ну довольно… Не надо…

— А разведчику — слыхали? — связали руки, а рот и нос забили землей. Задохся.

— Нет, полковних Х не сумасшедший. Он в своей жизни, в той, в которой живет, вполне нормальный человек.

В вагоне было темно.

Через разбитое стекло тусклый свет — должно быть, лунный, но самой луны не было видно, — выделял темные силуэты около окна. Те, что были дальше и внизу на полу, колыхались густой мутной тенью, бормотали, вскрикивали. Спали они или бредили наяву?..

И тот голос, который отчетливо и слишком громко, слишком напряженно сказал:

— Я не могу больше. С четырнадцатого года меня мучили, мучили, и вот теперь я… умер. Я умер…

Это был голос неживого, не сознающего себя человека. Так

звучат голоса тех, кого нет, — в граммофоне или на спиритическом сеансе…

Старый, разбитый вагон дребезжал всеми гайками, визжал ржавыми колесами, катил эти полутрупы на муку и смерть.

Стало светать.

Еще страшнее в рассветной мгле забелели лица, закачались головы.

Да, они спали. Они говорили во сне. И тот, кто просыпался, сразу смолкал, просто и деловито расправлял отекшие плечи, одергивал шинель. И не знал, о чем плакала его душа, когда он спал…

Но самый страшный был тот, который стоял впереди всех, стоял во весь рост, распахнув шинель и откинув свою худую мертвую голову с простреленным лбом.

Он стоял лицом к нам, словно командовал и вел за собой. Человек с простреленным лбом, капитан «Летучего голландца», корабля смерти…

Поезд пришел в Екатеринодар рано. Город еще спал.

Яркий солнечный день, пыльные улицы, трескучая извозчичья пролетка сразу перенесли меня в просторное привычное настроение. Минувшая ночь отзвучала, как стон.

«Ничего, — настраивала я себя на веселый лад. — Скоро дадут разрешение «Шилке» идти на восток. Там встретит меня М., преданный и верный друг. Там отдохну немножко душой, а потом видно будет».

Стала думать о предстоящих спектаклях, о репетициях, которые надо будет начать сегодня же.

У Б-е, пригласившего меня антрепренера, ставни были еще закрыты. Очевидно, все спали.

На мой звонок открыла мне Оленушка, служившая в труппе Б-е…

30

Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей. И вид у него был столичный.

На улицах генеральские мундиры, отрывки важных разговоров:

— Я приказал…

— Однако министр…

— Немедленно поставлю на вид.

Дома, отведенные под разные казенные учреждения,

чиновники, пишущие машинки…

Неожиданно получила письмо из Новороссийска с просьбой от оставленной мною «Шилки». Просьба заключалась в том, чтобы я пошла к морскому начальству лично походатайствовать о том, чтобы «Шилке» разрешили идти во Владивосток.

Я терпеть не могу всяких казенных учреждений и формальных отношений. Даже получение невинного заказного письма на почте действует на меня угнетающе. Под «деловым» взглядом чиновника, протягивающего мне книгу для подписи, я мгновенно забываю, какое сегодня число, какой год и как моя фамилия. Число еще спросить можно, год, пошарив глазами, иногда удается заметить на стенном календаре, но если задумаешься над собственной фамилией, чиновник отказывается выдать письмо.

Но делать нечего, хотелось услужить милой «Шилке», да и самой поплыть на восток очень было интересно. Пока что гнала нас судьба по карте вниз. Пусть теперь гонит вбок.

Попросила указать мне учреждение, где сидят морские власти, и пошла.

Направили меня к высокому господину с ярко-рыжей бородой. Кто он был, теперь не помню. Помню только, что он был ярко-рыжий и очень любезный и представлял сильную морскую власть.

Какое сегодня число, он у меня не спросил, имя мое сам знал, так что я пролепетала ему шилкинскую просьбу довольно бодро.

Он подумал и вдруг неожиданно спросил:

— Скажите, почему вам так хочется утонуть? Капитан Рябинин уже просил нас об этом разрешении. Мы отказали. «Шилка» — маленькое суденышко, капитан Рябинин никогда во Владивосток не ходил. Он вас потопит.

Я заступилась за «Шилку». Что же из того, что она мала? Она тем не менее пришла в Черное море именно из Владивостока.

— Мы это и считаем удачной случайностью, которая, наверное, больше не повторится. И сейчас она, наверное, попала бы в тайфун.

Мне неловко было объяснять ему, что для меня лично тайфун и есть самое интересное. Я только сказала, что, по моему мнению, «Шилка» сможет выдержать любой шторм.

Морская власть засмеялась и выразила сомнение:

— Щепки не останется. Он очень храбрый, ваш капитан Рябинин, но мы такого безумия разрешить не можем.

Послала печальную телеграмму и хлопоты прекратила.

Три-четыре дня, необходимых для репетиций и спектаклей,

прожила я у антрепренера Б-е…

Он был очень милый человек, русский француз, сохранивший от забытой родины только обычай самому разрезать за обедом жареную курицу.

Несколько месяцев тому назад он женился на молоденькой актрисочке своей труппы. От хорошей жизни актрисочка растолстела, сцену бросила, ходила пухлая, розовая, сонная, в пышных кисейных оборочках, называла Б-е «папа» и говорила, как кукла:

— Па-па! Детка хочет арбуза! Па-па!

Дом всегда был полон народу: актеры, актрисы, рецензенты. Все оставались к обеду и к завтраку. Было шумно, людно и бестолково.

О политике здесь говорили мало. Свободно встречались и беседовали люди, которые должны были вернуться в Москву и которые могли вернуться, с теми, которые никогда вернуться уже не смогут. Впрочем, ведь никто ничего и не знал. Предоставляя людям активной борьбы знать и решать, здесь, в этой труппе артистической богемы, жили только своими профессиональными интересами и, мне кажется, словно боялись задуматься и оглядеться…

Народу все прибавлялось. Всеми правдами и неправдами проползали с севера все новые группы актеров.

Приехал старый театральный журналист. Прислал телеграмму, что нездоров, и просил приготовить комнату. Сняли номер в гостинице, и две сердобольные актрисы поехали его встречать.

Встретили.

— Все готово, мы даже заказали для вас ванну!

— Ванну? — испуганно спросил журналист. — Разве вы считаете, что мое положение настолько опасно?

Дамы смутились.

— Нет, что вы! Это просто чтобы вы могли вымыться после такой ужасной дороги.

Журналист снисходительно улыбнулся.

— Ну если дело идет только об этом, дорогие мои, то должен вам сказать, что особой потребности не чувствую…

Помню в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кошевского[90] — комического актера и трагического человека, которому всегда казалось, что он смертельно болен. Даже когда с удовольствием накладывал себе на тарелку третью порцию, он сокрушенно приговаривал:

— Да, да, подозрительный аппетит. Верный симптом начинающегося менингита…

У него была интересная жена, о которой какая-то актриса сказала:

— Она из очень интересной семьи. Говорят, Достоевский писал с ее тетки своих «Братьев Карамазовых»…

Настал день моего спектакля. Ставят три мои миниатюры, и, кроме того, артисты будут рассказывать мои рассказы, петь мои песенки и декламировать стихи.

Антрепренер требует, чтобы я непременно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться.

Актрисы наши волнуются, забегают ко мне и все по очереди просят разрешения загримировать меня перед моим выходом.

— Что вы будете читать? — спрашивают меня.

— Еще не выбрала.

— Ах-ах! Как же так можно!

Вечером с писком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти попозже.

Спокойно оделась и вышла.

Тихая была ночь, темная, густозвездная. И странно от нее затихла душа…

Бывают такие настроения. Сразу обрываются в душе все нити, связывающие ее земное с земным. Бесконечно далеко чуть помнятся самые близкие люди, тускнеют и отходят самые значительные события прошлого, меркнет все то огромное и важное, что мы называем жизнью, и чувствует себя человек тем первозданным «ничто», из которого создана Вселенная…

Так было в тот вечер: черная, пустая круглая земля и звездное бескрайнее небо. И я.

Сколько времени так было — не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театре. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечер, что я должна спешить, увидела, что я зашла куда-то далеко, потому что около меня блеснула полоской вода и черные мостки на ней.

— Ради Бога! Как пройти к театру? — крикнула я.

Мне объяснили.

Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась в мою простую обычную жизнь…

В театре за кулисами, куда я пошла, оживление, толкотня.

— Деникин[91] в зале! Театр битком набит.

Вижу сбоку первые ряды. Блестит шитье мундиров, золото и серебро галунов, пышный зал.

Пышный зал хохочет, аплодирует, смех захватывает тех, кто толпится за кулисами.

— Автора! — кричат голоса из публики.

— Где же автор? Где же автор? — суетятся за кулисами.

— Где автор? — машинально повторяю и я. — Где же автор? Ах да, Господи! Да ведь это же моя пьеса!.. Ведь я и есть автор!

Если бы знал мой милый антрепренер Б-е, какое чудище он пригласил! Ведь нормальный автор должен с утра волноваться, нормальный автор должен всем говорить: «Посмотрите, какие у меня холодные руки». А я развела какое-то звездное небытие и, когда публика меня вызывает, с любопытством спрашиваю: «Где автор?»

А ведь гонорар-то придется мне выдавать как путной!

— Идите же! — кидается ко мне режиссер.

Я наскоро устраиваю беспечную улыбку, ловлю протянутые ко мне руки актеров и выхожу кланяться.

Последний мой поклон русской публике на русской земле.

Прощай, мой последний поклон…

31

Лето в Екатеринодаре.

Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбура и прошедших годов туманно всплывают облики…

Профессор Новгородцев, голубые, такие славянские глаза Мякотина, густая шевелюра сентиментального Ф. Волькенштейна, рассеянный и напряженный взгляд мистика Успенского[92]… И еще другие, о которых уже молились как о «рабах Божиих, убиенных»…

Среди петербургских знакомых молодой кавалерийский офицер, князь Я. Веселый, возбужденный, лихорадящий от простреленной руки.

— Солдаты меня обожают, — рассказывал он. — Я с ними обращаться умею. Бью в морду, как в бубен.

Думаю все-таки, что любили его не за это, а за бесшабашную удаль и особое веселое молодечество. Рассказывали, как он в офицерских погонах на плечах с громким свистом проскакал по деревне, занятой большевиками.

— Почему же они в вас не стреляли?

— Очень уж обалдели. Глазам своим не верили: белый офицер и вдруг по деревне едет. Выскочили, глаза выпучили. Ужасно смешно!

О дальнейшей судьбе этого самого князя Я. рассказывают очень удивительную историю. В одном из южных городов он в конце концов попался врагу в лапы. Был судим и приговорен к каторге. Никакой определенной каторги в те времена у

большевиков не было, и посадили князя просто в тюрьму. Но вот понадобился властям для их собственного обихода прокурор, а городок был маленький, люди образованные разбежались либо попрятались, а про князя знали, что он кончил юридический факультет. Подумали и надумали: приказали ему быть прокурором. Приводили под конвоем в суд, где он обвинял и судил, а ночевать отводили снова на каторгу. Многие, говорят, ему завидовали. Не у всех были обеспеченные стол и квартира…

Екатеринодар, Ростов, Кисловодск, Новороссийск…

Екатеринодар — высокочиновный. И во всех учреждениях — живописный берет, и плащ, и кудри Макса Волошина. Он декламирует стихи о России и хлопочет за невинно осужденных.

Ростов — торговый, спекулянтский. В ресторанном саду пьяные, истерические кутежи с самоубийствами…

Новороссийск — пестрый, присевший перед прыжком в Европу. Молодые люди с нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море.

— Novorossisk, les Bains[93].

Кисловодск встречает подходящие поезда идиллической картиной: зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и на фоне алого вечернего неба — тонко вычерченная черная качель с обрывком веревки.

Это — виселица.

Помню, как притянула мою душу эта невиданная картина. Помню, как рано-рано утром вышла я из отеля и пошла за город к этим зеленым холмам, искала злую гору.

Взошла по утоптанной крутой тропинке, поднялась «туда». Она вблизи была не черная, эта качель. Она серая, как всякое старое некрашеное простое дерево.

Я встала в середину под прочную ее перекладину.

Что видели «они» в последнюю свою минуту? Вешают большею частью ранним утром. Значит, вот с этой самой стороны видели они свое последнее солнце. И эту линию гор и холмов.

Пониже, слева, уже начинался утренний базар. Пестрые бабы выкладывали из телег на солому глиняную посуду, и солнце мокро блестело на поливе кувшинов и мисок. И «тогда», наверное, также бывал этот базар. А с другой стороны, подальше, среди холмов, пригнали пастухи гурты баранов. Бараны плотными волнами (как кудри Суламифи)[94] медленно скатываются по зеленому склону, и пастухи в меховых шкурах стоят, опираясь на библейский длинный посох… Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и «тогда».

Дело совершенно будничное и простое. Несколько человек приводили одного. Ставили туда, где стою я. Может быть, один из

пастухов, закрыв глаза щитком-ладонью от солнца, взглянул, что там за люди копошатся на холме…

Здесь была повешена знаменитая анархистка Ге. Красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница Мамонта Дальского[95]. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжеными хвастунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, поза, грим трагического злодея, костюм напрокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Мамонт на сцене Кина[96], в жизни — в Кина, в гения и беспутство. А умер — как подшутила судьба! — от благородного жеста. Стоя на подножке трамвая, посторонился, чтобы уступить место даме. Сорвался и попал под колеса. А несколько месяцев спустя приятельница его, нарядная и веселая Ге, стояла вот здесь, смотрела, прищурив глаза, на свое последнее солнце и докуривала последнюю свою папиросу. Потом отшвырнула окурок и спокойно набросила себе на шею тугую веревочную петлю.

Играло солнце на глянце глиняной посуды внизу на базаре. Копошились у телег пестрые бабы. А дальше по крутым зеленым холмам медленно сползали пастухи, опираясь на посох. И, наверное, что-то тихо звенело вдали, как всегда звенит в горной тишине. И тишина была благословенна…

Как часто упрекают писателя, что конец романа вышел у него скомкан и как бы оборван.

Теперь я уже знаю, что писатель невольно творит по образу и подобию судьбы, рока. Все концы всегда спешны, и сжаты, и оборванны.

Когда умер человек, всем кажется, что он еще очень многое мог сделать.

Когда умерла полоса жизни — кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно.

Жизнь пишет свои произведения по формуле старинных романов. С эпилогом: «Ирина вышла замуж и, говорят, счастлива. Сергей Николаевич нашел забвение в общественной деятельности…»

Все быстро, торопливо, и все не нужно.

Так же быстро, торопливо и неинтересно пробежали последние новороссийские дни перед неожиданным надуманным отъездом.

— Сейчас вернуться в Петербург трудно, поезжайте пока за границу, — посоветовали мне. — К весне вернетесь на родину.

Чудесное слово — весна. Чудесное слово — родина…

Весна — воскресение жизни. Весной вернусь.

Последние часы на набережной у парохода «Великий князь Александр Михайлович».

Суетня, хлопоты и шепот. Этот удивительный шепот, с оглядкой, исподтишка, провожавший все наши приезды и отъезды, пока мы катились вниз по карте, по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано: «Российская империя».

Да, шепчут, оглядываются. Все-то им страшно, все страшно, и не успокоиться, не опомниться до конца дней, аминь.

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым.

И тихо-тихо отходит земля.

Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, в синий широкий свободный простор…

Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза и смотрят, смотрят…

И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями.

Когда это слышала я такой плач? Да, помню. В первый год войны. Ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки, беззубый черный рот открыт, кричит бесслезным плачем — «а-а-а!» А извозчик — верно, смущен, что везет такого седока «безобразного», — понукает, хлещет лошаденку…

Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь? Теперь вези. Страшный, черный, бесслезный плач. Последний. По всей России, по всей России… Вези!..

Дрожит пароход, стелет черный дым.

Глазами, широко, до холода в них раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки[97] и веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля.

МОЯ ЛЕТОПИСЬ

[98]

Много интересных людей прошло через мою жизнь.
Хочу рассказать о них просто как о живых людях,
показать, какими я их видела, когда сплетались
наши пути. Они все уже ушли,
и ветер заметает снегом и пылью их земные следы.
О творчестве каждого из них писали и будут
писать еще и еще, но просто живыми людьми
не многие их покажут. Я хочу рассказать о моих
встречах с ними, об их характерах,
причудах, дружбе и вражде.

Первое посещение редакции

[99]

Мои первые литературные шаги были ужасно жутки. Да я, собственно говоря, никогда быть писательницей и не собиралась, несмотря на то что все в нашей семье с детства писали стихи. Занятие это считалось у нас почему-то ужасно постыдным, и чуть кто поймает брата или сестру с карандашом, тетрадкой и вдохновенным лицом — немедленно начинает кричать:

— Пишет! Пишет!

Пойманный оправдывается, а уличители издеваются над ним и скачут вокруг него на одной ножке:

— Пишет! Пишет!

Вне подозрений был только самый старший брат[100], существо, полное мрачной иронии. Но однажды, когда после летних каникул он уехал в лицей, в комнате его были найдены обрывки бумаг с какими-то поэтическими возгласами и несколько раз повторенной строчкой:

О Мирра, бледная луна!

Увы! И он писал стихи!

Открытие это произвело на нас сильное впечатление, и, как знать, может быть, старшая сестра моя Маша[101], став известной поэтессой, взяла себе псевдоним Мирра Лохвицкая именно благодаря этому впечатлению.

Я мечтала быть художницей. И даже по совету одной очень дельной приготовишки-одноклассницы написала это желание на листочке бумаги, листочек сначала пожевала, а потом выбросила из окна вагона. Приготовишка говорила, что средство это «без осечки».

Когда старшая сестра, окончив институт, стала печатать свои стихотворения, я иногда, по дороге из гимназии, провожала ее в редакцию. Провожала не одна, а с нянюшкой, которая несла мою сумку с книгами.

И там, пока сестра сидела в кабинете редактора (что это был за журнал, не помню, но помню, что редакторами его были П. Гнедич и Всеволод Соловьев[102]), мы с нянюшкой ждали в приемной.

Я садилась от нянюшки подальше, чтобы никто не догадался, что она за мной присматривает, делала вдохновенное лицо и думали, что меня, наверное, и рассыльный, и переписчица, и все просители принимают за писательницу. Вот только стулья в приемной были какие то нескладно-высокие, и ноги у меня до полу не хватали. Но этот не достаток, как и короткое платье с гимназическим передником вполне выкупался и покрывался с лихвою вдохновенным выражением лиц»

В тринадцать лет у меня был уже литературный стаж: стихи на приезд государыни и стихи по случаю юбилея гимназии.[103] В этих поспел них, написанных стилем пышной оды, была строфа, из-за котором много пришлось пострадать:

> И пусть грядущим поколеньям,
> Как нам, сияет правды свет
> Здесь, в этом храме просвещенья,
> Еще на много, много лет!

Этим «храмом просвещенья» сестра донимала меня целый год. Притворюсь, что болит голова, не пойду в гимназию, и начинается;

— Надя, Надя! Что же ты не идешь в храм просвещенья? Как же ты допускаешь, что там без тебя сияет правды свет?

И вот, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, написала

я забавную «Песенку Маргариты»[104], конечно, никому ее не показала и решила потихоньку отнести в «Осколки».

В «Осколках» редактором был Лейкин[105], тогда уже старый, хворый. Вскоре он и умер.

Пошла в редакцию. Очень было страшно. Страшнее всего на лестнице, когда я протянула руку к звонку. Дверь была маленькая и грязная. Пахло пирогом с капустой, которого я терпеть не могу. Позвонила и тут же подумала: «Бежать!»

Но за дверью что-то заскреблось. Сняли цепочку. В щелку посмотрели — сначала один глаз, потом другой… и дверь открылась.

— Вам кого?

Пожилая, очень худая дама в оренбургском платке крест-накрест.

— Я к… мне к… к Лек…

— Их еще нет, — сказала дама. — Войдите, присядьте, обождите, Они скоро будут.

Посадила меня в крошечную комнатку и ушла. Из крошечной комнатки видна была другая, тоже небольшая, край письменного стола и над ним какое-то птичье чучело.

Над столом висело птичье чучело,
На редактора смотрело, глаза пучило…

Ждала долго. Изредка входила худая дама и, поглаживая костлявыми руками свой платок на груди, шептала мне:

— Потерпите! Теперь уже недолго.

И вот раздался звонок. Топот, кашель, хрип. Я разобрала:

— Кто?

— Что?

— А?

— Зачем?

— К кому?

— Черт!

Потом хрип смолк, снова вошла худая дама и сказала испуганным шепотом:

— Они еще обмерзши. — И ушла. А я сидела и думала, какой ужас заниматься литературой…

Опять вошла худая дама и опять прошептала, видимо, жалея меня и желая ободрить:

— Они еще не оттаявши!

Добрая дама! Обнять бы ее и вместе поплакать… И снова ушла. Господи, Господи! Уйти бы мне, да и уйти не смею. Опять дама.

— Они отошедши.

Я как-то не сразу поняла, что значит «отошедши». Одно мгновение подумала, что это значит, будто Лейкин умер, и в ужасе вскочила.

— Да вы не бойтесь! — успокаивала дама. — Они сказали, чтобы вас впустить.

Я зажмурилась, я шагнула вперед. Действительно, ведь не убьет же он меня! В кресле перед птичьим чучелом сидел кряжистый, кривоплечий и, кажется, косоглазый человек с черной бородой. Очень мрачный.

— С чем пожаловали? — спросил он меня, глядя в сторону. — Что вам нужно?

— Стихи… — прошептала я.

— Какие стихи?

— «Песенка Маргариты».

— Что-о? У нас, кажется, таких стихов отродясь не бывало. Объясните толковее.

— Я сочинила. Вот.

Он, не глядя на меня, протянул руку. Я ткнула в нее свой листок.

— Ну? — сказал он.

— Что? — спросила я.

— Ну и до свиданья. Ответ прочтете в «Почтовом ящике».

Через месяц я прочла в «Почтовом ящике» «Осколков»: «“Песенка Маргариты” никуда не годится».

Таков был мой первый литературный шаг. Впоследствии эту самую «Песенку Маргариты» я прямо для тайного торжества над сердитым редактором (хотя его уже не было на свете) напечатала в разных изданиях не меньше четырех раз.

Хотя… пожалуй… будь я сама редактором, я бы не напечатала ее ни разу.

Псевдоним

[106]

Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима. Действительно — почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.

Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом?

Уж если захотела взять псевдоним, можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец.[107]

Это всё намеки на некие политические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием:

— И где это она понахваталась?

— Это, наверное, за нее муж пишет.

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница, подписывалась «Вергежский»; талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний»[108]. Все это, повторяю, имеет свой raison d'etre[109]. Умно и красиво. Но — Тэффи — что за ерунда?

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло. Происхождение этого литературного имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут.

— Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написаны «Гамлет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни се.

Но — что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливые.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. И уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный и вдобавок такой, которому везло, значит, самой судьбой за идеального дурака признанный.

Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и, будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра[110]. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия.

Прошло месяца два. О пьеске своей я почти забыла и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и

дураки приносят счастье.

Но вот читаю как-то «Новое время» и вижу нечто: «Принята к постановке в Малом театре одноактная пьеса Тэффи “Женский вопрос”[111].

Первое, что я испытала, — безумный испуг. Второе — безграничное отчаянье.

Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя — непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала и посоветоваться ни с кем не могла.

И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они подумают, что это я по просьбе автора отослала пакет, а если догадаются, тогда что?

Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашалась на них присутствовать.

Итак — все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно, и так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение.

Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха! Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кантом или Спинозой, наверное, пьесу бы отвергли.

Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они меня еще через полицию потребуют.

Пошла. Режиссировал Евтихий Карпов[112], человек старого закала, новшеств никаких не признававший.

— Павильончик, три двери, роль назубок и шпарь ее лицом к публике.

Встретил он меня покровительственно:

— Автор? Ну ладно. Садитесь и сидите тихо.

Нужно ли прибавлять, что я сидела тихо. А на сцене шла репетиция. Молодая актриса, Гринева[113] (я иногда встречаю ее сейчас в Париже. Она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца, как тогда…), Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту, — это была мода того сезона у молодых актрис.

— Не бурчи под нос! — кричал Карпов. — Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!

— Я знаю роль! — обиженно говорила Гринева.

— Знаешь? Ну ладно. Суфлер! Молчать! Пусть жарит без суфлера, на постном масле!

Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой острастки.

Какой ужас, какой ужас, думала я. Зачем я написала эту ужасную пьесу! Зачем послала ее в театр! Мучают актеров, заставляют их учить назубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится, и газеты напишут: «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает». А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет: «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это неверно».

Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются — я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать. Карпов хохотал:

— Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем.

«Несчастный автор» молчал и старался не заплакать. И вот наступило неотвратимое. Наступил день спектакля. Идти или не идти? Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закричать мне: «Пошла вон, дура!»

Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора. Публика зевала, скучала, посвистывала. И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес, и затарантили мои персонажи.

«Какой ужас! Какой срам!» — думала я.

Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина[114], изображающая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу.

— Автора! — закричали из публики. — Автора!

Как быть?

Подняли занавес. Актеры кланялись. Показывали, что ищут автора.

Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. Но публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то громко кричал на сцене: «Да где же автор?», и я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта беготня моя по коридору до тех пор,

пока кто-то лохматый (впоследствии оказалось, что это А. Р. Кугель) не схватил меня за руку и не заорал:

— Да вот же она, черт возьми!

Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно, и публика стала расходиться.

На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали:

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я шью туфли для куклы моей племянницы…

— Гм… вот как! А что означает ваш псевдоним?

— Это… имя одного дур… то есть такая фамилия…

— А мне сказали, что это из Киплинга.

Я спасена! Я спасена! Я спасена! Действительно, у Киплинга есть такое имя.[115] Да, наконец, в «Трильби» и песенка такая есть[116]:

> Taffy was a wale-man,
> Taffy was a thief…[117]

Сразу все вспомнилось. Ну да, конечно, из Киплинга! В газетах появился мой портрет с подписью «Taffy».

Кончено. Отступления не было.

Так и осталось.

А. И. Куприн

[118]

Все люди, наделенные талантом — писатели, художники, поэты, композиторы, — отмечены в жизни особым знаком. Все они, по примеру Господа Бога творящие мир из ничего (ибо всякое творчество есть создание фантазии, то есть именно творение из ничего), непременно отличаются от людей обычного типа. И жизнь их если не внешне, то хотя бы внутренне всегда сложная, вся в срывах, взлетах, в запутанных петлях и для постороннего наблюдателя непонятна и неприемлема.

Многое, как и в жизни каждого человека, конечно, скрыто от чужого глаза, но биографы, принимающиеся изучать заинтересовавшего их талантливого человека, открывают иногда совершенно удивительные и странные черты, поступки и настроения. Все они, эти носители таланта (не в обиду будь им сказано, а в вознесение), все они с сумасшедшинкой. Нельзя брать на себя безнаказанно миссию Господа Бога. За это накладывается на человека печать. Он должен платить. Поэтому и мерка, применяемая к нему, должна быть особая. Находя в нем то, что в

обычном человеке считается пороком, надо понимать и принимать это как знак «плачу за избрание».

Многие писатели кончили настоящим сумасшествием: Стриндберг, Бальмонт, Мопассан, Гаршин, Ницше…[119] Но и нормальные почти все были со странностями, которые удивляли бы в простом смертном, но в человеке талантливом особого внимания не привлекали.

— Чудит! Все они такие!

Творческая работа разбивает и измучивает человека до последнего предела. Один здоровенный молодой писатель-юморист жаловался, что даже он, закончив рассказ, весь дрожит и долго не может успокоиться.

Нервное напряжение во время работы у многих напоминает какое-то припадочное состояние, транс, при котором проявляются разные причуды. Один не может писать, если в комнате открыта дверь, другой — если в квартире никого нет. Третий может писать только в кафе на террасе и чтобы мимо ходили люди. Леонид Андреев работал только ночью, шагал по большому темному кабинету и диктовал переписчице, сидевшей у крошечной лампочки. Достоевский диктовал, лежа в постели, повернувшись лицом к стене. Эдгар По ставил ноги в холодную воду. Алексей Толстой клал на голову мокрую тряпку. Впрочем, легче перечислить писателей без причуд, чем с причудами.

Кое-кто из писателей рассказывал, что если во время работы то, что называется вдохновением или фантазией, разгорается слишком сильно, то им овладевает такое чувство, будто он не может справиться с той волной, которая накатила на него. Именно «накатила», как на хлыстов во время радения.[120] И тогда приходится бросать работу и немножко отходить.

Хлынувшая на него волна как бы не им создана, а посылается неведомой силой, чтобы выявить себя, чтобы через него войти в мир. И не всегда может избранный с этой страшной силой справиться.

Писателям любят давать добрые советы.

— Вот работайте здесь, на балкончике. Такой чудесный вид — море, горы. Подумайте, сколько это вам даст вдохновения.

Не понимают, что во время работы писатель не видит ни моря, ни гор, ни помойной ямы — ни-че-го. Он видит только то, куда его увело. И иногда из этого мира не сразу может вернуться в мир реальный.

Один писатель как-то растерянно спросил:

— Господи, да с каким же это я дураком весь день сегодня разговариваю?

И вдруг вспомнил:

— Ах да! Это я его утром выдумал в новом рассказе. Вот и ходит теперь за мной, и не отвязаться. Выдумал его на свою голову. Ну что теперь? Надоел он мне!.. Напиться, что ли…

Ну и, конечно, напился. Не валерьянку же принимать. Уж очень было бы по-стародевически.

Люди, с писательской работой не знакомые, думают, что можно очень удачно сочинять, если хорошо выспался, погулял, подышал свежим воздухом, сел у окна и любуешься пейзажем. На это большинство писателей ответят воплем: «Ничего не сочинишь!»

Компилятивную работу, описание чужой жизни и трудов — это возможно. Но напряженную, творческую, вдохновенную — никогда.

Это, конечно, странно, но бессонная ночь, беспутная жизнь, суматоха, неразбериха, когда человеку мешают сесть за письменный стол, какие-нибудь полотеры грохочут в соседней комнате, — неожиданно разгорается фантазия, и человек ждет только момента, когда сможет устроиться и записать то, что «накатило». Устроится соответственно своим причудам и будет работать.

Трудная работа — писательское «святое ремесло». Часто, может быть, даже подвиг.

Поэтому судить их и человеческую жизнь их надо судом особым. Надо понимать.

И до того не похожа жизнь писателя на жизнь мирного обывателя, что вспоминается такая история: как-то в обществе приятный господин с круглой физиономией и веселыми глазами молодой собаки сказал:

— А мне ровно столько лет, сколько Блоку.

И кто-то в ответ возмущенно буркнул:

— Что за вздор!

— Почему вздор? — удивился ровесник Блока. — Я родился в том же году, в том же месяце и того же числа.

— Да, но все-таки это совсем не то, — не сдавался буркнувший.

Ему до такой степени казалось невозможным, чтобы у этого господина было что-то общее с Блоком, что даже одинакового возраста душа его не принимала.

— Как так — не то?

— Не те годы прожиты. Счетом те, качеством не те. И говорить об этом смешно. Раз не понимаете этого, не объяснишь.

На том разговор и кончился.

Давно, когда еще не были опубликованы ни дневники, ни письма Льва Толстого, считали его богатым, сытым барином,

окруженным многочисленным семейством, патриархально проживающим в своем имении, спокойно и много работающим.

Оказалось, что жизнь спокойного барина — сплошная истерика, черная, тяжелая, жуткая. Навалился на человека кошмар и душил — и задушил.

За ним вспоминается исступленный эпилептик Достоевский, безумный Гоголь, беспокойный Державин, истерик Тургенев, неврастеник Григорович. Даже толстый дядя Гончаров и тот страдал манией преследования и видел призраков.[121]

Современников наших мы сами знаем.

Как-то раз в тесном писательском кругу затеяли мы определять, к типам какого писателя можно отнести данного человека. Прежде всего занялись, конечно, литераторами.

Вот, например, Гоголя со всей его странной судьбой и характером, Гоголя, сжегшего конец «Мертвых душ», мог бы написать Толстой. Очень ясно поддается определению Чехов. Он мог быть героем романа, написанного Тургеневым. Точнее говоря — Чехов, вся его личность и вся история его жизни могли бы быть написаны Тургеневым.

Льва Толстого с его бесконечными исканиями, с душевными сдвигами и уходом мог бы написать Достоевский. И как это ни странно — его мог бы написать, грозно его осуждая, сам Лев Толстой.

Так вот, применяя этот метод к Куприну, можно сказать, что Куприн был написан Кнутом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном.[122]

Это — сочетание скрытой душевной нежности с безудержным разгулом и порою даже жестокостью — это все мог бы выдумать или Гамсун, или Джек Лондон.

Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это, говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова[123] «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Я отшучиваюсь:

— Да, да, и Каин был для мамаши Евы Каинушечка.

Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко, на самом дне, чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям — не все здесь тлен и пепел.

Много рассказывают о безудержных купринских кутежах, злых забавах, как травил он в пьяной компании кошку собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных

мучениях, и будто бы, услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтоб накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима, и свежего укропа он не достал.

Часто приходилось видеть в литературном ресторане «Вена»[124], как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крепкая ругань со словами из «народной анатомии», как ведут кого-то под руки мириться и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам.

Бесшабашный кутила, пьяный буян, но и во внешней жизни своей целиком не укладывался он в эту скверную рамку. Было в нем многое, о чем следует рассказать.

Он, конечно, не был добряком, как думают некоторые на основании его рассказов. Но в нем было благородство, в нем было доброжелательство. Он не хватал и не прятал от друзей каких-нибудь выгодных возможностей, как это, к сожалению, часто бывает. Он всегда с готовностью рекомендовал издателям товарищей по перу, говорил о них с переводчиками. Помню такой довольно показательный случай.

Я завтракала у Куприных и уже собиралась идти домой, но он усиленно удерживал меня.

— Посидите немножко. Сейчас должна прийти одна голландская переводчица. Я непременно хочу вас с ней познакомить, она может вам пригодиться.

Но переводчица не пришла.

И в тот же день я пошла к писателю, с которым была в самых дружеских отношениях. Когда меня впустили, его домашние плотно закрыли дверь в его комнату.

— Он болен? — спросила я.

— Нет. У него голландская переводчица.

Я поняла. Боялись, что она заинтересуется моими рассказами. Вспомнился Куприн, уговаривавший меня познакомиться с ней.

Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив и у многих оставил о себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромен и доступен. К нему приходили маленькие писатели, и всех он принимал радушно и добродушно. Только про одного, тоже маленького, но очень высоко державшего собственное знамя, как-то сказал:

— Мне с ним трудно. Уж очень он знаменит.

Читатели Куприна любили. И многие, не знавшие его лично,

даже как-то умилялись над ним, считали добряком, простым, милым человеком. Может быть, оттого, что писал он просто, без вывертов, которые так ненавистны широкой публике. Честно писал, не красуясь и не презирая читателя (я, мол, пишу как хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак!).

— Этот офицер хорошо пишет, — сказал Толстой о начинающем Куприне.[125]

Куприн был настоящий, коренной русский писатель, от старого корня. Когда писал — работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро.

Но человек Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный.

Жизнь, в которую его втиснула судьба, была для него неподходящая. Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами. Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров или в компании бродяг-золотоискателей, по пояс в снегу, спасать погибающий караван. Товарищами его должны бы быть добрые морские волки или даже прямые разбойники, но романтические, с суровыми понятиями о долге и чести, с круговой порукой, с особой пьяной мудростью и честной любовью к человеку. Он всегда чувствовал на себе кепку, пропитанную морской солью, и щурил глаза, ища на горизонте зловещее облако, грозящее бурей.

Как-то на банкете «Возрождения»[126], говоря тост, он назвал сотрудников газеты «товарищи матросы нашего корабля». Это было именно то, что он чувствовал.

Зверски пьяный, он травил кошку собаками, но мог бы на пожаре кинуться в огонь, чтобы спасти котенка. Может быть — тоже в пьяном виде, но не в этом дело. Дело в том, что был способен на поступок, на который не всякий добряк решится.

Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тюбетейка, пошла бы трубка.

Было в нем звериное и было нежное.

Рассердится, и сразу зрачки по-звериному съежатся, жестоко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу.

Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние, запах. Он нам говорил, что «принюхивается» к людям.

— Потяну носом и знаю, что за человек.

Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму.

— Что скажете, Александр Иванович, правда, хороша?

Ответил отчетливо и громко:

— Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.

Любил духи «Роз Жакемино» до блаженной радости. Если надушить этими духами письмо, будет носить его в кармане без конца…

Любил и понимал зверей.

Пока был здоров, бегал по утрам в Булонский лес смотреть на верховых лошадей. Интересовался не столько статями породистых коней, сколько красотой, игрой мускулов, нарядным шагом, атласистым волосом. Любовался по-звериному.

Как-то Алексей Толстой сказал:

— Совсем мы мохом обросли. Видел сегодня Куприна. Сидит, гладит рыжего кобеля и счастлив.

Был ли он уж так счастлив — не знаю, но что общение со зверями было всегда для него радостью, в это верю.

Последние годы, когда он хворал и редко выходил из дому, была у него кошка. Он с ней много разговаривал. Как-то зашедшие к нему друзья застали его очень расстроенным.

— Все сегодня с утра не клеится. Гонорар в газете сбавили, кошка чего-то на меня дуется, не понимаю отчего. Доктор запретил пить кальвадос[127] и велел лежать. Все не клеится. Но чего кошка-то обиделась?

Кошка была для него очень близким существом. Последним представителем звериного мира, который он так любил. Уезжая в Россию[128], на парижском вокзале, усаживаясь в вагон, он больше всего заботился о кошке, волновался, не забыли ли захватить кошку. Он понимал, что жизнь его переломилась, что едет он на родину не жить, а умирать, и обеими руками держался за это последнее любимое, свое звериное.

— Где кошка? Дайте же мне кошку!

С А. И. Куприным встретилась я в самом начале моей литературной жизни, когда только что появился в газете «Новости»[129] мой святочный рассказ. И вот у кого-то за ужином моим соседом оказался Куприн.

— Это не вы ли написали рассказ у Нотовича?

— Я. А что?

— Очень скверный рассказ, — убежденно сказал он. — Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая. Плюньте на это дело.

Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра. Посмотрела я на него и думаю — а ведь он, наверно, правду говорит. Как это ужасно. Значит, больше писать не буду.

Так бы и перестала, если бы не вмешалась в это дело моя

любовь к красивым башмакам. А вмешалась она так.

Сидела я с друзьями в одном из литературных ресторанчиков, вероятно, в «Вене». И подсел к нам Петр Пильский[130].

— Отчего, — говорит, — вы больше не пишете?

— Не могу, — вздохнула я. — Таланта нет. Писательница я никакая.

— Что за вздор! Вот начинается новая газета. Будет выходить по понедельникам.[131] Нужны маленькие рассказы. Попробуйте.

— Да не хочется. Раз нет способностей, так нечего лезть.

— А вы попробуйте. Заплатят двенадцать рублей. А за эти деньги можно купить у Вейса[132] прелестные башмачки. Ведь вы любите красивые башмачки?

— Ну еще бы! Я-то? Да больше всего на свете!

— Ну так вот, не откладывайте, пишите рассказик и сразу бегите к Вейсу за башмаками. И торопитесь. Откладывать нельзя.

Раз дело шло о башмаках от Вейса, то, конечно, откладывать было нельзя. В ту же ночь рассказ был написан, а утром Василевский Не-Буква, редактор-издатель «Понедельника», заехал за ним.

Рассказ понравился, его напечатали, но мне было как-то беспокойно.

«Хвалят, — думаю, — просто из любезности. А способности-то ведь все-таки нет».

Но — деньги получены, башмаки у Вейса куплены, значит, и бездарностям есть на свете место.

Дней через десять встречаю Куприна. От страха вся съежилась и отвожу глаза, чтобы он меня не узнал. Сейчас начнет разделывать меня под орех.

Но еще издали делает приветственные знаки и идет прямо ко мне.

— Милая! — кричит. — До чего хорошо написала! Голубчик мой, умница! Чего же до сих пор ничего не писала?

Смеется он надо мной, что ли?

— Да ведь вы же, — лепечу, — сами сказали, что писательница я никакая. Вы же мне запретили писать.

— Ну как же это я так! С чего же это я!

И так искренне радовался и всем кругом цитировал отрывки из этого самого рассказа, что не поверить ему я не могла, так же искренне, как и в тот раз, когда он говорил, что я «никакая». Поверила и стала писать. Но если бы не прельстил меня Пильский башмаками от Вейса, не пришлось бы Куприну на меня радоваться. В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке. А Куприн на всю жизнь остался самым

дружеским ценителем моих произведений, а бывало так, что уже статья о моей новой книге напечатана, а он приходил в редакцию и говорил:

— А я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв.

И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство — явление в писательском кругу чрезвычайно редкое. Почти небывалое. Повторяю — он был очень хорошим товарищем.

Жил Куприн в эмиграции — он, его жена, Елизавета Маврикиевна, и молоденькая дочь[133] — очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах.

— Должны десять тысяч в мясную.

Все удивлялись. Ну какой парижский мясник станет отпускать столько в долг русскому беженцу?

Для Куприна устраивались сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Маврикиевна открыла маленькую библиотеку и писчебумажный магазин. Все шло скверно.

Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю.

Он, наверное, как мальчик, играл в настоящего рыболова, хмурил брови и надвигал на лоб мятую, «пропитанную морской солью» фуражку. Он писал рассказ про то, как надо готовить буайбез, какую следует выбирать рыбу — морского угря и, главное, колючую рыбку, без которой из буайбеза ничего не выйдет. Писал с любовью, со знанием дела. И чувствовалось, как дорог ему весь этот рыбачий быт, как он радостно вживается в него, как чудесно «играет».

Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Маврикиевна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивая его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях.

— Папочка, иди же домой! — позвала она.

— Не понимаю тебя, — отвечал Куприн тоном джентльмена. — Ты же видишь, что на мне сидит дама. Не могу же я ее побеспокоить.

Но общими усилиями даму побеспокоили.

Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию.

Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы.

— Вот родители не позаботились о вас, не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?

— В институте.

— Ну вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно. Поздно спохватились. Упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите завтра же к директору цирка.

Стихов Куприн вообще не писал, но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как бросится под копыта мчащихся лошадей и «она» будет думать, что вот случайно погиб славный и «почтительный» старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле мопассановского «Forte comme la mort»[134][135], очевидно, этим романом и навеянное.

Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна.

Все знают его как кутилу, под конец жизни даже больного алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой, никому не известной любви.

Никто не знает, что три года подряд 13 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо нежное, почтительно-любезное все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное, безнадежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо.

Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку:

Как-то раз я встретила их на улице.

— Здравствуйте, Александр Иванович.

Он смотрит как-то смущенно в сторону.

Елизавета Маврикиевна сказала:

— Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся. Протяни руку.

Он подал мне руку.

— Ну вот, папочка, — сказала Елизавета Маврикиевна, — ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку.

Грустная встреча.

Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, похлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов? Умер он довольно скоро.

Вот какой странный жил между нами человек, грубый и нежный, фантазер и мечтатель, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.

[136]

Не знаю, жив ли Георгий Чулков[137].

Воспоминание о нем осталось очень милое. Красивый, приятный, талантливый человек. Но главное, что характеризовало его, это непогасаемый восторг перед каким-нибудь талантом. Он не помня себя погружался в этот восторг, только им и бредил, только им и жил.

А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове[138]: «Александр Блок! Александр Блок! Александр Блок! Дайте попочке сахару».

Но ему и сахару не нужно. Ничего ему не нужно. Забывал самого себя.

Я его видала часто вместе с Мейерхольдом еще до Театра Комиссаржевской[139], где Мейерхольд наконец развернулся. До этого театра были только планы, чертежи будущего великого здания, декламация и предчувствие триумфа. Предчувствия не обманули. Ведь перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени[140], где, если верить газетам, для каждого зрителя был обещан особый вентилятор.

Мейерхольд чертил магический треугольник. В углы треугольника помещались — автор, режиссер и актер. Каждый в своем углу. Общение — через катеты и гипотенузу. Автора и актера соединяет гипотенуза — длиннейший путь. И это не без умысла. Таким образом, автору выходило проще общаться с актером через режиссера по двум катетам. Непосредственное общение автора с актером подрывает работу режиссера, который лучше знает, что хочет выразить автор и как нужно его выражать.

Впоследствии я на горьком опыте узнала весь трагизм этой гипотенузы, отделяющей автора от актера.

Режиссер всегда считает автора врагом пьесы. Автор своими замечаниями только портит дело. Написал пьесу автор, но режиссер, конечно, лучше понимает, что именно автор хотел сказать.

Так, в одной из моих пьес выведен нежный молодой влюбленный, который говорит любимой женщине: «Солнце мое, я люблю тебя». Режиссер напялил на влюбленного страшный рыжий парик, огромный зеленый галстук с торчащими концами и загримировал идиотом.

— Почему?

— Как почему? По вашей же пьесе. Ведь он же у вас идиот.

— Да с чего вы это взяли?

— Да как же: он говорит даме «солнце мое». Ясно же, что он идиот!

Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре[141], я приехала, чтобы прочесть ее актерам. Потом стала ходить на репетиции. Ставил пьесу Платон[142], серьезный режиссер — театр ведь Императорский!

Первый акт кончался у меня чтением нежного стихотворения, и занавес под это чтение должен был медленно-медленно опускаться. Было красиво, и создавалось «настроение». И каждый раз театральный плотник пускал занавес с какой-то нарочитой скоростью: трррррр-бах! Я чуть не плакала. Платон успокаивал:

— Ох уж эти авторы! Да уверяю вас, что на спектакле он сделает прекрасно.

— Так почему же он сейчас хоть бы раз не сделал как следует?

— Ох уж эти авторы!

Я ненавижу длинноты. И конечно, вырывала кусочки то у одного, то у другого актера. А актеры обожают поговорить побольше.

Платон уговорил меня уехать и вернуться через месяц к последним репетициям.

— Вот тогда увидите, как мы подадим вашу пьесу. Сейчас актеры еще не вошли в роль, ваши замечания их нервируют.

Поверила. Уехала. Через месяц приехала.

Трррр-бум! — бахнул занавес. Главная роль у Остужева[143]. Чувствую длинноты. Поправить ничего нельзя, потому что он-глухой и учит роль назубок. Реплик он не слышит. Все актеры, увы, вошли в роль, и теперь уж ничего с ними не поделаешь.

Пьеса мне до того не понравилась, что когда приехал ко мне Незлобин[144] и попросил дать ее для Петербурга, я в ужасе крикнула:

— Ох, не надо!

Он только руками развел:

— Первый раз вижу автора, который не хочет, чтобы его пьесу играли.

Я пьесу дала, но тут уж себя отстояла. Вылезла из заклятого треугольника, сама говорила с актерами, и пьеса сошла отлично.

Но это было много позже. А в то время, о котором веду рассказ, Мейерхольд чертил свою геометрию, Чулков пламенел. Потом оба решили, что со мной им трудно, что видимая стена отделяет меня и их живая мечта от этой стены отскакивает. Они были правы.

Я помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора»[145]. У него из шкапа в будуаре

городничихи вереницей выходили ее «мечтаемые» любовники. Поле было свободное. Мертвый Гоголь, загнанный за гипотенузу, протестовать не мог.

У Мейерхольда была очень милая жена[146], тихая, из породы «жертвенных». После революции он женился на другой[147]. Вообще все тогда спешно развелись и переженились. Гумилев, Ахматова, Толстой, директор «Кривого зеркала» Кугель, Луначарский[148]… Началось: вторая жена Гумилева[149], третий муж Ахматовой

, третья жена Толстого[150], новая жена Мейерхольда… Все эти вторые и третьи браки, все какое-то спешное, нереальное. Точно мечутся люди испуганные и тоскующие и хватаются за какие-то фантомы, призраки, бредовые сны. Старались утвердить на чем-то новом свою новую страшную жизнь, которая уже заранее была обречена на гибель.

В последний раз я видела Мейерхольда на одном из беженских этапов — в Новороссийске. Он был какой-то растерянный, но настойчиво просил зайти к нему. Я записала его адрес и обещала прийти.

— Мне очень бы хотелось кое о чем поговорить с вами, — сказал он, прощаясь. — И не откладывайте.

Дня через два я пошла по этому адресу. Шла очень долго, куда-то далеко за город. Наконец нашла его дом. Долго звонила, стучала. Никто не отозвался, никто не открывал. Чудились какие-то шорохи, шепоты, точно притаился кто-то и дышать не смеет. Я уже собралась уходить, как откуда-то сбоку из-за дома вышел плешивый старик в грязном кителе. Остановился и смотрит на меня. А я на него.

Наконец спрашиваю:

— Вы здешний?

— А что?

Человек был осторожный.

— Я ищу Мейерхольда.

— Первый раз слышу такое имя.

— Он мне дал свой адрес. Он здесь живет?

— Покажите адрес.

Я вынула из сумочки записку, показала ему.

— Это не его почерк, — сказал старик и посмотрел на меня, подозрительно прищурив глаза.

— Да, это я сама записала, а он продиктовал. Но как же вы знаете его почерк, когда вы даже имени его никогда не слыхали?

Старик смутился, и вся его плешивая голова покраснела.

— Во всяком случае, его здесь нет и никогда не было. Видите — дом закрыт.

— Хорошо. Я верю вам, что вы его не знаете и что он здесь не живет. Но если вы случайно с ним познакомитесь, скажите ему, что я приходила, потому что он меня звал.

Я сказала свое имя и ушла.

Обернувшись на повороте, я заметила, что старик, спрятавшись за дерево, следит за мной.

Все это было странно. Потом, когда я узнала, что он вернулся к большевикам, я поняла, что он уже прятался от белых. Боялся, что его решение стало известно и ему грозят неприятности, в те времена очень серьезные.

Он сам выбрал свою судьбу. Работал у большевиков, как ему хотелось. Потом, как водится, оказался, к полному своему удивлению, иностранным шпионом, был арестован. Какой именно смертью он умер, никто не знает.[151] Знают только, что такую смерть не называют «своей».

Федор Сологуб

[152]

Знакомство мое с Сологубом началось довольно занятно и дружбы не предвещало. Но впоследствии мы подружились.

Как-то давно, еще в самом начале моей литературной жизни, сочинила я, покорная духу времени, революционное стихотворение «Пчелки»[153]. Там было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное знамя свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога…», и прочие молнии революционной грозы.

Кто-то послал это стихотворение в Женеву, и оно было напечатано в большевистском журнале.

Впоследствии, в дни «полусвобод», я читала его с эстрады, причем распорядители-студенты уводили присутствовавшего для порядка полицейского в буфет и поили его водкой, пока я колебала устои. Тогда еще действовала цензура и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать.

Вернувшийся в залу пристав, удивляясь чрезмерной возбужденности аудитории, спрашивал:

— Что она там такое читала?

— А вот только то, что в программе. «Моя любовь, как странный сон»[154].

— Чего же они, чудаки, так волнуются? Ведь это же ейная любовь, а не ихняя.

Но в то время, с которого я начинаю свой рассказ, стихи эти я читала только в тесном писательском кружке.

И вот мне говорят странную вещь:

— Вы знаете, что Сологуб написал ваших «Пчелок»?[155]

— Как так?

— Да так. Переделал по-своему и будет печатать.

Я Сологуба еще не знала, но раз где-то мне его показывали.

Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, он мне показался старым. Даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое, всегда скучающее лицо. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:

Сам я и беден и мал,[156]
Сам я смертельно устал…

Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся.

Такова была внешность Сологуба.

Я попросила, чтобы нас познакомили.

— Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.

— Какие стихи?

— «Пчелки».

— Это ваши стихи?

— Мои. Почему вы их забрали себе?

— Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.

— Эта дама — я. Слушайте, ведь это же нехорошо так — забрать себе чужую вещь.

— Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.

Я засмеялась.

— Во всяком случае, мне очень лестно, что мои стихи вам понравились.

— Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.

На этом дело и кончилось.

Через несколько дней получила я от Сологуба приглашение непременно прийти к нему в субботу. Будут братья-писатели.

Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартирке городского училища, где был преподавателем и инспектором. Жил он с сестрой, плоскогрудой, чахоточной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем

шепотом.

Он рассказывал в своих стихах:

Мы были праздничные дети,[157]
Сестра и я…

Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтоб дали им «хоть пестрых раковинок из ручья». Печально и тускло протянули они трудные дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых раковинок, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишьего шума своих учеников.

Печатался он у Нотовича в «Новостях», причем Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки.

— Опять принес декадентскую ерунду.

Платил гроши. Считал себя благодетелем.

— Ну кто его вообще будет печатать? И кто будет читать!

В сказочках говорилось о красоте и смерти.

Очаровательна была сказочка о полевой лилии, которую потом без конца читали с эстрады. Сам Соломон во всей славе своей не превосходил ее пышностью. (Пересказываю, как помню.) Но капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая! Вот я так оделась: сначала рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку одежку, на одежку застежку, потом рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку покрышку, не видать кочерыжку, тепло и прилично.

О смерти рассказывается, как послал Бог ангела своего Степаниду Курносую отнять у матери ребенка. Мать плакала и не могла утешиться. Тогда ангел Божий Степанида Курносая стала ее утешать:

— Ты не плачь.

А мать ответила:

— Ты свое дело сделала, отняла у меня ребенка. Теперь не мешай мне мое дело делать — плакать о нем.

О смерти говорит и маленькая сказочка о волшебной палочке. Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать ее к виску, и все горе сразу уйдет.

Так жил Сологуб в маленькой казенной квартирке с лампадками, угощал мятными пряничками, румяными булочками, пастилой и медовыми лепешками, за которыми сестра его ездила куда-то через реку на конке. Рассказывала нам по секрету:

— Хотелось мне как-нибудь проехаться на конке на империале,[158] да «мой» не позволяет. Это, говорит, для дамы

неприлично.

Хозяином Сологуб был приветливым, ходил вокруг стола и потчевал гостей.

— Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка, а вот то антоновка. А это пастила рябиновая.

В маленьком темном его кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное, — портрет Зинаиды Гиппиус.

Вечера в казенной квартирке, когда собирались близкие литературные друзья, бывали очень интересны. Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навьих чар».[159] Последняя вещь совсем сумбурная, и в ней он как-то запутался. Там как раз появились «тихие мальчики», над которыми многие посмеивались, подозревая в них что-то сексуально неблагочестивое, хотя сам автор определенно говорил, что мальчики эти были тихие, потому что были полуживые-полумертвые. Ему вообще приятен был образ ребенка, полуотошедшего от жизни. В одном из первых рассказов был у него такой мальчик, ненавидевший жизнь и смех и мечтавший о звездах, где живут мудрые звери и никто никогда не смеется.

В «Навьих чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло. Должно быть, одумался или не справился.

Когда мы познакомились ближе и как бы подружились (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключа, хотела до конца понять его и не могла. Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел показывать. Вот, например, прорвалось у него как-то о школьниках, его учениках: «Поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.

Вспоминала его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский.

Я верю в творящего Бога,[160]
В святые заветы небес,
Я верю, что явлено много
Безумному миру чудес.
Но высшее чудо на свете,
Великий источник утех —
Блаженно-невинные дети,
Их тихий и радостный смех.

Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.

И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно эротические. Помню один рассказ Сологуба — не знаю, был ли он напечатан, — где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король, и народ ликовали.

— Это мой сын, — заявлял король. — Я принимал участие в его зарождении.

Ребенка объявили наследником, а пажа повесили на воротах города, как собаку.

Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок — сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж — собака, и кончено. Кто-то, однако, робко заметил: а вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?

Все замахали руками:

— Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.

И участники вечеров старались превзойти друг друга эстето-эротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.

Но вот умерла тихая сестра Сологуба.[161] Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом.

«…Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры…» И тут начался перелом.

Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской[162], которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.[163]

— Не кабинет, а ледник, — сострил кто-то.

Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками.

Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны.

Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.

Приехал как-то из Москвы плотный выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.

— Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.

Или:

— Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.

Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.

Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подобострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.

Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок. Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:

— Ну вот начнете вы.

Ответ всегда был смущенный:

— Почему же именно я? У меня нет ничего нового.

— Поищите в кармане. Найдется.

Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает.

— Да у меня правда ничего нового нет.

— Читайте старые.

— Старые неинтересно.

— Все равно.

Испытуемый снова перелистывает книжку.

— Ну вот одно новое. Только оно, пожалуй, слишком длинно.

— Все равно.

Начинается чтение. Кончается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.

— Следующее, — говорит Сологуб и закрывает глаза.

— Да, собственно говоря… — мечется испытуемый. — Впрочем, вот еще одно. Только оно, пожалуй, слишком коротенькое.

— Все равно.

Читает. Молчание.

Третье стихотворение.

Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает. Молчание.

Вот так, наверно, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек.

— Теперь ваша очередь, — обращается мертвым голосом Сологуб к соседу выпотрошенного поэта. И тот тоже отнекивается, и мечется, и шарит по карманам под змеиным взглядом хозяина, и тоже читает три стихотворения. И так в тоскливой муке смыкался круг стихов.

Раз как-то я долго уверяла, что у меня нет третьего стихотворения, и, когда Сологуб все-таки его требовал, сказала:

— Ну если так, так хорошо же.

И прочла Пушкина «Заклинание».[164]

По лицам присутствующих поняла, что никто из них не слушают. Только Бальмонт при словах «Я жду Лейлы» чуть-чуть шевельнул бровями. Но уже после ужина, когда я уходила домой, Сологуб, прощаясь со мной, промямлил:

— Да, да. Пушкин писал хорошие стихи.

На этих вечерах Сологуб и сам читал какой-нибудь отрывок из своего нового романа. Чаще переводы Верлена, Рембо. Переводил он неудачно, тяжело, неуклюже. Читал вяло, сонно, и всем хотелось спать. Профессор Аничков[165], очень быстро засыпавший и знавший за собой эту слабость, обыкновенно слушал стоя, прислонясь к стене или к печке, но и это не помогало. Он засыпал стоя, как лошадь. Изредка, очнувшись, чтобы показать, что он слушает, начинал совершенно некстати громко хохотать. Тогда Сологуб на минуту прерывал чтение и медленно поворачивал к виновному свои мертвые глаза. И тот стихал и сжимался, как кролик под взглядом удава. Писал Сологуб всегда очень много.

— Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка.

После нашумевшего романа «Мелкий бес» началась бешеная сологубовская слава.

Издатели набросились на него. Перепечатали его старые произведения, прошедшие когда-то незаметно. Он закончил свой роман «Навьи чары». Конец, написанный после перелома, то есть когда судьба вознесла его, не оправдал обещанного. И то, что намечал он в тихой комнате с лампадкой, осталось невыполненным. Я помнила, как он рассказывал о дальнейшем ходе романа, и этого в напечатанной книге не нашла. Дух отлетел от него. И только в стихах своих был он прежним, одиноким, усталым, боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой»[166], и любил ту, чье имя писал с большой буквы — Смерть.

— Смертерадостный, — называли его.

— Рыцарь Смерти, — называла я.

Но и в стихах своих принялся он фокусничать, играть пустяками.

Белей лилей, алее лала [167]
Была бела ты и ала.

Я ему говорила, что это похоже на скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски», и заставляла одного косноязычного поэта, не выговаривавшего букву «л», декламировать эти стихи. У него выходило:

Бевей вивей, авее вава
Быва бева ты и ава.

А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно. Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день…»[168]

Она хотела накормить голодных своих смертенышей…

Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним.

— Неудобно музе увенчать лаврами голову Тетерникова.

Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией и тот ничуть не огорчался.

— А почем вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.

И тут же придумали Тетерникову псевдоним — Федор

Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса»[169]. И мы знаем, что муза этот псевдоним почтила своим вниманием.

Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно.

Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно бессознательно) Сологуб за измывательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.

Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них.

Когда я в бурном море плавал[170]
И мой корабль пошел ко дну,
Я возопил: «Отец мой Дьявол,
Спаси меня, ведь я тону!»

Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон, вспоминались его грустные, нежные стихи:

В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Как помогу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал —
Что я могу?

Голос зовет в тишине:
«Брат мой, приблизься ко мне,
Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем!»

Теперь пошла эротика, нагие флагелянты[171], мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа[172], воющие собаки, оборотни. Было:

Я верю в творящего Бога,
В святые заветы небес…

Стало:

Собираю ночью травы [173]
И варю из них отравы…

Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношения ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразличное. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат»[174] (я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в Театр Комиссаржевской.

Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно пристально присматривался ко мне и все приговаривал:

— Так-так. Так-так.

Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной.

— Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.

Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.

Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.

В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:

— Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?

— Какую проделку?

— Да ваш пасквиль на меня.

— Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.

Он отошел, но в конце ужина подошел снова.

— Вы не расстраивайтесь, — сказал он. — Мне все это совершенно безразлично.

— Вот это меня и расстраивает, — отвечала я. — Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.

Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно

ласков.

Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.

Как-то вспомнили школьную забаву:

— Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?

С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:

«На улицу вышел человек в синих панталонах».

По-новому писали так:

«На у-роже ты-шел лоб-столетие в ре-них хам-купонах».

Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего писательского кружка охотно разделывали эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.

Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека, кроме его реального возраста, есть еще другой, вечный, метафизический. Например, старику-шлиссельбуржцу Морозову[175] мы сразу согласно определили восемнадцать лет.

— А мой метафизический возраст? — спросила я.

— Вы же сами знаете — тринадцать лет.

Я подумала» Вспомнила, как жила прошлым летом у друзей в имении. Вспомнила, как кучер принес с болота какой-то страшно длинный рогатый тростник и велел непременно показать его мне. Вспомнила, как двенадцатилетний мальчишка требовал, чтобы я пошла с ним за три версты смотреть на какой-то древесный нарост, под которым, видно, живет какой-то зверь, потому что даже шевелится. И я, конечно, пошла, и, конечно, ни нароста, ни зверя мы не нашли. Потом пастух принес с поля осиный мед и опять решил, что именно мне это будет интересно. Показывал на грязной ладони какую-то бурую слякоть. И каждый раз в таких случаях вся прислуга выбегала посмотреть, как я буду ахать и удивляться. И мне действительно все это было интересно.

Да, мой метафизический возраст был тринадцать лет.

— А мой? — спросил Сологуб.

— Конечно, шестьсот, и задумываться не о чем.

Он вздохнул и промолчал. Очевидно, согласился.

Колдун и ведун однажды позорно провалился.

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский с присущим ему пафосом говорил о том, что из могилы царизма

поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово».

— Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков[176].

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимые атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих Аполлонов. Нас можно простить.

В начале революции по инициативе Сологуба создалось Общество охранения художественных зданий и предметов искусства. Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше его мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком «Литургию Красоты» Бальмонта[177]. Но из хлопот наших ничего не вышло.

Одно время Сологуб дружил с Блоком. Они часто выходили вместе и часто снимались. Он всегда приносил мне эти снимки. Чулков тоже бывал с ними. Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел.[178]

Имя Сологуба гремело. Все так называемые «друзья искусства», носившие в нашем тесном кругу скромное имя «фармацевтов» (хотя среди них были люди, достойные именно первого названия), говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцинее[179] и творимой легенде.

Актеры наперерыв выли с эстрады:

Качает черт качели[180]
Вперед — назад, вперед — назад…

Фотографы снимали его у письменного стола и на копне сена с подписью: «Как проводит лето Федор Сологуб».

Сомов написал его портрет,[181] затушевав бородавку. Сенилов переложил его стихи на музыку[182].

Сологуба пели, читали, играли, декламировали и танцевали.

Явились переводчики и карикатуристы. Журналисты печатали беседы.

Приезжали на поклон московские люди — писатели, артисты, музыканты, меценаты.

И черт качал качели
Вперед — назад, вперед — назад…

Качал вперед.

Работал Сологуб по-прежнему много, но больше все переводил. Новые повести писал в сотрудничестве с Чеботаревской. Они были не совсем удачны, а иногда настолько неудачны и так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, решили, что пишет их одна Чеботаревская, даже без присмотра Сологуба. Впоследствии эта догадка оказалась верной.

Чем это объяснить? Творчество иссякло? Равнодушие к общественному мнению дошло до предела? «Прежде Нотовичи воротили нос от прекрасных моих творений, теперь что ни дай — все слопают». Чеботаревская хочет писать — пусть пишет. Ее печатать не станут — пусть подписывается Сологубом. Как-то в рижской газете «Сегодня»[183] я прочла строки: «Немногие, вероятно, знают, как была талантлива Чеботаревская и что последние повести Сологуба принадлежат всецело ее перу».

Увы! Эти немногие отлично догадывались. Только не могли себе этого объяснить так отчетливо, как мы видим теперь. Теперь мы знаем его безграничное презрение к критикам, не ценившим его прежних вещей и поднимавшим шум и бум над новыми, небрежно набросанными пустяками. Вот тогда он и решил, что довольно с них и Чеботаревской.

Всем известная фраза его «Что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли?» вполне определяет наступившую для него душевную пустоту.

Во время революции Сологубу жилось трудно. Он приглядывался, хотел понять и не понимал.

— Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, — говорил он, вспоминая свою униженную юность и сознавая себя «сыном трудящегося народа». — Но нельзя жить с ними, все-таки нельзя!

Еще старался творить из «бабищи грубой», из нелепой жизни своей легенду. Но бабища ухватила цепко.

В одну из последних петербургских зим встречали мы вместе Новый год.

— Что вам пожелать? — спросила я.

— Чтобы все осталось, как сейчас. Чтобы ничего не изменилось.

Оказывается, что этот странный человек был счастлив! Но тут же подумалось — боится и предчувствует злое.

Как хорошо, что реют пчелы,[184]

Что золот лук в руках у Феба…

Да, лук у Феба вечно золот, но…

Быстро мчатся кони Феба под уклон.

Загремели странные годы. «Бабища румяная и дебелая» измывалась над бледным Рыцарем Смерти. Судорожно цеплялась за жизнь Чеботаревская. Кричала всем, всем, всем: «SOS! Спасите!»

Она уже в самом начале революционных годов была совершенно нервнобольная. Помню, как на одном из заседаний в Академии художеств она вдруг без всякой видимой причины вскрикнула и затопала ногами.

В 1920 году, когда я в Париже лежала больная, в тифу, передали мне записку. На обрывке бумаги, сложенном как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано: «Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. Будьте другом добр, как были всегда. Сол. Чебот.»

Записка, очевидно, привезенная кем-то в перчатке или зашитая в платье, была от Сологуба и Чеботаревской. Кто ее принес, не выяснилось.

Когда я поправилась, мне сказали, что виза Сологубу и его жене уже давно устроена. Но, как потом оказалось, большевики еще долго не выпускали их. То давали разрешение на выезд, то снова задерживали. Чеботаревская, не выдержав этой пытки, покончила с собой. Она утопилась. Рассказывают легенду, будто труп ее летом прибило к берегу, где на даче жил Сологуб.

После ее смерти началось умирание Сологуба. Он долго умирал, несколько лет. Судьба, дописав повесть его жизни, словно призадумалась перед тем, как поставить последнюю точку.

«День только к вечеру хорош…»[185] — писал он когда-то.

Нет, вечер его жизни не был хорош.

О его душевном состоянии говорят кое-какие дошедшие до нас стихи.

Человек иль злобный бес
В душу, как в карман, залез,
Наплевал там и нагадил,
Все испортил, все разладил
И, хихикая, исчез.

Дурачок, ты всем не верь, —
Шепчет самый гнусный зверь, —
Хоть блевотину на блюде
Поднесут с поклоном люди,
Ешь и зубы им не щерь.

Тяжело и озлобленно уходил он.

В мире ты живешь с людьми, —
Словно в лесе, в темном лесе,
Где написан бес на бесе, —
Зверь с такими же зверьми.

Это как он его воспринимал. Звериное Царство, он, Дон Кихот, не смог уже претворить в мечту, в прекрасную Дульцинею, как делал из жизни, «бабищи румяной и дебелой».

Тяжело и озлобленно уходил он. И умер он, в сущности, уже давно и только пребывал в полужизни, ни живой ни мертвый, как его тихие мальчики в «Навьих чарах»… «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Апокалипсис. Гл. 3.1). И та его смерть, о которой дошла до нас весть в эмиграцию, является только как бы простой формальностью.

И может быть, смерть эта, для которой его муза находила такие странные, необычно нежные слова, может быть, она, жданная и призываемая, пришла к своему Рыцарю тихая и увела его ласково.

Алексей Толстой

[186]

Вечер у старой писательницы Зои Яковлевой[187].

Теперь, конечно, немногие помнят ее, но так как истоки некоторых моих воспоминаний находятся именно в ее салоне, то не мешает сказать о ней несколько слов.

Это была милая старая писательница, очень известная в литературных кругах не столько своими произведениями, сколько гостеприимством и добрым отношением к своим друзьям. Она всегда кому-то покровительствовала, кого-то знакомила с нужным человеком, помогала советами и протекцией. Кто-то сочинил о ней:

Доброе ль, злое —

Все мы спешим
К маленькой Зое
С сердцем большим.

Писала она повести и рассказы, пьесы ее шли в частных театрах. Помню, как она жаловалась на редактора «Вестника Европы»[188], который не принял ее рассказа.

— Он нашел, что у меня мало психологии. Однако в трех местах у меня отмечено, что помещик Арданов внутренне побледнел. Разве это не психология? Я сказала, что могу прибавить еще.

Помню, как добрая Зоя вызвалась приложить руку к одному моему запуганному делу.

— Я познакомлю вас с одним чиновником, очень важной птицей. Говорить с ним буду я сама, а вы должны делать вид, что ровно ничего не понимаете.

Сговорилась с важной птицей, надушила меня своими духами и повезла. Птица оказалась больна, приняла нас в халате и в мягкой рубашке с гофрированным жабо. Угостила чаем и конфетами.

— Помните, что вы не должны ничего понимать, — шепнула мне моя покровительница и стала излагать мое дело. Я так вошла в свою роль, что действительно ничего не понимала из того, что Зоя плела, и, на правах дуры, молча съела полкоробки конфет.

Несмотря на это, из хлопот Зои ничего, однако, не вышло.

Итак, вернемся к вечеру у милой Зои.

Мои первые рассказики только что были напечатаны в «Биржевых ведомостях». Я смотрю с уважением на Минского[189], его жену поэтессу Вилькину[190], помощника редактора «Нивы» Эйзена и прочих великих людей.

Я немножко опоздала. Какая-то неизвестная дама успела прочесть свое произведение,[191] что-то длинное, кажется пьесу. Я сижу тихо в уголке, чтобы никто не спросил моего мнения. Нехорошо опаздывать.

Ко мне подсел рослый, плотный студент, с какими-то знаками на плечах — политехник, что ли. Лицо добродушное, русый чуб на лбу.

— Вы что так тихо сидите? — спросил он.

— Да вот тут дама читала, а я и не слышала. Неловко.

— Я тоже не слышал. Это мне и дома надоело.

— Как так?

— Да эта дама как раз моя мать.

Слава Богу, что я не успела сказать что-нибудь неладное про дам, читающих пьесы.

Студент поговорил немножко про свое житье-бытье. Оказалось, что он женат и у него сын.

— Толковый малый, — хвалил сына студент. — Я вчера днем заснул, а он взял палку да как треснет меня по лбу.

— Сколько же этому толковому лет?

— Четвертый.

Поговорили еще немножко, потом студент подсел к хорошенькой сестре графини Муравьевой.

Ко мне подошла хозяйка дома.

— Смотрите, как Алеша Толстой ухаживает! Да это и понятно. Она так похожа на его жену, но еще красивее. Значит, есть определенный тип, который он любит. Это хорошо.

Мне не показалось особенно хорошим, что человек любит не жену, а тип, но со старшими никогда не спорила. Может быть, у писателей так полагается — почем я знаю.

Через несколько дней услышала я снова о Толстом. Кто-то читал его стихотворение про какого-то лешего. Описывалась морда этого лешего очень хорошо: «весь в губу».

Говорили: «Он талантливый, этот молодой человек».

Потом попался мне его первый рассказ, из деревенской жизни, как били конокрада. Да, Алексей Толстой был действительно талантлив.

Его стали печатать, и он быстро сделал себе имя.

Герои его первых рассказов были почему-то всегда дурак и Сонечка. Я даже как-то спросила у него, почему это так.

— Разве так? — удивился он. — Чего же это я так? А?

Встречались мы уже не у Зои, ее салон кончился (кажется, она умерла, не помню), а у Сологуба.

Как-то был у Сологуба большой костюмированный вечер. Толстой пришел со своей новой женой, Соней Дымщиц[192]. Костюм на нем был незабываемый. Он был одет бабой в предбаннике. Бабья холщовая рубаха немного ниже колен, на босу ногу шлепанцы, в руках веник и шайка.

На этом же балу произошел знаменитый скандал с лисьим хвостом. Некто доктор Владыкин принес как раз перед балом А. Чеботаревской, жене Сологуба, показать лисьи шкурки. Толстые взяли одну шкурку и оторвали у нее хвост, который был нужен Ремизову[193] для его бесовского маскарада. Оторвали и нацепили на Ремизова. Доктор Владыкин обиделся и написал сердитое письмо Чеботаревской. Та, в свою очередь, сердитое письмо Толстому. Толстой ответил Чеботаревской гневно и гордо:

«Госпожа Чеботаревская!

Моя жена, графиня Толстая…» (которая, между прочим, была и не Толстая, и не графиня, а просто Дымшиц). Письмо было подписано «Граф Алексей Толстой».

За Чеботаревскую обиделся Сологуб, и возникла горячая и бестолковая переписка, в которую влипали совершенно посторонние люди и ссорились друг с другом. Меня хвост не задел. В то время, как говорят французы, j'ávais d'autres chats á fouetter[194].

Вскоре после этой истории Толстой переехал в Москву, разошелся с Дымшиц и задумал жениться на молодой балерине. Прослышал об этом браке один почтенный генерал и захотел непременно навестить новобрачных, так как балерину эту знал еще маленькой девочкой.

Пошел к Толстым. Объяснил свои почти отеческие чувства к его жене. И вот выходит Наташа, рожденная Крандиевская, по первому мужу Волькенштейн. Старик развел руками:

— Олечка, до чего ты изменилась за три года! Да тебя узнать нельзя! Куда девался твой рост, черные глаза? Куда ты спрятала свой нос, ведь он у тебя был длинный?

Еле разобрались, еле успокоили старика. Объяснили, что разошелся с сожительницей, чтобы сочетаться законным браком с балериной, а сочетался вот с поэтессой. И ничего в этом нет особенного.

Дружба моя с Алексеем Толстым началась уже в эмиграции, куда он приехал с женой, милой, красивой и талантливой поэтессой. У них был уже трехлетний сын Никита. Привезли они с собой и сына Наташи от первого брака, Фефу Волькенштейна. Целая семья. И нужно было Алексею разворачиваться, чтобы эту семью кормить. Вился, бедный, как птица над гнездом.

Жилось трудно.

— Чтобы не просыпаться ночью в холодном поту от ужаса, — говорил он, — надо зарабатывать не меньше трех тысяч в месяц.

В те времена это для нас была задача трудная. Приходилось придумывать разные комбинации. Он и надумал устроить литературный вечер в пользу Союза писателей и ученых с оплатой выступающих писателей. Все мы на этом вечере немножко заработали, и Союз тоже.

Жена Алексея, Наташа, была талантливой поэтессой, но яркая индивидуальность Толстого совсем ее подавила. Она начала было заниматься музыкой, композицией, сочиняла какую-то фугетту и бержеретку «Ручейки». Потом от безденежья принялась делать шляпки и шить платья. Даже купила манекен, на который все натыкались в их крошечном салончике.

Мы все Толстого любили. Он был занятный собеседник, неплохой товарищ и, в общем, славный малый. В советской России такие типы определяются выражением «глубоко свой парень».

Его исключительный, сочный, целиком русский талант заполнял каждое его слово, каждый жест. Ходил он по Парижу, словно Иванушка из сказки по царским палатам, с разинутым ртом, и ни Париж ему, ни он Парижу ни с какой стороны не подходили. Французскому языку до конца дней своих не выучился, разыскал с помощью художника Шухаева[195] русскую баню и мятные пряники и так, целым, нетронутым монолитом, и отбыл на родину.

Недостатки его были такие ясно-определенные, что не видеть их было невозможно. И «Алешку» принимали таким, каков он был. Многое не совсем ладное ему прощалось. Даже такой редкий джентльмен, как М. Алданов[196] (недаром прозвала я его «Принц, путешествующий инкогнито»), дружил с ним и часто встречался. И когда Толстой уехал из Парижа, нам очень его не хватало. Жизнь потускнела, вытрясли из нее соль и перец.

Литературным нашим центром была в то время Мария Самойловна Цетлин[197]. У нее мы часто встречались, собирались, читали свои новые произведения. Жизнь была хотя и безденежная, но бурная и интересная.

Мы, литературные эмигранты, были новыми, занятными для парижан гостями. Всюду нас приглашали, угощали, развлекали и чествовали. Показывали нам Париж.

К нашему кругу примыкало много интересных людей — В. Вырубов[198], кн. Львов[199], Стахович[200], Балавинский, художники Гончарова[201], Ларионов[202], Саша Яковлев, Шухаев. Вскоре приехали Бунины[203].

С Толстым я очень дружила и даже была на «ты».

Мне особенно нравился его смех. Если сказать что-нибудь остроумное, он сначала словно опешит. Выпучит глаза, разинет рот и вдруг закрякает густым утиным басом: кхра-кхра-кхра.

— Понял! — кричу я. — Дошло! Дошло!

Да, товарищ он был неплохой, но любил друзей подразнить. Набьет портфель старыми газетами и пойдет к кому-нибудь из приятелей, кто позавистливей.

— Вот, — скажет, похлопывая по портфелю, — получил из Америки контракт. Завтра буду подписывать. Аванс небольшой, всего десять тысяч. Да ты чего хмуришься? Сам знаю, что это немного, ну да ведь я не жадный. Тем более что ведь это только аванс, а потом как начнут печатать, так уж пойдут настоящие деньги. Да и слава на весь мир. Там ведь сразу все газеты

подхватывают. Да ты чего надулся-то? Или, может быть, тебе тоже контракт прислали, да ты не хочешь признаться, чтоб не завидовали? Эка ты какой! Нехорошо от своих скрывать. Стыдно! Ей-Богу, стыдно. А? Ну сознайся, ведь подписал? А?

Доведет приятеля до белого каления и потом рот разинет и из самого нутра:

— Кхра-кхра-кхра.

Утиный смех. Кряква.

Забавную историю проделал он с моими духами.

Собрались у меня тесной компанией Бунины, Толстые, еще кое-кто. Сначала, как водится, поругали издателей, потом Наташа спела свои «Ручейки».

Алеша подсел ко мне, потянул носом.

— У тебя, — говорит, — хорошие духи.

— Да, — говорю, — это мои любимые «Митцуко» Герлена.

— Герлен? Да ведь он страшно дорогой!

— Ну что ж, вот подарили дорогие.

Потом опять разговор стал общим. Но вот вижу, Алексей встает и идет ко мне в спальню. Что-то там шарит, позвякивает, а лампы не зажигает. Кто-то позвал:

— Алеша!

Вышел. Все так и ахнули.

— Что такое?! Что за ужас?

Весь от плеча до колен залит чернилами.

Оглядел себя, развел руками и вдруг накинулся на меня.

— Что, — кричит, — за идиотство ставить чернила на туалетный стол!

— Так это ты, стало быть, решил вылить на себя весь флакон моих духов? Ловко.

— Ну да, — негодовал он. — Хотел надушиться. Теперь из-за тебя пропал костюм! Форменное свинство с твоей стороны!

Ужасно сердился.

Толстой был человек практичный.

Как-то на каком-то чаю, где я сидела рядом с ним, подошла к нам известная общественная деятельница Альма Полякова, чрезвычайно любезно с нами разговаривала и пригласила непременно прийти к ней пить чай. Мы обещали. Но через полчаса подошел ко мне Толстой и деловито сказал:

— Нет, мы к ней не пойдем. Не видали мы ее чая. Я навел справки. Она теперь не у дел и нам ни к чему.

Как-то пригласил он меня совершенно неожиданно позавтракать с ним в ресторане.

— Что с тобой, голубчик? — удивилась я. — Аль ты купца

зарезал?

— Не твое дело. Завтра в двенадцать я за тобой зайду.

Действительно, в двенадцать зашел.

— Где же мы будем завтракать? — спросила я.

Уж очень все это было необычайно.

— В том пансионе, где живет Алданов.

— Почему? В пансионах всегда все невкусно.

— Молчи. Вот увидишь, все будет отлично.

Приезжаем в пансион. Толстой спрашивает Алданова.

— Absent[204]. Сегодня завтракать не будет.

Толстой растерялся.

— Вот так штука! И куда же это его унесло? Да ты не волнуйся. Мы его разыщем. Я знаю ресторанчик, где он бывает.

Разыскали ресторанчик, но Алданова и там не оказалось.

Толстой окончательно расстроился.

— Где же мы его теперь найдем?

— Да зачем тебе непременно нужен Алданов? — удивлялась я. — Ведь ты же с ним не сговаривался. Позавтракаем вдвоем.

— Пустяки говоришь, — проворчал он. — У меня денег ни сантима.

— Значит, ты меня приглашал на алдановский счет?

Он выпучил глаза, разинул рот и вдруг закрякал по-утиному самым добродушным нутряным смехом.

— А у тебя деньги есть? — спросил он.

Я раскрыла сумку.

— На двоих не хватит.

— Ну подожди. Давай смотреть карту.

Стали смотреть по правой стороне, где цены. Я выбрала яйцо всмятку, он — какую-то странную штуку, вроде толстой жилы, очень дешевую, но разрезать ее не было никакой возможности. Он стал просто жевать один конец, а другой ерзал на тарелке. Старый лакей смотрел на него, пригорюнившись по-бабьи. В общем, завтрак прошел превесело, хотя Алексей очень бранил Алданова, что тот ни с того ни с сего дома не завтракает.

— Непорядок.

Любил он на каком-нибудь званом чаю сказать тоном остряка:

— Наташа, попроси лист бумаги или коробку, нужно забрать бутербродов Фефе на завтрак в школу.

Хозяйке приходилось делать вид, что это забавная шутка, и упаковывать ему сандвичи и пирожные. А Толстой помогал, выбирал и подкладывал.

— Алешка, — шепчу я ему, — угомонись! Ты ведь уже на

четырех Феф набрал. Неловко.

— Кхра-кхра-кхра, — хохотал он.

Занятная история произошла у Толстого с пишущей машинкой.

Машинку эту взял он у Марии Самойловны на две недели да так и не вернул. Мария Самойловна, человек очень деликатный, прождала больше года, наконец решилась спросить.

— Не можете ли вы вернуть мне пишущую машинку? Она мне сейчас очень нужна.

Толстой деловито нахмурился.

— Какую такую машинку?

— Да ту, которую вы у меня взяли.

— Ничего не понимаю. Почему я должен вернуть вам машинку, на которой я пишу?

Мария Самойловна немножко растерялась.

— Дело в том, что она мне сейчас очень нужна. Это ведь моя машинка.

— Ваша? Почему она ваша? — строго спросил Толстой. — Потому что вы заплатили за нее деньги, так вы считаете, что она ваша? К сожалению, не могу уступить вашему капризу. Сейчас она мне самому нужна.

Повернулся и с достоинством вышел.

И никто не возмущался — уж очень история вышла забавная. Только Алешка и может такие штучки выкидывать.

Мережковские Толстого не любили.

— Пошляк. Хам.

Уж очень они были литературно несходны.

Персонажи Толстого были все телесные, жизненные.

У Мережковского не люди, а идеи. Не события, а алгебраические задачи. Развертывались скобки, проверялись вычисления, обличался антихрист.

Если бы Толстой писал про Савонаролу[205], он бы у него непременно ел бы какую-нибудь акулу с чесноком и пахнул бы прогорклым постным маслом. Чувствовалось бы живое тело. Человек.

У Мережковского:

> Небо вверху, небо внизу,
> Если поймешь — благо тебе.

У Толстого не найдешь неба ни вверху, ни внизу. Но через землю, поданную талантом автора, постигается многое, на что он,

может быть, и сам не рассчитывал.

Ясно, что Мережковский и Толстой были друг другу полярно противоположны, а потому и неприятны.

Кто-то пустил про Толстого словцо: «Нотр хам де Пари», пародируя название романа Гюго. Мережковским это нравилось.

Толстой знал об их отношении к нему. Как-то встретив на улице Зинаиду Гиппиус, он подошел к ней, снял шляпу и почтительно сказал:

— Простите, что я существую.

Об этом эпизоде сама Зинаида Николаевна говорила:

— Я прямо не знала, что ему ответить. Пусть существует. Это же не от меня зависит.

Выходило так, что если бы от нее, то еще бабушка надвое бы сказала…

Жилось все труднее. Раздобывать деньги все сложнее.

— Туго живется, — говорил Алексей. — А выспишься, напьешься, нажрешься — и как будто опять ничего.

Писал он много и усердно. Но с издателями было трудно. С переводчиками еще трудней.

Как-то, зайдя к ним, застала я Наташу за работой: прилаживала какую-то кофту на манекене. В соседней комнате трещала знаменитая пишущая машинка.

— Работает? — спросила я.

— Работает, — вздохнула Наташа. — Не может кончить. Из редакции торопят, а у него конец не выходит.

И вдруг распахнулась дверь и появился Алеша.

Вид дикий. Голова обвязана мокрым полотенцем, лицо отекло, глаза запухли. Стоит в дверях и бормочет:

— Бабу нужно утопить, а она не топится. Эта дурища не топится.

Потом уставился на манекен.

— Что та-ко-е?! Отчего без головы?

Схватил с постели подушку и запустил в манекен.

— К черррту!

Хлопнул дверью и застрекотал машинкой.

Наташа подбирала работу и плакала злыми слезами.

— Совсем одурел. Он скоро петухом запоет. А они требуют скорее конец. Так жить нельзя.

— Действительно нельзя, — согласилась я. — Брось эту жизнь и пойдем пить шоколад.

Пока пили шоколад, Алеша утопил свою бабу. Повесть была сдана вовремя.

Бедный Алешка.

Раз как-то встретила я его на площади. Он шел почему-то с

палкой и громко сам с собой разговаривал. Выражение лица свирепое. Ясно было, что он поглощен каким-то персонажем из будущего романа. Он ничего не видел и не слышал. Моторы ревели, шоферы ругались, а он остановился посреди площади и гневно грозил палкой, по-генеральски кого-то мысленно распекая. Уж не будущий ли Петр орудовал своей дубинкой? Чудо, что его все-таки не раздавили.

Когда я ему при встрече рассказала, как он шел по площади, он выпучил глаза.

— Это ты все врешь. Никогда со мной такого не бывало.

Последний год своего парижского бытия он сильно приуныл.

— Пора отсюда убираться. Поеду в Берлин.[206]

Друзьям признавался честно:

— Здесь больше делать нечего. Ни с кого ни гроша не вытянешь. Одной литературой не проживешь. Зовут в Берлин. Попробую.

Последней забавной штукой перед отъездом была продажа чайника. Чудный, большой, толстый белый фарфоровый чайник для кипятка.

— Вот, пользуйся случаем, — сказал он мне. — Продаю за десять франков. Себе стоил двадцать. Отдам, когда буду уезжать, пока еще самим нужен. А деньги плати сейчас, а то потом и ты забудешь, и я забуду.

Заплатила.

После отъезда Толстых оказалось, что желающих набралось больше двадцати человек и все заплатили деньги вперед. А чайник, конечно, укатил в Берлин.

Рассказывали, как на берлинском вокзале долго разгружали их беженский багаж, причем не могли разыскать швейную машинку, и Наташа в ужасе кричала: «Во ист мейне швейне машине?»

В Берлине последовала неожиданная для всех «смена вех».

Мне тогда думалось, что, если бы не поднялась против него такая отчаянная газетная травля, он, пожалуй, в Россию бы и не поехал. Но его так трепали, что оставаться в эмиграции было почти невозможно. Оставалось одно — ехать в Россию.

Не знавший о радикальной «смене» Алданов приехал в Берлин, зашел к Толстым. У них сидел какой-то неизвестный господин. И вдруг среди разговора выясняется, что господин этот самый настоящий большевик, да еще занимающий видное положение. Толстой потом рассказывал, будто Алданов вскочил и пустился бежать, забыв захватить шляпу. Толстой погнался за ним по улице, крича: «Марк! Шляпу возьми! Шляпу!» Но тот только припускал ходу.

Потом оказалось, что историю эту Толстой изрядно подоврал.

Я виделась с Толстыми в Берлине. Он приготовился было хорохориться и защищаться. Но я не нападала, и он сразу притих. Стал жаловаться, как его травила эмигрантская пресса.

— Кинулись рвать, как свора собак. Да и все равно лучше уехать. Ты понимаешь, что мне без России жить нельзя. Я иссяк. Мне писать не о чем. Мне нужны русские люди и русская земля. Я еще многое могу сделать, а здесь я пропал. Да и возврата мне нет.

А Наташа все покупала какие-то крепдешины, складывала их в сундук и говорила, вздыхая:

— Еду сораспинаться с русским народом.

Перед отъездом родился у них сын Митя. Просили меня считать его моим крестником. Не знаю, крестили ли его вообще.

В России в своих новых романах он очень нехорошо отзывался о бывших своих друзьях, которым в свое время многим был обязан. Но он этим никого не удивил и не огорчил. Его понимали и по-прежнему прощали. Литературным его успехам радовались. «Петром Первым» зачитывались[207].

Последний раз видела я Толстого на парижском съезде писателей[208]. Он постарел, лицо его стало длинным, сизым, на голове плешь с начесом.

Мне обрадовался.

— Ты, я слышала, был очень болен, — спросила я. — Правда это?

— Пустяки, — отвечал он и нарочито громко отчеканил: — Просто слишком много пил Шамбертена. А ты, поди, по-прежнему, все живешь в отельчике?

Смотрел победоносно. Хвастал. Бахвалился.

— Эх, Алешка, Алешка. И ни капельки ты не изменился.

О Мережковских

[209]

Мертвецу льстить невозможно.
[210]

Радищев

В своих воспоминаниях люди, близко знавшие Мережковских, упоминают о них не очень тепло.

Андрей Белый (Эпопея. Кн. 2-я) говорит,[211] что Мережковский носил туфли с помпонами и эти помпоны определяют всю жизнь Мережковского. Он и говорит с помпонами, и мыслит с помпонами.

Определение не меткое, но, во всяком случае, недоброжелательное. Впрочем, Андрей Белый и сам был «с помпонами».

А. Ремизов называет Мережковского ходячим гробом. «З. Н. Гиппиус вся в костях и пружинах — устройство сложное, — но к живому человеку никак. Они со щиплющей злостью отвергали всякую жизнь».

Сложное устройство Гиппиус было гораздо сложнее «костей и пружин».

Часто приходилось читать литературные воспоминания о «друзьях» очень злобные. Нечто вроде Страшного суда земного. Обдирают с человека все его покровы и украшения и выволакивают голый труп на посмеяние.

Жестоко и неправильно. Нельзя забывать, что человеком быть очень трудно.

Недавно один писатель, прочитав такие воспоминания, сказал: «Знаете, первый раз в жизни мне подумалось, что умереть страшно».

А мне вспомнилась одна милая петербургская дама, которая говорила про свою приятельницу: «Эта женщина не остановится ни перед какой гнусностью, если это ей выгодно. Можете мне верить — я ее лучший друг».

Рассказывать о Мережковских очень трудно.

Оба они были совсем особенные, совсем необыкновенные, и с обычной меркой к ним не подойдешь. Каждый из них — и Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна Гиппиус — мог быть центральным лицом большого психологического романа, если даже совершенно вычеркнуть их литературные дарования, а просто рассматривать их как людей, которые жили-были.

Их необычайный, почти трагический эгоизм можно было понять, если найти к нему ключ. Ключ этот — полное отделение себя ото всех, отделение как бы органическое, в котором они и не чувствовали себя виноватыми. Гоголевский Хома Брут, очертивший себя кругом.[212] Воющие бесы, летающий гроб с мертвой колдуньей его не коснется. Холодно ему, одинокому, но нет ничего, кроме круга, отделяющего его, отделяющего Мережковских от людей и жизни. И когда им страшно, они деловито ищут святых заступников, украшают цветочками статуэтку св. Терезы[213] и бормочут свои заклинания без веры и без боговдохновения. Когда умер Дмитрий Сергеевич, Зинаида Николаевна так обиделась на св. Терезу, допустившую это зло, что завесила ее статуэтку платком и отставила в сторону. Точно дикарь, который мажет своего божка салом, когда дела идут

хорошо, и сечет его розгами в случае неудачи. Вот какая была эта умная, тонкая и талантливая поэтесса, Зинаида Гиппиус. Неповторимая.

Когда Мережковскому сказали: «Дмитрий Сергеевич, объявлена война», он совершенно спокойно заметил: «Ну что ж, ведь поезда будут ходить».

Поезда будут ходить, значит, можно будет убраться куда-нибудь подальше, чтобы не прорвался очерченный круг, чтобы не коснулась его, Мережковского, трудная, злая жизнь, а что будет там, за священной чертой, — холод, голод, насилие смерть, — это будет с другими, это его не касается.

Жили Мережковские странно и до такой степени реальной жизни не понимали, что даже удивительно было слышать из уст Мережковского такие простые слова, как «уголь», «кипяток», «макароны». Еще «чернила» легче было вынести — все-таки это слово имеет отношение к писанию, к идее… Жили они оба в мире идей, ни человека, ни жизни они не видели и совершенно не понимали. В их писаниях вы не найдете ни одного живого человека. З. Гиппиус откровенно признала, что я права, утверждая, что в ее рассказах действуют не люди, а идеи.

Так как я не собираюсь обсуждать их литературные произведения — а просто рассказать, какими я их встречала в жизни, то, казалось бы, эта их особенность и не имела значения, а между тем в их подходе к людям и к жизни играла огромную роль.

Вокруг них двигались какие-то еле различимые тени, фантомы, призраки. Тени носили имена и что-то говорили, не имеющее значения. Сам Мережковский никогда не разговаривал. Реплики для него роли не играли. Даже отношения к себе того или иного лица они определить не могли, да и не желали. Бывали внимательны (он порою даже анекдотически льстив) к лицу полезному, не особенно интересуясь, кто это и чем эта полезность вызвана.

Любили ли они кого-нибудь когда-нибудь простой человеческой любовью… — не думаю.

Когда-то они очень дружили с Д. Философовым[214]. Долгое время это было неразлучное трио.

Когда в Биаррице прошел слух о смерти Философова, я подумала: «Придется все-таки сообщить об этом Мережковским».

И вот в тот же день встречаю их на улице.

— Знаете печальную весть о Философове?

— А что такое? Умер? — спросил Мережковский.

— Да.

— Неизвестно, отчего? — спросил он еще и, не дожидаясь

ответа, сказал: — Ну идем же, Зина, а то опять опоздаем и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане, — пояснил он мне.

Вот и всё.

В Петербурге мы редко встречались с Мережковскими. Близкое знакомство наше состоялось уже во время эпизода в Биаррице[215]. Там мы виделись очень часто и много беседовали.

В Биаррице Мережковским жилось плохо, как, впрочем, и всем нам. Но им, вероятно, особенно тяжело, потому что всякое житейское неустройство они принимали как личную обиду.

Нам, беженцам, отвели великолепный отель «Мэзон Баск». Каждому прекрасно обставленную комнату с ванной за десять франков в день. Но они и этого не платили. Считали несправедливостью. Делами их заведовал секретарь Владимир Злобин[216], трогательно им преданный друг. Талантливый поэт, он совершенно забросил литературу, отдав себя целиком заботам о Мережковских.

Денег, конечно, было мало, приходилось выкручиваться. Устроили юбилей Дмитрия Сергеевича.[217]

На огромной террасе нашего отеля под председательством графини Г. собрали публику, среди которой мелькали и немецкие мундиры. Мережковский сказал длинную речь, немало смутившую русских клиентов отеля. Речь была направлена против большевиков и против немцев. Он уповал, что кончится кошмар, погибнут антихристы, терзающие Россию, и антихристы, которые сейчас душат Францию, и Россия Достоевского подаст руку Франции Паскаля и Жанны д'Арк.

— Ну, теперь выгонят нас немцы из отеля, — шептали перепуганные русские.

Но присутствовавшие немцы будто и не поняли этого пророчества и мирно аплодировали вместе с другими. Из отеля нас не выгнали, но прожили мы там недолго, потому что его отвели под солдатскую казарму. Пришлось искать пристанища на частных квартирах.

Мережковским удалось устроиться в прекрасной вилле, за которую они, конечно, платить не могли. Дмитрий Сергеевич хворал, думали, что у него язва желудка. Зинаида Николаевна усердно за ним ухаживала.

— Я ему сегодня ночью переменила семнадцать грелок с горячей водой, — рассказывала она. — А потом на меня нашло старческое слабоумие, и я восемнадцатую вылила себе на живот.

Несмотря на его болезнь, они продолжали по воскресеньям принимать знакомых. В большой столовой эти знакомые садились вокруг пустого стола и мирно шутили. В другом конце комнаты в

шезлонге лежал Мережковский и злился. Гостей встречал громким криком:

— Чая нет. Никакого чая у нас нет.

— Вот, мадам Д. принесла печенья, — говорила Зинаида Николаевна.

— Пусть несут. Пусть все несут! — мрачно приказывал Мережковский.

— Ну что, Дмитрий Сергеевич, — спрашивала я, вспоминая его постоянную фразу, — страдания облагораживают, не правда ли?

— Облагораживают, — коротким лаем отвечал он и отворачивался. Мне кажется, что он меня терпеть не мог. Разговаривая со мной, он никогда на меня не смотрел и, говоря обо мне в моем присутствии, называл меня просто «она». Это выходило очень забавно.

Переезжая из отеля на квартиру, когда вещи уже были уложены, я спустилась к Мережковским и попросила у Зинаиды Николаевны какую-нибудь книгу на одну ночь. У них всегда была масса дряни из французских полицейских романов, которые они прилежно читали по вечерам.

— Зина, — сказал Мережковский, — дай ей что-нибудь из завалящих, и пусть она завтра же утром вернет.

Я отвечала Зинаиде Николаевне:

— Нет, «она» выберет что-нибудь получше и вернет, когда будет время. Торопиться «она» и не подумает.

Он сердито отвернулся.

З. Гиппиус очень любезно поискала книгу поинтереснее.

Как-то еще во время пребывания нашего в отеле нашла я у себя под дверью письмо. В нем предлагалось мне и Мережковским перебраться в свободную зону, где нас ждала виза и даровой проезд в Америку. Просили сейчас же дать знать Мережковским. Я пошла к ним.

В ответ на предложение Мережковский страшно рассердился.

— Пусть она им ответит, чтоб они не смели лезть ко мне. И сама пусть не едет.

— Почему же «она» будет так грубо отвечать людям, которые как-то о нас заботятся и любезны с нами? — спросила я.

— Ничуть они не любезны и не заботятся. Им нужны наши имена. Вот и всё. Я предпочитаю ехать в Испанию. У них там есть одна святая, о которой почти не писали. Я о ней напишу книгу, и мне дадут визу. А «она» пусть сидит здесь.

— Опять о святых? — сказала я. — Вас, Дмитрий Сергеевич, как настоящего беса, все тянет юлить около святых.

Но странно, несмотря на его ненависть к «ней» (ненависть

заслуженную, потому что меня всегда толкало поддразнивать его), они почему-то проектировали устроиться на квартире вместе со мной. Этот план вызвал большой и веселый интерес в русской колонии. Всем было любопытно, что-то получится из этого сожительства.

В этот период они проявляли острое отвращение к немцам. Когда мы вместе выходили на улицу, Зинаида Николаевна оглядывалась кругом — не видно ли где немца, и если видно, сейчас же захлопывала калитку и выжидала, чтоб немец прошел. Она даже очень недурно рисовала на них карикатуры.

Жизнь вели Мережковские очень размеренную. Все утро он работал, после завтрака — отдых, потом непременно прогулка.

— Прогулка свет, непрогулка тьма, — говорил он.

У него была совсем искривленная спина, и мне казалось, что ему даже трудно стоять, не опираясь или не прислоняясь к стене, поэтому он всегда тяжело наваливался на руку Зинаиды Николаевны, которая твердо вела его. Она так привыкла чувствовать эту тяжесть на своей правой руке, что, когда мы выходили вместе с нею вдвоем, она всегда просила, чтобы я брала ее под руку и сильнее опиралась.

Мало-помалу к ним стали проникать немцы, приходили молодые, из студентов, на поклон к писателю, которого знали по переводам. Они благоговейно просили автографа. Мережковский с ними в беседу не вступал, только изредка кричал по-русски: «Скажите им, чтоб несли папиросы», или: «Скажите, что нет яиц». Гиппиус иногда разговаривала, но говорила всё неприятные вещи.

— Вы все как машины. Вами командуют начальники, а вы слушаетесь.

— Да ведь мы же солдаты. У нас дисциплина. Мы же не можем иначе.

— Все равно вы машины.

Я подшучивала:

— А вам, наверное, хочется, чтоб у них был Совет солдатских депутатов с лозунгом «Бей офицерьё!»

— Все равно они машины.

Ее сбить не так-то было легко.

Вели себя немцы в Биаррице не очень корректно. С теми, кто к ним подлизывался, были чрезвычайно любезны и предупредительны. Остальных просто не замечали. Мы все были для них как бы прозрачными. Сквозь нас видели дом, толпу, пейзаж. Очень странное чувство — быть таким прозрачным существом.

Был среди немцев какой-то высокочиновный господин. Носил военную форму, но в довоенной жизни был, кажется, просто

банкиром. Какую именно роль играл он как представитель оккупантов, я сейчас не помню, но, судя по заискивающим вокруг него фигурам, роль, вероятно, была важная. Достаточно было зайти ему в кафе, как тотчас срывались с мест и кидались ему навстречу биаррицкие аристократки — «дюшесс де», «контесс де», были даже с двойным «де». Лица восторженно-влюбленные, прямо до слез на глазах. Между прочим, этот чиновный немец, человек пожилой, был отменно некрасив. Созданный по плану гоголевского Собакевича, над которым природа долго не мудрствовала, а тяпнула топором, и ладно, кавалер этот был точно вырезан, вернее, вырублен из крепкого дерева, да еще вдобавок неаккуратно — одна ноздря пошире, другая поуже, один глаз круглый, другой подлиннее. Да он, по-видимому, не особенно о своей внешности и задумывался. Но не в меру восторженное поклонение биаррицких дам начало понемногу явно волновать его. Старая графиня Г., устраивавшая юбилей Мережковского, говорила, что прямо потрясена необычайной внешностью этого немца.

— Вы похожи на рыцаря с портрета Дюрера, — восклицала она.

И бедного немца так развратили, что он стал ломаться и кокетничать. Его как-то видели на городской площади. Он играл с собачкой, предлагал ей кусок сахару. Он улыбался, нагибался, отдергивал руку, дразнил собачку. Это был жест избалованного, капризного балетного танцора, в которого влюблен антрепренер.

К немцу зимой приехала жена. Она уже слышала, что мужем очень увлечена известная в высшем свете французская графиня.

— Она, кажется, уже не молода? — спросила она.

— О да, — отвечал немец. — Ей, пожалуй, больше шестидесяти.

— Да, вы правы, — сказал присутствовавший при разговоре француз. — Ей больше шестидесяти. Ей ровно восемьдесят семь.

Немец даже испугался. Заморгал глазами и попросил, чтобы ему эту цифру перевели по-немецки. Ему перевели. Он долго качал головой и наконец сказал:

— Такие явления возможны только во Франции.

Графиня действительно могла хоть кого сбить с толку. Она сверкала своими черными глазами, грозила пальчиком, темпераментно притопывала ножкой. Ножка, с загнутыми по-старушечьи вверх пальцами и плоской ступней, была похожа на кочергу, но орудовала ею графиня с самыми молодыми приемами. Она чувствовала себя молодой и очаровательной. Когда кто-то при ней восхитился красотой молодой дамы из ее окружения, она страшно расстроилась. Ее компаньонка чуть не

плакала:

— Она всю ночь будила меня и кричала: «Разве можно при мне, при мне находить ее красивой?»

Я спросила З. Гиппиус:

— Как вы думаете — не ведьма ли она?

— Ну, конечно, ведьма.

— А как вы думаете — вылетает ночью в трубу?

— Ну, разумеется, вылетает.

— На помеле?

— А то как же.

Среди прочих удивительных персонажей металась по Биаррицу занятная фигура. Бельгийка. Она имела какое-то отношение к Красному Кресту. Так, по крайней мере, она говорила, и на могучей груди ее, обтянутой закапанной серой шерстью, торчал какой-то значок. Дама эта лихо пила и писала старой графине любовно-просительные письма. Просила о материальной поддержке и начинала обращением: «Votre Beauté!»[218]

Графиня в материальной поддержке не отказывала, но говорила друзьям: «Я, право, боюсь оставаться с ней наедине. Она смотрит на меня такими страстными глазами».

Вот эта замечательная графиня и взяла под свою высокую руку Дмитрия Сергеевича. Зинаидой Николаевной она не интересовалась. Терпела ее только как жену писателя. Дам она вообще не любила. Дама всегда соперница, благовоспитанные люди с дамами любезны, а графиня желала царить безраздельно. Она познакомила Мережковских с немцем «работы Дюрера», устраивала общие завтраки, развернула необычайные перспективы лекций, докладов, поездок. Тут как раз подоспел разрыв немцев с большевиками,[219] и Мережковский смело утвердил свой лозунг — «хоть с чёртом, да против большевиков». Роль чёрта отводилась немцам.

Перспективы были блестящие, но денег все-таки не было.

Помню, я зашла как-то в кафе. За столиком у окна сидели Мережковские. Они меня не видели и продолжали разговор. Зинаида Николаевна слышала очень плохо, и голос Мережковского гудел на всю комнату:

— Они закрыли нам электричество. Володя бегает по городу, ищет свечек. Найти невозможно. Придется сидеть впотьмах.

Он очень волновался. Ложечка дрожала в его руке, звенела об чашку. На бледных щеках выступили красные пятна. И я знала, что свечек в Биаррице не найти.

Их всегда раздражала и даже удивляла, вызывая искреннее негодование, необходимость платить по счету. Зинаида

Николаевна с возмущением рассказывала, как пришел человек, у которого брали напрокат постельное белье.

— Этот негодяй без конца приходит. Вчера ему сказали, что нас нет дома, так он сел в саду и стал ждать. И мы из-за негодяя не могли выйти на прогулку.

В ее раздражении было столько детской наивности, что даже сочувствие испытывалось к ней, а не к человеку, которому не заплатили долга.

Под влиянием графини Мережковскому разрешили прочесть лекцию и дали зал. Народу собралось мало. Сидело несколько явно командированных немецких офицеров. Читал Мережковский так тихо, что я в первом ряду почти ничего не слышала. Сказала ему об этом в антракте.

— Все равно, — обиделся он. — Я громче читать не буду. Пропадут модуляции. Мои модуляции прекрасны. Я их специально отделывал.

Второе отделение окончательно прошептал. Немцы ушли. Последнее время графиня немножко охладела к Мережковскому. Она была занята более важным делом. Она вырабатывала план спасения Франции. Это дело было для нее не новое. Она уже, по ее словам, один раз выровняла государственный бюджет. И знаете как? Она придумала собачьи бега, которые принесли государству миллиарды дохода.

Под влиянием графини Мережковский стал милостивее к немцам. (Это черти, которые работают против большевиков.) И даже стал прозревать в Гитлере Наполеона.

— Зинаида Николаевна! Что это с ним делается? — спрашивала я Гиппиус.

— Это все оттого, что он низкопоклонный. Он сын дворцового служащего. Поэтому он и преклонялся и перед Пилсудским[220], и перед Муссолини. Низкопоклонство.

Жестоко, но, может быть, и верно.

Внешность у Мережковского была особенная. Маленький, худенький, последние годы совсем искривленный, но примечательно было не это — его лицо. Оно было мертвенно-бледно, с ярко-красным ртом, и когда он говорил, были видны также красные десны. В этом было что-то жуткое. Вампир.

Он никогда не смеялся. Вообще они оба абсолютно не понимали юмора. Мережковский даже как-то злобно не понимал. Иногда нарочно расскажешь им какую-нибудь очень смешную историю, просто чтоб посмотреть, что из этого выйдет. Полное недоумение.

— Да ведь это он совсем не то ответил, — говорили они.

— В том-то и дело, что не то. Если бы он ответил правильно, так нечего было бы и рассказывать.

— Да, но зачем же он так ответил?

— Потому что не сообразил.

— Ну так, значит, он просто глуп. Чего же тут интересного?

Зинаида Николаевна все-таки оценила несколько строк из стихотворения Дон-Аминадо[221], человека действительно очень талантливого и остроумного.

Надо восемь раз отмерить,
Чтоб зарезать наконец, —

декламировала она.

Мережковский относился к этому мрачно. Не одобрял.

В. Злобин заступался за Мережковского:

— Нет, он все-таки понимает юмор. Он даже сам как-то сказал каламбур.

За двадцать лет их близкого знакомства один каламбур. Остряк, можно сказать, довольно сдержанный.

Зинаида Николаевна относилась ко мне с любопытством. Она рассматривала меня как некую странную разновидность и часто говорила:

— Я хочу непременно написать о вас. До сих пор никто еще не писал о вас как следует.

— Поздно, — отвечала я. — Все равно вашим указаниям следовать уже не поспею, а мнение читателей обо мне тоже уже давно сложилось, его не переделаете.

Но вот как-то случилось, что попала им в руки моя книга «Ведьма»[222] и почему-то им обоим понравилась.

— Вы в ней перестукиваетесь с вечностью, — говорила Гиппиус.

— Какой язык! — хвалил Мережковский. — Упиваюсь! Упиваюсь!

И тут же прибавил:

— Вы совсем не похожи на ваши произведения. Вот Зина похожа на свои произведения, а вы нет. Эта книга прямо прелестна.

— Боже мой! — воскликнула я. — Вы хотите сказать, что я сама совсем омерзительная. Это ужасно. Но ведь ничего не поделаешь.

— Между прочим, зачем вы в ваших произведениях отводите место комизму? Я не люблю комизма, — сказал он мне как-то.

«Комизмом» он заменял слово «юмор». Вероятно, из презрения.

Тогда я указала ему на отношение Гоголя к юмору.

— Вот послушайте: «Смех значительнее и глубже, чем думают. На дне его заключен вечно бьющий родник,[223] который углубляет предмет. Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. И есть люди, которые не слышат могучей силы смеха. Многие говорят, что смешно — то низко, только тому дают название высокого, что произносится суровым, напряженным голосом».

Мережковский страшно обиделся.

— У меня вовсе не напряженный голос.

— Ну конечно. Всем известно, что у вас модуляции. Это не о вас и писано.

3. Гиппиус часто цитировала свои стихи. Последних ее стихов Мережковский не любил.

— Зина, это не стихи.

— Нет, стихи, — упорствовала она.

— Нет, не стихи, — кричал он.

— Я помирю вас, — вступилась я. — Это, конечно, стихи. Все внешние элементы есть. Есть размер, есть рифма. Это стихи, но не поэзия, прозаические рассуждения в стихотворной форме.

Оба согласились. Я после чтения «Ведьмы» перестала быть «она». Стала «Тэффи».

Как-то я заболела. Пролежала около месяца. Мережковские часто навещали меня, и раз, к всеобщему удивлению, Дмитрий Сергеевич принес фунтик вишен. Купил по дороге. Все переглянулись, и на лицах изобразилось одинаковое: «Вот, а еще раскричали, что “сухарь”».

Мережковский грозно потребовал тарелку и велел сполоснуть вишни.

— Дмитрий Сергеевич, — залебезила я. — Вы не беспокойтесь. Я не боюсь. Сейчас холеры нет.

— Да, — отвечал он мрачно. — Но я боюсь.

Сел в угол и, звонко отплевывая косточки, съел все вишни до последней. Это вышло так забавно, что присутствовавшие боялись взглянуть друг на друга, чтобы не расхохотаться.

Я долго и внимательно приглядывалась к этому странному человеку. Все чего-то искала в нем и не находила. Вспомнила «Сакья Муни». Сам Будда преклонил до земли свою венчанную голову перед страданием нищего вора, сказавшего ему: «Повелитель мира, ты не прав». Ведь были же такие мысли у Мережковского!

И вот как-то, уже незадолго до его смерти, когда они

вернулись в Париж, разочарованные в немецких покровителях, без денег — пришлось продать даже золотое стило, поднесенное в дни Муссолини итальянскими писателями, — сидели мы втроем, и З. Гиппиус сказала про кого-то: «Да, его очень любят».

— Вздор! — оборвал Мережковский. — Сущий вздор! Никто никого не любит. Никто никого.

В этих словах было что-то *патетическое*. Говорились они неспроста. У него все лицо потемнело. Господи! В какой черной яме мучается этот человек… Страшно за него и больно.

— Дмитрий Сергеевич! Почему вы так думаете? Вы просто не видите и не замечаете людей.

— Вздор. И вижу, и знаю.

Может быть, я ошибаюсь, но мне почудились в этих словах и тоска, и отчаяние. Вспомнилось его последнее стихотворение «О одиночество, о нищета». И вспомнился Хома Брут. Гроб с мертвой колдуньей пролетает над самой головой. Страшно…

— Дмитрий Сергеевич! Вы не видите людей. Вот я все подсмеиваюсь над вами, но ведь в сущности я люблю вас.

Сказала, точно перекрестилась.

Он взглянул в недоумении и вдруг ухватился:

— Ну да, вы просто любите мои произведения, но не меня же.

— Нет, по человечеству люблю именно вас, Дмитрия Сергеевича.

Он помолчал, повернулся и медленно пошел в свою комнату. Вернулся и подал мне свой портрет с ласковой надписью.

Портрет этот я сохранила.

Зинаида Гиппиус

[224]

В Петербурге мы с Зинаидой Гиппиус были мало знакомы. Встречались мельком на разных собраниях. Но вплотную и пренеприятно произошла наша встреча на страницах газеты «Речь»[225].

Мне поручили написать отзыв о только что вышедшей книге стихов А. Белого. Кажется, она называлась «Пепел».[226] Книга мне не понравилась. Это была какая-то неожиданная некрасовщина, гражданская скорбь и гражданское негодование, столь Белому несвойственные, что некоторые места ее казались прямо пародией. Помню «ужасную» картину общественного неравенства: на вокзале полицейский уплетает отбивную котлету, а в окне на этот Валтасаров пир[227] смотрит голодный человек. Рассказываю, как удержала память, а перечитывать эту книгу желания никогда не было. Отзыв я о ней дала, соответствующий впечатлению.[228]

Через несколько дней звонят ко мне по телефону из «Речи»:

З. Гиппиус прислала статью по поводу моего отзыва, очень мною недовольна. П. Н. Милюков[229] предлагает прислать мне сейчас же эту статью, чтобы я могла на нее ответить в том же номере. Это была со стороны Милюкова исключительная ко мне любезность.

Я поблагодарила, прочла статью Гиппиус и в том же номере ответила. Ответила так зло, как со мною редко бывало. Но столкновение это ни в ней, ни во мне обиды не оставило.

Близкое знакомство наше состоялось уже во время эпизода в Биаррице. Там мы встречались очень часто и много беседовали. Затем в Париже, после смерти Мережковского, завязалось у нас нечто вроде дружбы. Зинаида Николаевна писала мне: «Всегда ищу предлога прийти к Вам». Иногда мы переписывались в стихах.

Зинаида Гиппиус была когда-то хороша собой. Я этого времени уже не застала. Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были странно закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза.

Одевалась она очень странно. В молодости оригинальничала, носила мужской костюм, вечернее платье с белыми крыльями, голову обвязывала лентой с брошкой на лбу. С годами это оригинальничанье перешло в какую-то ерунду. На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль.

Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько штук сразу, одна на другой. Когда ей предлагали папироску, из этой груды мохнатых обверток быстро, как язычок муравьеда, вытягивалась сухонькая ручка, цепко хватала ее и снова втягивалась.

Когда нас выселили из «Мэзон Баск», Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной, с центральным отоплением. А мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моем умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду, и вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, и я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остро-садистским удовольствием рассказывала, как она каждое утро берет горячую

ванну, и как вся вилла их на солнце, и она, Зинаида Николаевна, переходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты.

Жилось голодно. В лавках, кроме рютабага, ничего не было. И с такой же садистской радостью рассказывала З. Н., что Злобин добыл кролика, «огромного, как свинья». Рассказывала несколько раз. Я слушала ее сочувственно. Я понимала, в чем дело. Ей хотелось, чтобы я позавидовала.

Когда-то было ей дано прозвище Белая Дьяволица. Ей это очень нравилось. Ей хотелось быть непременно злой. Поставить кого-нибудь в неловкое положение, унизить, поссорить.

Спрашиваю:

— Зачем вы это делаете?

— Так. Я люблю посмотреть, что из этого получится.

В одном из своих стихотворений она говорит, что любит игру. Если в раю нет игры, то она не хочет рая. Вот эти некрасивые выходки, очевидно, и были ее «игрой».

Бывала у них в Биаррице пожилая глуповатая дама, довольно безобидная. Говорила, когда полагается, «мерси», когда полагается — «пардон». Когда читали стихи, всегда многозначительно отзывалась: «Это красиво». И вот З. Гиппиус принялась за эту несчастную.

— Скажите, какая ваша метафизика?

Та испуганно моргала.

— Вот я знаю, какая метафизика у Дмитрия Сергеевича и какая у Тэффи. А теперь скажите, какая у вас.

— Это… это… сразу трудно.

— Ну чего же здесь трудного? Скажите прямо.

Я поспешила отвлечь внимание З. Н.

Когда уходили, дама вышла вместе со мной.

— Скажите, у вас есть Ларусс?[230] — спросила она.

— Есть.

— Можно вас проводить?

— Пожалуйста.

Зашла ко мне.

— Можно заглянуть на минутку в ваш Ларусс?

Я уже давно поняла, в чем дело.

— Вам букву «М»?

— Н-да. Можно и «М».

Бедняжка смотрела «метафизику». Но все же следующее воскресенье предпочла пропустить. А я за это время угомонила З. Н.

— Мучить Е. П. — все равно что рвать у мухи лапки.

З. Н. говорила с презреньем:

— Ну вы! Добренькая!

Человеку всегда обидно, когда его считают сладеньким, и я защищалась.

— Я бы поняла, если бы вы пошли на медведя с рогатиной. Но когда вы рвете лапки у мухи — меня тошнит. Это неэстетично.

Любопытно было отношение Мережковских ко всякой нежити. Привидения, оборотни, вся эта компания принималась ими безоговорочно. Вспоминается по этому поводу одна наша беседа, короткая, но требующая длинного предисловия.

Был тихий, туманный день. На пляже народу не было. Бродили только немецкие солдаты.[231] Я хотела было выкупаться, но какая-то густая, черная, жирная грязь сразу облепила ноги, и никак нельзя было ее отмыть. И вдоль всего берега лежала она волнистой каймой, прибиваемая приливом. Солдаты тоже заметили ее и что-то между собой говорили.

— Что это такое? — спросила я.

— Ein Schiff ist kaput![232] — ответили они, переглянулись и замолчали.

И я знала, что они подумали то же, что и я. Да это мазут с погибшего корабля. Взорванного. Если бы просто утонул, не вытек бы мазут.

Чей? Свой? Чужой? Из какого далека принес океан эту черную весть, черную кровь корабля, разлив ее по всему берегу?

Вечером я пошла одна на пляж. Села на скамейку. Недалеко от меня сидели три немца. Разговаривали весело, судя по звуку голоса, — слова до меня не долетали. Было почти темно. Звезд видно не было. Туманная мгла покрывала и небо, и море. Только там, где выступали из воды острые ребра подводных скал, металась, полоскалась белесым платком невысокая пена прибоя. И вот показалось мне, будто там, около дальней скалы, быстро взметнулись широко раскинутые руки. Точно выплеснуло кого-то из черной воды. Взметнулось и исчезло. И вот и у другого камня, левее, взметнулись такие же руки, широко раскинулись и исчезли. И снова на прежнем месте. И вот еще ближе к берегу. И все это так быстро, едва можно уловить движение, почти не улавливая формы.

И вдруг веселые солдаты замолчали. Сразу. Точно оборвали. И совсем затихли, не шевелятся. И чувствовалось, что они тоже смотрят и то же видят. И такая неизъяснимая жуткая тоска была в этой медленно спускающейся тусклой ночи и в этих испуганно замолкших людях, которым кажется, — конечно, кажется, — что из моря посылают им какой-то отчаянный призыв. И всему этому есть название, уже весь день мучившее меня, то, которое я слышала утром, — «Ein Schiff ist kaput».

Вот это что: «Ein Schiff ist kaput». Немцы встали и молча, быстро, все ускоряя шаги, ушли.

Мы тогда еще жили в «Мэзон Баск». Возвращаясь к себе, я проходила мимо комнаты Мережковских. Голос Дмитрия Сергеевича гудел на весь коридор.

— Зина, ты к ней стучалась три раза. Она просто не хочет тебя впустить. Куда же она могла уйти так поздно?

Я поняла, что речь идет обо мне, постучала и вошла.

Мережковский сидел с полицейским романом. Гиппиус расчесывала свои русалочьи волосы.

Я взволнованно рассказала о ночи, о море, о пене прибоя как зовущие руки, о смолкших солдатах.

Мережковский на минуту оторвался от чтения.

— Чего же здесь удивительного? Это просто были мертвецы.

— Ну, конечно, — спокойно подтвердила Зинаида Николаевна. — Ведь они же утонули. Это и были утопленники.

— Ее удивляет, что мертвецы протягивают руки!

Он с недоумением пожал плечами и уткнулся в полицейский роман.

На своей красивой вилле Мережковские прожили всю зиму. Наконец владелец написал им, что денег с них не требует, но очень просит выехать, потому что у него появилась возможность выгодно виллу сдать. Пришлось переехать в пансион.

— Но ведь там очень дорого, — удивилась я.

Зинаида Николаевна махнула рукой.

— Хозяйка говорит, что сразу денег требовать не будет. Ну а потом…

И она снова махнула рукой.

Их денежные дела были очень плохи. Из Парижа шли вести, что их квартиру хотят описывать за неплатеж. Вот уж, действительно, никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. Как сидели без гроша в Биаррице, так и вернулись без гроша в Париж. Снисходительность Мережковского к немцам можно было бы объяснить только одним: «хоть с чёртом, да против большевиков». Прозрение в Гитлере Наполеона затуманило Мережковского еще до расправы с евреями. Юдофобом Мережковский никогда не был. Я помню, как-то сидел у него один старый приятель и очень снисходительно отзывался о гитлеровских зверствах. Мережковский возмутился:

— Вы дружите с Ф.[233] Вы, значит, были бы довольны, если бы его как еврея арестовали и сослали в лагерь?

— Если это признают необходимым, то я протестовать не стану.

Мережковский молча встал и вышел из комнаты. Когда его пошли звать к чаю, он ответил:

— Пока этот мерзавец сидит в столовой, я туда не пойду.

После смерти Мережковского этот самый гитлерофил просил разрешения у З. Гиппиус прийти к ней выразить свое сочувствие. Она ответила:

— Это совершенно лишнее.

В Биаррице была хорошая русская церковь, но Мережковские в нее не ходили. Они ходили в католическую. Раз я уговорила их пойти на Пасхальную заутреню. Мережковскому очень понравилось, как батюшка служит.

— Он так пластично танцевал перед алтарем.

Я уж жалела, что повела его.

Он был очень доволен этой фразой и часто ее повторял. И я всегда думала: «Господи, хоть бы он перестал!»

Они любили католическую святую маленькую Терезу из Лизье. В парижской квартире у них стояла ее статуэтка, и они приносили ей цветы.

После смерти Дмитрия Сергеевича мы сошлись ближе с Зинаидой Николаевной. Мне всегда было с ней интересно. И лучше всего, когда мы оставались с ней вдвоем или втроем. Третьим был очаровательный И. Г. Лорис-Меликов[234], старый дипломат, человек блестяще, всесторонне образованный. Он великолепно знал мировую классическую литературу, старых и новых философов и учил З. Гиппиус мольеровскому стихосложению.

Я ценила нашу дружбу. У Зинаиды Николаевны народ собирался по воскресеньям, но тесный кружок тайно — по средам. К ней можно было прийти, без всяких светских предисловий сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный, интересный разговор.

Иногда приходил на «тайные» сборища и ее друг, поэт Мамченко[235]. Он был очень нервный, и споры с З. Н. происходили у них пылкие и иногда очень занятные. Она совсем плохо слышала, и Мамченко горячился и надрывался, а она спокойно и упрямо настаивала на своем, не слушая, вернее — не слыша его.

— Зинаида Николаевна, вы притворяесь!.. Вы отлично слышите! Боже мой! Это не Кирхегард, это философское воскрешенье мертвых Федорова…[236] Вы нарочно!

— Никогда ничего подобного Розанов не писал, — спокойно цедила Гиппиус.

— Господи! Да при чем тут Розанов? — надрывался Мамченко. — Вы все это нарочно!.. Вы отлично меня слышите.

— Никогда Розанов этого не писал.

— Господи! Это в вас злая воля! Вы просто не хотите слышать.

— Никогда Розанов…

Как знать, может быть, и правда слышала и только устраивала свою «игру» Белой Дьяволицы.

Они очень дружили.

— Это мой друг номер первый, — говорила она. И он был предан до конца, до последних дней ее жизни.

Как-то зашел у нас разговор об одной общей знакомой, очень религиозной и чрезвычайно боящейся Страшного суда.

— А вы? — спросила я З. Н. — Вы боитесь Страшного суда?

— Я?!

Она выразила и лицом, и жестами исключительное возмущение.

— Я? Вот еще! Скажите, пожалуйста! Очень нужно!

Подобного презрения к загробной жизни я еще никогда не встречала. Загробная жизнь ею не отрицалась, но чтобы Господь Бог взял на себя смелость судить Зинаиду Гиппиус, она же Антон Крайний, — это даже допустить было нелепо.

Где подход к этой душе? В каждом свидании ищу, ищу…

Кто-то прислал мне открытку. На ней мордочка милого котенка, умилительно детская, наивная, доверчивая… Показала Зинаиде Николаевне. И вдруг лицо у нее просветлело, совсем как при чтении хороших стихов. Она цепко схватила открытку.

— Я возьму себе.

— Хорошо, — согласилась я. — Но не навсегда, а только на посмотрение. Мне такая мордочка самой нужна.

Она унесла и долго не хотела возвращать.

«Вот, — подумала я. — Здесь некий ключ. Поищем дальше».

Как-то в одном моем стихотворении ее остановили слова о приснившемся мне, когда я была еще маленькой девочкой, тигренке. Он помогал мне плести косичку.

И так заботился мило,
Пушистый, тепленький зверь…

Вот это «пушистое и тепленькое» заставило ее улыбаться. И потом отметила я строки ее собственного стихотворения:

Хочу недостижимого,[237]
Чего, быть может, нет,
Дитя мое любимое,
Единственный мой свет.
Твое дыханье нежное
Я чувствую во сне,
И покрывало снежное
Легко и сладко мне.

Может быть, это ключ. «Дитя мое любимое, единственный мой свет»… Та нежность, которой для нее нет на свете и о которой и говорить стыдится она в своем пышном облике Белой Дьяволицы со мной, с «добренькой» своей собеседницей. И всегда с тех пор замечала — все простое, милое, нежное, тепленькое всегда волновало ее, и волнение это она застенчиво прятала.

Мы много говорили о литературе. И странно, почти всегда были согласны друг с другом. Как-то, рассуждая о современных писателях — кто из них талантлив, — в результате нашли, что, собственно говоря, все талантливы. Но зайдя ко мне на следующий день, она радостно воскликнула:

— Нашла! Нашла!

— Кого? Что?

— Нашла бездарность. Неоспоримую.

И назвала имя. Действительно, спорить было нельзя.

— Вы странный поэт, — говорила я ей. — У вас нет ни одного любовного стихотворения.

— Нет, есть.

— Какое же?

— Единый раз вскипает пена[238]
И разбивается волна.
Не может сердце жить изменой,
Любовь одна…

— Это рассуждение о любви, а не любовное стихотворение. Сказали ли вы когда-нибудь в своих стихах — «я люблю»?

Она промолчала и задумалась. Такого стихотворения у нее не было.

Мы часто и много говорили о поэтах. Одинаково признали лучшим поэтом эмиграции Георгия Иванова[239]. Говорили о магии стихов, которую я называла радиоактивностью. Откуда она? В чем ее сила?

— Вот, — приводила я для примера известное стихотворение

«Весна, выставляется первая рама…» Оно кончается словами:

Где, шествуя, сыплет цветами весна.[240]

И именно эта фраза бесспорно радиоактивна. Почему? Может быть, потому, что все стихотворение — простое, говорит о простых вещах — о колесе, об оконной раме. И потом вдруг торжественное слово — «шествуя», и потом — «цветами», это ударение на широком «а» переключает все в мир восторга. Но ведь научиться этому нельзя и нарочно придумать невозможно. Это и есть «магия», дар.

Разбирая стихи, мы всегда были душевно вместе, и я думала: вот это то существо, та часть души З. Гиппиус, с которой я хочу общаться. Привыкнув ко мне, она перестала «играть» и фокусничать, была собеседницей умной, чуткой и всегда интересной. Она даже бросила свой прежний, всегда раздражающий тон, которым она давала понять, что у них с Дмитрием Сергеевичем давно все вопросы решены, все предусмотрено и даже предсказано. Надо заметить, что предсказания эти большею частью делались и записывались задним числом. Ну да это простительно.

Как-то заговорили об эпохе Белой Дьяволицы.

— Мы с моей маленькой сестрой были потрясены вашим стихотворением:

Но люблю я себя, как Бога.
Любовь мою душу спасет.[241]

Ужасно это нам понравилось. Прямо пронзило. Потом-то уж вы нас ничем не удивляли. Это тогда вы носили мужской костюм и повязку с брошкой на лбу?

— Ну да. Я тогда любила эти фокусы.

— Да, это бывает, — вздохнула я. — А я в свое время носила часы на ноге и вместо лорнета плоский аметист.

— Нерон носил изумруд.

— Аметист лучше. Это камень духовной чистоты. Он среди древних двенадцати камней первосвященника, а папа благословляет каноников перстнем с аметистом.

Мудрых схимников лампада,[242]
Бледных девственниц услада,
Радость тех, кто сердцем чист,

Камень Аметист.

Если смотреть через этот камень, то самая пошлая физиономия несколько преображается.

— А может быть, и нет, — вставила Белая Дьяволица.

В. Мамченко подарил Зинаиде Николаевне кошку. Кошка была безобразная, с длинным голым хвостом, дикая и злая. Культурным увещеваниям не поддавалась. Мы называли ее просто Кошшшка, с тремя «ш». Она всегда сидела на коленях у З. Н. и при виде гостей быстро шмыгала вон из комнаты. З. Н. привыкла к ней и, умирая, уже не открывая глаз, в полусознании все искала рукой, тут ли ее Кошшшка.

Какие-то немцы, большей частью выходцы из России, писали ей почтительные письма. Как-то она прочла мне: «Представляю себе, как Вы склоняете над фолиантами свой седой череп». Этот «седой череп» долго нас веселил.

Последние месяцы своей жизни З. Н. много работала, и всё по ночам. Она писала о Мережковском.[243] Своим чудесным бисерным почерком исписывала она целые тетради, готовила большую книгу. К этой работе она относилась как к долгу перед памятью «Великого Человека», бывшего спутником ее жизни. Человека этого она ценила необычайно высоко, что было даже странно в писательнице такого острого, холодного ума и такого иронического отношения к людям. Должно быть, она действительно очень любила его. Конечно, эта ночная работа утомляла ее. Когда она чувствовала себя плохо, она никого к себе не допускала, никого не хотела. Я очень жалела ее, но часто приходить не могла. Она почти совсем оглохла, и надо было очень кричать, что для меня было трудно.

Одно время она почувствовала себя лучше и даже сделала попытку снова собирать у себя кружок поэтов. Но это оказалось слишком утомительным, да и глухота мешала общению с гостями.

Как-то после долгого отсутствия зашла я к ней и узнала, что она решилась пойти к парикмахеру сделать «индефризабль»[244], что очень плохо отразилось на ее здоровье. У нее отнялась правая рука.

— Это оттого, что Дмитрий Сергеевич, гуляя, всегда опирался на мою руку, — говорила она.

И мне казалось, что эта мысль ей приятна потому, что она давала желанный смысл и как бы освящала ее страдания.

Последние дни она лежала молча, лицом к стене, и никого не

хотела видеть. Дикая кошка лежала рядом с ней.

В. А. Злобин говорил, что настроение у нее было очень тяжелое.

Вспоминалось ее чудесное стихотворение, написанное давно-давно. Она говорила о своей душе:

…И если боль ее земная мучит,[245]
Она должна молчать.
Ее заря вечерняя научит,
Как надо умирать.

О, если бы так! Не научили нас вечерние зори никогда и ничему…

В последний раз увидела я ее лежащей среди цветов.

Ей покорно сложили тихие руки, причесали обычной ее прической, чуть-чуть подкрасили щеки. Все как прежде. Но лоб ее, где когда-то красовалась декадентская повязка с брошкой, смиренно и мудро обвивал белый венчик с последней земной молитвой.

— Недолгий друг мой, — шептала я, — не были вы тепленькой. Вы хотели быть злой. Это ярче, не правда ли? А ту милую нежность, которую тайно любила ваша душа, вы стыдливо от чужих глаз прятали. Я помню ваше стихотворение об электрических проводах. В них ДА и НЕТ.

Соединяясь, они сольются…[246]
И смерть их будет Свет.

Что мы знаем, недолгий друг мой? Может быть, за вашими холодными закрытыми глазами уже сияет этот тихий свет примирения с вечным…

Я нагнулась и поцеловала сухую мертвую ручку.

Бальмонт

[247]

К Бальмонту у нас особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он — наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем.

Теперь некоторым начинает казаться, что не так уж велик был вклад бальмонтовского дара в русскую литературу. Но так всегда и бывает. Когда рассеется угар влюбленности, человек с удивлением спрашивает себя: «Ну чего я так бесновался?» А Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все, от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки:

Открой мне счастье,
Закрой глаза…[248]

Либеральный оратор вставлял в свою речь:

Сегодня сердце отдам лучу…[249]

А ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-Товарная, где телеграфист говорил барышне в мордовском костюме:

Я буду дерзок — я так хочу.

У старой писательницы Зои Яковлевой, собиравшей у себя литературный кружок, еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом. Тогда хозяйка просила молодого драматурга Н. Евреинова прочесть что-нибудь. И Евреинов, не называя автора, декламировал бальмонтовские «Камыши»,

Камыш-ш-ши шуршат…[250]
Зачем огоньки между ними горят…

Декламировал красиво, с позами, с жестами. Слушатели в восторге кричали: «Чье это? Чье это?»

— Это стихотворение Бальмонта, — торжественно объявляла Яковлева.

И все соглашались, что Бальмонт прекрасный поэт.

Потом пошла эпоха мелодекламации.

В моем саду сверкают розы белые,[251]
Сверкают розы белые и красные,
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные.

Декламировала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич[252].

Ходотов пламенно безумствовал, старательно пряча рифмы. Актерам всегда кажется, что стихотворение много выиграет, если его примут за прозу. Вильбушевич разделывал тремоло и изображал море хроматическими гаммами. Зал гудел восторгом.

Я тоже отдала свою дань. В 1916 году в московском Малом театре шла моя пьеса «Шарманка Сатаны». Первый акт этой пьесы я закончила стихотворением Бальмонта. Второй акт начала продолжением того же стихотворения. «Золотая рыбка»[253]. Уж очень оно мне понравилось. Оно мне нравится и сейчас.

В замке был веселый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Легкие качели.

И кружились под луной,
Словно вырезные,
Опьяненные весной
Бабочки ночные.

Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы зыбко,
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.

Хоть не видели ее
Музыканты бала,
Но от рыбки, от нее,
Музыка звучала… и т. д.

Пьеса была погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого. И эта сказка о рыбке такой милой, легкой, душистой струей освежала ее, что не могла не радовать зрителей и не подчеркивать душной атмосферы изображаемой среды.

Бывают стихи хорошие, отличные стихи, но проходят мимо, умирают бесследно. И бывают стихи как будто банальные, но есть в них некая радиоактивность, особая магия. Эти стихи живут. Таковы были некоторые стихи Бальмонта.

Я помню, приходил ко мне один большевик — это было еще до революции. Большевик стихов вообще не признавал. А тем более декадентских (Бальмонт был декадентом). Из всех русских стихов знал только некрасовское:

> От ликующих, праздно болтающих,[254]
> Обагряющих руки в крови
> Уведи меня в стан погибающих…

Прочел, будто чихнул четыре раза.

Взял у меня с полки книжку Бальмонта, раскрыл, читает:

> Ландыши, лютики, ласки любовные,[255]
> Миг невозможного, счастия миг.

— Что за вздор, — говорит. — Раз невозможно, так его и не может быть. Иначе оно делается возможным. Прежде всего надо, чтобы был смысл.

— Ну так вот слушайте, — сказала я. И стала читать:

> Я дам тебе звездную грамоту,[256]
> Подножием сделаю радугу,
> Над пропастью дней многогромною
> Твой терем высоко взнесу…

— Как? — спросил он. — Можно еще раз?

Я повторила.

— А дальше?

Я прочитала вторую строфу и потом конец:

> Мы, будем в сияньи и пении,
> Мы будем в последнем мгновении,
> С лицом, обращенным на юг.

— Можно еще раз? — попросил он. — Знаете, это удивительно! Собственно говоря, смысла уловить нельзя. Я по крайней мере не улавливаю. Но какие-то образы возникают. Интересно — может, это дойдет до народного сознания? Я бы хотел, чтобы вы мне записали эти стихи.

Впоследствии, во время революции, мой большевик выдвинулся, стал значительной персоной и много покровительствовал братьям-писателям. Это действовала на него магия той звездной грамоты, которую понять нельзя.

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает. Не думаю, чтобы такое мнение было безупречно верно. Но дело в том, что Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно.

Помню, поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелисанду» в переводе Брюсова[257]. Брюсов приехал на премьеру и во время антрактов стоял у рампы лицом к публике, скрестив руки, в позе своего портрета работы Врубеля[258]. Поза, напыщенная, неестественная и для театра совсем уж неуместная, привлекала внимание публики, не знавшей Брюсова в лицо. Пересмеиваясь, спрашивали друг друга: «Что означает этот курносый господин?»

Ожидавший оваций Брюсов был на Петербург обижен.

Как встретилась я с Бальмонтом

Прежде всего встретилась я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта.

Тебя я хочу, мое счастье,[259]
Моя неземная краса!
Ты — солнце во мраке ненастья,
Ты — жгучему сердцу роса!

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно.

Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

— Si blonde, si gaie, si femme[260], — приветствовал он меня.

— A вы si monsieur[261] — сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу.[262]

Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящей сенсацией. Как все радовались!

— Приехал! Приехал! — ликовала Анна Ахматова. — Я видела его, я ему читала стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс — Сафо[263] и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью — меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была дважды обвернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена[264], существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц — «жен-мироносиц».

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь, — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая собака» находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно.

— Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как,

по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

— Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

— Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены.

— Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему всё. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким[265]. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

— Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках? — спрашивал он.

— М-м-да, — тянул Бальмонт. — Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

— М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

— Скажите, — спросила я деловито, — как по-фински четырнадцать?

Последовало неловкое молчание.

— Оригинальный вопрос, — обиженно пробормотал Ляцкий.

— Только Тэффи может придумать такую неожиданность, — деланно засмеялся Бальмонт.

Но ни тот, ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское «четырнадцать» и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами. Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии Древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Верхлицкого[266]. Может быть, просто по знакомству.

— Кошка, кошка, куда ты идешь?
— Я иду в колодезь.
— Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?
— Пить молоко.

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно-обиженным тоном. Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставлять новое стекло не имело никакого смысла — оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

— Ужасная квартира, — говорили они. — Нет стекла и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она и, голая, залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

— Вы, очевидно, ее мать?

— Да.

Еще внимательнее на Бальмонта.

— А вы отец?

— М-м-м-да.

Доктор развел руками.

— Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька[267], нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная.

Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.

Как нимб, любовь, твое сиянье[268]
Над каждым, кто погиб, любя.

Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.[269]

Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любуется ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья, и, смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов.

Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорар, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности».

— Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, — говорил он своей Елене.

Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:

— Елена была еще в своем ночном лике.

Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.

Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияло над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?

И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренне. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».

Простая фраза «Муж хочет пить» на их языке произносилась как «Поэт желает утолиться влагой».

Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и называлось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бобо» — вместо «больно», «баиньки» — вместо «спать», «бяка» — вместо «плохой». Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.

Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.

— Вы ездили в Виши?[270]

— Да, ездила. Только что вернулась.

— Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»)

— Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.

И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским и он смеется.

То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль»[271] и дал мне за него индульгенцию — отпущение грехов.

— За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.

— Неужели двух? — обрадовалась я. — Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.

Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей птицы»[272].

— Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.

Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.

Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.

Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали, громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.

И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.

В замке был веселый бал,
Музыканты пели…

Бальмонт!

И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся, и мелькает в пруду волшебная рыбка.

Но от рыбки, от нее
Музыка звучала…

Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.

— Милый Бальмонт!

Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.

Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.

45 лет

[273]

Это было вскоре после японской войны. 45 лет тому назад. Время было удивительное, и вспоминается оно какими-то обрывками, словно кто-то растерял листики дневника и перепутались трагические записи с такими нелепыми анекдотами, что только плечами пожимаешь: неужели все это было? Неужели были такими и дела, и люди, и мы сами?

Да, это именно так и было.

Россия вдруг сразу полевела. Студенты волновались, рабочие бастовали, даже старые генералы брюзжали на скверные порядки и резко отзывались о личности государя.

Иногда общественная левизна принимала прямо анекдотический характер: саратовский полицмейстер, вместе с революционером Топуридзе, женившимся на миллионерше, начал издавать легальную марксистскую газету. Согласитесь, что дальше идти уже было некуда.

Петербургская интеллигенция переживала новые настроения сладостно и остро. В театре поставили «Зеленого попугая»[274], пьесу из времен французской революции, до тех пор запрещенную; публицисты писали статьи и сатиры, расшатывающие строй; поэты сочиняли революционные стихи; актеры декламировали эти стихи с эстрады под восторженные аплодисменты публики.

Университет и Технологический институт были временно закрыты, и в их помещении устраивались митинги, в которые очень легко и просто проникали буржуазные городские обыватели, вдохновлялись, тогда еще новыми, криками «правильно» и «долой» и несли к друзьям и в родные семьи плохо осознанные и плохо высказанные идеи.

В продаже появились новые иллюстрированные журналы. «Пулемет» Шебуева[275] и еще какие-то. Помню, на обложке одного из них красовался отпечаток окровавленной ладони. Они вытеснили благочестивую «Ниву» и раскупались совершенно неожиданной публикой.

Как-то встретилась я у моей матери с ее старой приятельницей Л-ой, вдовой сановника. Сановник этот был другом Каткова и вообще из тех, которых потом называли «зубрами».

— Хочу почитать «Пулэмэт», — говорила сановница, выговаривая почему-то это страшное слово через оборотное «э». — Но сама купить не решаюсь, а Егора посылать неловко. Я чувствую, что он не одобряет новых течений.

Егор был ее старый лакей.

Там же встречала я своего дядюшку, бывшего в придворных кругах. Когда мы были детьми, он приносил нам конфеты с царского стола (это было очень принято). Конфеты, изделия царского кондитера, были в белых бумажках с выстриженными кончиками. Мы грызли их с благоговением. Мама сказала дядюшке, указывая на меня:

— Вот она знакома с социалистами.

Сказала таким тоном, как говорилось бы про дикаря, съедающего сырую куропатку вместе с перьями. Нечто противное и вместе с тем удивительное.

«Ну, начнется буря!» — подумала я.

И вдруг — ничуть не бывало. Дядюшка лукаво улыбнулся:

— Ну что ж, дружок, молодежь должна шагать в ногу с веком.

Вот уже чего я действительно не ожидала! А вот как случилось, что я начала шагать в ногу с веком.

В нашем дружеском кругу постоянно бывал некто К. П-в[276], сын сенатора, тесно связанный, к недоумению своего отца, с социал-демократами. Это была мятущаяся душа, раздиравшаяся между брошюрой Ленина «Шаг вперед, два шага назад» и стихотворениями Бальмонта.

— Вы непременно должны ехать в Женеву к Ленину, — говорил он мне.

— К Ленину? Зачем мне к Ленину?

— Как зачем? Учиться. Это именно то, что вам нужно.

Я тогда только начала печататься. Печатали меня «Биржевые ведомости». Газета эта бичевала преимущественно «отцов города, питавшихся от общественного пирога». Я помогала бичевать. Как раз в это время злобой дня был план городского головы Лелянова — засыпать Екатерининский канал. Я написала басню «Лелянов и канал».

Свой утренний променад однажды совершая,
Лелянов как-то увидал
Екатерининский канал.
И говорит: «Какая вещь пустая!
Ни плыть, ни мыть, ни воду пить.
Каналья ты, а не канал.
Засыпать бы тебя, вот я б чего желал».
Так думал голова, нахмурив мрачный лоб,
Вдруг из канала вынырнул микроб
И говорит: «Остерегись, Лелянов,
Ты от таких величественных планов» и т. д.

Государь был против леляновского проекта, и басня ему очень понравилась. Издатель газеты Проппер был «высочайшею пожалован улыбкой», прибавил мне две копейки. В те времена из всех газетных сотрудников только один Немирович-Данченко[277] получал легендарный оклад: десять копеек.

Словом, карьера передо мной развертывалась блестящая. При чем тут Ленин? И чему еще можно у него научиться?

Но К. П-в вел пропаганду. Для начала познакомил меня с загадочной особой, Валерией Ивановной. Вскоре выяснилось, что это кличка, а зовут ее как-то иначе. На вид было ей за тридцать, лицо усталое, на носу пенсне. Часто просила разрешения привести с собой какого-нибудь интересного знакомого. Так привела Каменева[278], Богданова[279], Мандельштама[280], Финна-Енотаевского[281], Коллонтай[282].

Ее друзья мало обращали на меня внимания и больше разговаривали между собой о вещах, совершенно мне неизвестных и непонятных. О каких-то съездах, резолюциях, кооптациях. Часто повторялось слово «твердокаменный», часто ругали каких-то меньшевиков и часто цитировали Энгельса, сказавшего, что на городских улицах вооруженная борьба невозможна. Все они, очевидно, были очень дружны между собой, потому что называли друг друга товарищами. Раз привели совсем простого рабочего. И его тоже называли товарищем. Товарищ Ефим. Тот больше молчал, а потом надолго исчез. Сказали мельком, что он арестован.

Через несколько месяцев Ефим появился снова, но в преображенном виде: новенький светлый костюмчик и ярко-желтые перчатки. Ефим сидел, подняв руки и растопырив пальцы.

— Чего вы так?

— Боюсь попачкать перчатки. Меня переодели буржуем, чтобы я не привлекал внимания.

Камуфляж очень неудачный. Именно в этом виде он был так живописен, что нельзя было на него не оглянуться.

— Вы сидели в тюрьме? Тяжело было?

— Нет, не особенно.

И вдруг с добродушной улыбкой:

— На Рождество давали гуся (с ударением на «я»).

Но напрасно я удивлялась на ефимовский маскарад. Скоро пришлось убедиться, что это не так глупо, как кажется неопытному глазу. Валерия Ивановна уехала месяца на два за границу и вернулась в ярко-красной кофточке.

— Почему это вы так нарядились?

Оказывается, что она ехала по фальшивому паспорту, выданному на имя шестнадцатилетней безграмотной девицы. Товарищи решили, что, нарядив пожилую женщину с усталым интеллигентским лицом и пенсне на носу в красную кофту, сразу превратят ее в безграмотного подростка. И оказались правы. Пограничные жандармы поверили, и Валерия Ивановна в красной кофте въехала в Петербург.

Впоследствии, когда появилась газета «Новая жизнь»[283], еще искуснее скрывался от полиции Ленин. Выходя из редакции, он просто подымал воротник пальто. И ни разу не был узнан шпиками, хотя, конечно, слежка за ним была.

Стали появляться приезжие из-за границы. Большею частью из Швейцарии. Разговоры велись все те же. Ругали меньшевиков, часто упоминали Плеханова, причем выговаривали «Плеканов».

— Почему?

— Так привыкли в Швейцарии.

Многие с гордостью сообщали мне, что Плеханов происходит из старого дворянского рода. Почему-то это им льстило. Мне казалось, что Плеханов чем-то неприятно их волнует, и что им очень хочется чем-то его убедить, и что они боятся, как бы он не ушел от них.

В этой компании очень выделялась Коллонтай. Это была светская, очень красивая молодая дама, одевалась изящно и элегантно и кокетливо шевелила носиком. Помню, был женский съезд, она выступила и начала свою речь словами:

— Не знаю, каким языком говорить, чтобы меня поняли буржуазные женщины.

А была она в великолепном бархатном платье, и золотая цепочка с привешенным к ней медальоном-зеркальцем висела до колен. Я заметила, что товарищи гордились элегантностью Коллонтай. Не помню, по какому именно случаю и когда — она была арестована. Газеты отметили, что, отправляясь в тюрьму, она повезла с собой четырнадцать пар башмаков. Товарищи повторяли эту цифру с большим уважением, даже понижая голос. Совсем также, как говоря о дворянстве «Плеканова».

Как-то она позвала нас к себе. Валерия Ивановна повела нас по кошачьей лестнице. Попали прямо в кухню. Изумленная кухарка спросила:

— Это вы к кому же?

К това… к Коллонтай.

— Так чего же вы по черному-то ходу? Пожалуйте в кабинет.

Валерии Ивановне, очевидно, и в голову не приходило, что товарищ Коллонтай живет по парадной лестнице.

В большом, прекрасно обставленном кабинете встретил нас друг Коллонтай Финн-Енотаевский, высокий остролицый брюнет, с головой, похожей на австрийский кустарник. Каждый волос вился отдельно твердой длинной спиралью. Думалось, что под ветром эти спирали звенят.

Подали чай с печеньем; всё как полагается в буржуазных домах, но разговоры пошли опять все те же: меньшевики… Энгельс сказал… твердокаменный… Плеканов… Плеканов… Плеканов… меньшевики… кооптация.

Все это было чрезвычайно скучно. Разбирались какие-то мелкие дрязги, кто-то ездил за границу, привозил бестолковые партийные сплетни, кто-то рисовал карикатуры на меньшевиков, которые по-детски веселили бородатых «твердокаменных» марксистов. Между ними уютно фланировали матерые провокаторы, о роли которых узнавали только много времени спустя.

Рассказывали, что меньшевики обвиняют Ленина в том, что он якобы «зажилил 10 франков, предназначенных для меньшевиков». Именно так и говорилось: «зажилил». За границей меньшевики срывали доклады большевиков; мяукали, когда выступал Луначарский, и даже пытались утащить входную кассу, которую большевики отстояли, пустив в ход кулаки.

Все эти беседы для постороннего человека были неинтересны и уважения к беседующим не вызывали. Они никогда не говорили о судьбах России, никогда не волновало их то, что мучило старых революционеров, за что люди шли на смерть. Жизнь шла мимо них. И часто какое-нибудь важное событие — забастовка большого завода, какой-нибудь крупный бунт — заставало их

врасплох и поражало неожиданностью. Они поспешно посылали «своих», и те, конечно, опаздывали. Так проморгали они гапоновское движение[284] да и многое другое, о чем потом досадовали.

Но жизнь их мало интересовала. Они были по уши погружены в съезды, кооптации и резолюции.

Среди «товарищей» был некто вполне буржуазного типа, П. П. Румянцев[285]. Веселый, остроумный, любитель хорошо покушать и поухаживать за дамами, часто посещавший литературный ресторан «Вена» и очень забавно рассказывавший о своих товарищах. Как-то непонятно было, какую роль мог он играть, и в его «твердокаменность» верилось плохо.

— У нас утонул пароход с оружием — есть от чего быть не в духе, — бодро говорил он. И прибавлял со вздохом: — Едемте в «Вену», хорошенько позавтракаем. Наши силы еще нужны рабочему движению.

Ну что ж поделаешь? Раз наши силы нужны, ехали их поддерживать. От гражданского долга отказываться нельзя.

Финна-Енотаевского я встречала редко. Но раз явился он совершенно неожиданно с очень странной новостью:

— На завтра назначено массовое выступление пролетариата. В Саперном переулке в редакции журнала «Вопросы жизни»[286] устраиваем приемный пункт. Будет фельдшерица и материалы для перевязки раненых и убитых.

Я немножко растерялась. Будут перевязывать убитых?

Но Финну дело казалось вполне естественным. Он порылся в бумажнике и протянул мне десять рублей:

— Вот вам на расходы. Будьте на пункте ровно в три часа. Кроме того, вам поручается пойти сегодня же на Литейную в дом номер пять и передать доктору Прункину, чтобы непременно пришел в Саперный переулок в редакцию «Вопросов жизни» ровно в три часа. Не забудьте и не спутайте. Прункин, Литейная, десять, то есть пять. Улица Прункина…

— А на что мне десять рублей?

— На расходы.

— А П-в — тоже будет?

— Должен быть. Так не забудьте и не спутайте. И будьте пунктуальны. Нужна дисциплина, господа, иначе провалите дело. Итак, ровно в пять доктор Литейный. Записывать нельзя. Нужно помнить.

Зазвенел спиралями и умчался.

Редакцию «Вопросов жизни» я знала хорошо и даже была приглашена сотрудничать в этом журнале. Редакторами, насколько помню, были Н. А. Бердяев[287] и С. Н. Булгаков[288]

(впоследствии Отец Сергий). Секретарем был наш друг Георгий Чулков, а заведовал хозяйственной частью Алексей Михайлович Ремизов. Жена его, Серафима Павловна[289], корректировала рукописи. Словом — народ всё знакомый. Помню, как-то в разговоре Бердяев сказал мне:

— Вы, кажется, водитесь с большевиками? Советую вам держаться от них подальше. Я всю эту компанию хорошо знаю — был вместе в ссылке. Никаких дел с ними иметь нельзя.

Так как я, собственно говоря, никаких «дел» с ними и не имела, то предупреждение Бердяева меня и не смутило.

И вот теперь в этой редакции назначен пункт явно большевистский, потому что распоряжается делом Финн-Енотаевский. Или он действует просто как член какой-то санитарной комиссии по перевязке убитых? Успокаивает мысль, что П-в будет там. Он все объяснит. Все это, конечно, странно, но отступать нельзя. В руках у меня десять рублей и на совести ответственное поручение. Надо действовать. Пошла на Литейную.

Ни в доме номер пятый, ни в доме номер десятый никакого доктора не оказалось. Спрашиваю, что, может, все-таки есть доктор, но не Прункин. Или есть Прункин, но не доктор. Никого нет. Ни доктора, ни Прункина. Очень расстроенная вернулась домой.

В первый раз пролетариат дал мне ответственное поручение, и вот, ничего не смогла. Если узнают мои сановные старички — уж, наверное, запрезирают меня. Одно успокаивало — старый приятель К. П. будет на пункте. Он меня выгородит.

На другой день с утра прислушивалась: не стреляют ли где. Нет, все было тихо. Ровно в три часа (дисциплина, господа, важнее всего) пошла на пункт. В дверях редакции столкнулась с К. П.

— Ну что?

Он пожал плечами:

— Да ровно ничего и никого.

Пришла какая-то девица и принесла пакет гигроскопической ваты. Посидела минут пять и ушла. И вату унесла.

На другой день явился Финн.

— Знаете, — сказала я, — никакого доктора на Литейной ни в пятом, ни в десятом номере я не нашла.

— Не нашли? — ничуть не удивился он. — Ну, значит, с вами революции не сделаешь. Давайте назад десять рублей.

— Значит, если бы я нашла доктора, вы бы сделали революцию?

Он метнул спиралями и умчался.

— Ваши друзья мне надоели, — сказала я П-ву. — Нельзя ли

их как-нибудь отвадить?

— Подождите еще немного. Скоро должен приехать Ленин. Не надо только никому об этом говорить. Он приедет нелегально. Тогда, наверно, будет интересно. Подождите. Очень прошу вас.

Стала ждать Ленина.

«Новая жизнь»

[290]

Максим Горький обратился ко мне с просьбой: из провинции получаются разные сведения, интересные для него и для его друзей и совершенно не нужные для посторонних.

Получение слишком большой корреспонденции частным лицом может обратить на себя внимание полиции. Письма будут перехватываться и пропадать. Но если корреспонденция будет направлена по адресу какой-нибудь редакции, то это ничьего внимания не привлечет. В «Биржевых ведомостях» заведует отделом провинции некто Линёв[291], человек очень левых настроений. Надо его попросить, чтобы письма из провинции, в которых дата будет подчеркнута два раза, ни в коем случае не печатались, потому что содержание их, вполне невинное, — абсолютный вымысел, интересный только для Горького и его друзей. Пусть Линёв эти письма собирает и передает прямо мне, так как я бываю в редакции. А от меня их будут забирать друзья Горького. Все ясно и просто.

Линёв с радостью согласился.

Это был вообще великий энтузиаст. Пышная шевелюра, борода развевается.

— Я обращаюсь к России Гоголя и к России Достоевского и ставлю им вопрос: куда мы идем? Но ответа не слышу.

Это, конечно, было нехорошо, что ни та, ни другая Россия Линёву не отвечали. Но он не обижался и время от времени повторял свой коварный вопрос.

Итак, он соглашался и даже обещал всегда и во всем содействовать друзьям Горького. Скоро я получила от него два-три таких письма с подчеркнутой датой. Пришел какой-то господин, сказал, что от Горького, и взял их. Письма были действительно ерундовые. «В курской семинарии семинаристы недовольны экономом, выдает несвежее мясо». «В Таганроге нужно отремонтировать здание прогимназии, но ассигновок на ремонт добиться нельзя».

Но вот письма неожиданно прекратились. «Господин от Горького» пришел очень расстроенный. Им известно, что неделю тому назад было послано важное письмо, но Линёв его не отдал.

И вообще письма стали пропадать. В чем дело? Надо немедленно выяснить.

Я пришла в редакцию.

— Были письма?

— Конечно, были, — отвечал Линёв. — И содержание их оказалось настолько интересно, что я, как опытный обозреватель провинциальной жизни, не мог этот материал не напечатать.

— Да ведь вас же предупреждали, что все это сплошной вымысел. Как же можно было печатать! Ведь начнутся опровержения.

— Да уж и начались. Тем не менее, как опытный обозреватель… Да, кстати, больше ничего и не было.

Я заглянула в редакционную корзинку и первое, что увидела, — письмо с подчеркнутой датой.

— А это что? И вот еще одно, и еще.

— Ах, эти! — равнодушно сказал он. — Эти можете взять, я их уже использовал.

В тот же день я передала эти письма «господину от Горького». Он страшно обрадовался, к удивлению моему, попросил свечку, зажег ее и стал греть на огне письма.

— Что это вы делаете?

— Как — что? Проявляю.

Так вот оно что. Между строчками появились желтые слова. Всё те же. «Кооптация… мандат… меньшевики…»

Дня через три рано утром вбегает ко мне Линёв. Волосы взъерошены, пальто нараспашку, лицо человека, бросающегося со скалы в море.

Кричит:

— У меня дочь! Я не видел ее пятнадцать лет, но я тем не менее отец.

— Что случилось с вашей дочерью?

— А то, что все вы губите ее единственного отца. Да, да. Эти письма! Горький тащит меня на гильотину!

— Голубчик, не волнуйтесь. У нас же нет гильотины. Гильотина во Франции.

— Все равно! Скажите Горькому, что у меня дочь…

Я обещала, и он умчался, забыв у меня портфель и перчатки.

Я передала «господину от Горького» его отказ, и это дело было покончено.

Уже давно в литературных кругах поговаривали о необходимости начать новую газету. У поэта Минского было разрешение, но не было денег. Навернулся было какой-то капиталист, устроил у себя заседание, на котором по знакомству

присутствовал и наш друг К. П-в. Планы были самые благонамеренные, но вдруг нагрянула полиция и всех арестовала. Народ был все совершенно невинный, но в полиции отнеслись к ним очень строго. Поехали они к приставу Барочу, отличавшемуся держимордовским нравом. Он кричал, топал ногами и обещал всех сгноить. Тогда П-в спокойно сказал:

— Все это отлично, но я должен позвонить отцу.

— Звони, звони! — вопил пристав. — Вот я ему тоже скажу, что ты за птица! Я и до него доберусь!

В те времена номер телефона говорили телефонной барышне, а та уже соединяла. Когда К. П-в назвал номер, пристав испуганно насторожился.

— Квартира сенатора П-ва? — спросил К. П-в.

Пристав вскочил.

— Игорь, ты? Скажи папе, что меня арестовали и что пристав Бароч юродствует.

Пристав молча втянул голову в плечи и ушел из комнаты.

П-ва в тот же день отпустили. Остальных продержали дня три.

После этого намеченный капиталист сразу погас. Мечта о газете провалилась.

Но вот занялась другая заря. Горький вступил в переговоры с Минским. Разрешения на новую газету добиться было трудно. Легче было воспользоваться уже готовым разрешением, которое было у Минского. Деньги Горький достал. Редактором предполагался Минский. В литературном отделе должны были работать Горький, Гиппиус (как поэт и как литературный критик Антон Крайний) и я. Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе. Секретарем редакции намечался П. Румянцев, заведующим хозяйственной частью — Литвинов, по прозвищу Папаша[292].

Наш будущий секретарь нашел для редакции прекрасное помещение на Невском, парадный вход, швейцар. Все были радостно взволнованы.

Минский вдохновился лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»[293], уловив в нем правильный стихотворный размер, и написал гимн:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь,
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.

Встанем цепью вкруг всего земного шара

И по знаку дружно вместе все вперед.
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.

Други-братья, счастьем жизни опьяняйтесь!
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг.

Гимн был напечатан в первом номере газеты. Называлась газета «Новая жизнь».

Интерес к этой «Новой жизни» был огромный. Первый номер вечером продавался уже по три рубля. Брали нарасхват. Наши политические руководители торжествовали. Они приписывали успех себе.

— Товарищи рабочие поддержали.

Увы! Рабочие остались верны «Петербургскому листку», который печатался на специальной бумаге, особенно пригодной для кручения цигарки. Газетой интересовалась, конечно, интеллигенция. Новизна союза социал-демократов с декадентами (Минский, Гиппиус), а к тому же еще и Горький, очень всех интриговала.

В нашей роскошной редакции начали появляться странные типы. Шушукались по уголкам, смотрели друг на друга многозначительно.

В газетном мире никто их не знал. Даже наш король репортеров Львов-Клячко, знавший буквально всех и все на свете, и тот, глядя на них, только пожимал плечами. Пригласил их как будто Румянцев. Справились у него. Он лукаво улыбнулся.

— Поживете — увидите.

Собственно говоря, они еще за работу не принимались, а только совещались и готовились.

Но вот появился и старый знакомый — товарищ Ефим, тот самый, что, томясь в царском узилище, ел на Рождество гуся (с ударением на «я»).

Ефим, смущенно улыбаясь, объявил, что задумал политическую статью.

— Пока что придумал только заглавие. «Плеве и его плевелы»[294]. Хотелось бы поскорее напечатать.

— А где же статья?

— Да вот статью-то пока что еще не придумал.

Появился некто Гуковский. Разевал щербатый рот, стучал

ногтем по зубным корешкам, говорил с гордостью:

— Цинга.

Все должны были понимать, что пострадал за идею и был в ссылке. Появился приезжий из-за границы Гусев[295]. Кто-то про него сказал, что он «здорово поет». В общем, все они были похожи друг на друга. И даже говорили одинаково, иронически оттягивая губы и чего-то недоговаривая.

Мне предложили писать что-нибудь сатирическое.

Злобой дня был тогда Трепов[296]. Я себе сейчас плохо представляю, какой именно пост он занимал, но пост был ответственный и важный, и называли Трепова «Патрон». При только что произошедшем усмирении бунта этот «Патрон» дал солдатам приказ, чтобы они стреляли и патронов не жалели. Вскоре после этого он был смещен.

Редакция решила, что я должна эту историю отметить.

Я написала басню о «Патроне и патронах». Басня кончалась словами:

Трепов, не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь,
Сами вы писать изволили,
Чтоб «патронов не жалеть».

Басню спешно набрали, и она должна была появиться на другой же день.

И не появилась.

В чем дело?

Из боковой комнаты вылезло что-то — не то Гусев, не то Гуковский — и сказало:

— Я попросил задержать, потому что я не уверен, можно ли рифмовать «изволили» и «воле ли». Это надо обсудить на редакционном собрании.

Пошла к Румянцеву.

— Петр Петрович, задерживать нельзя. Дня через два любая газета успеет придумать этот каламбур, и тогда уже печатать будет поздно.

Румянцев сейчас же побежал в типографию, и на следующий день басня появилась, а к вечеру уже везде — на улицах, в трамваях, в клубах, в гостиных, на студенческих сходках — повторяли шутку о «Патроне и патронах». Мне хотелось было рассказать об этом тому знатоку рифм, который накануне задержал мою басню, но так как все они были похожи друг на друга, то я боялась, что еще огорчу невинного. Да и Румянцев

сказал:

— Бросьте. Он сам отлично знает. А задержал басню, просто чтобы показать, что он тоже что-то значит и чего-нибудь да стоит.

— Что же он, писатель? Почему он такой знаток по части рифм? И потом, ведь «они» должны ведать, согласно договору, только политической частью газеты. Если вы знаете, кто именно это был, то передайте ему от меня, что я хочу внести кой-какие поправки в их передовые статьи.

— Это действительно очень бы оживило газету, — засмеялся он. — А то последнее время к ней как будто падает интерес.

Нет, интерес к газете еще не падал. Нами начала интересоваться Москва. Прислал рассказ Валерий Брюсов. Минский получил письмо от Андрея Белого. Литературная часть газеты очень оживлялась.

В обществе по-прежнему шли разговоры о новых веяниях. Уловить какую-нибудь общую линию было трудно. В салонах обсуждали действия правительства, люди скромного ранга говорили:

— Мастеровщина бунтует. Им ведь что ни дай, все будет мало.

В парикмахерской рядом со мной завивалась краснощекая бабища, содержательница извозчичьего двора. Говорила парикмахеру:

— Я, мусью, теперь прямо боюсь из дому выходить.

— Чего же так?

— Да, говорят, скоро начнут антиллигенцию бить. Ужасти как боюсь.

В доме одной губернаторши встретила баронессу О. Ее недавно привезла из-за границы Зинаида Гиппиус. Баронесса очень возмущалась, что у нас нет своей карманьолы[297].

— Какая же революция без карманьолы? Карманьола — веселая революционная песенка, под которую пляшет торжествующий народ. Я напишу музыку, а кто-нибудь из ваших поэтов пусть сочинит слова. Я люблю писать музыку. У меня есть уже два романса. Один о влюбленном паше, другой — о влюбленной королеве. Теперь будет карманьола. Так не забудьте же. Поговорите с поэтами.

В темных углах редакции шептали, шуршали таинственными листочками, шевелили усами тараканьи группы.

Румянцев шагал бодрыми шагами циркового дрессировщика. Он был всем доволен и с нетерпением ждал Ленина, чтобы похвастаться, как он чудесно наладил дело. Из тараканьих углов

направлялся на него шорох недоброжелательный. Но он как-то не замечал этого и только лукаво посмеивался. И, глядя на него, всегда казалось, что он играет в большевика и очень этой игрой развлекается. А между тем в его послужном списке значилась и ссылка (положим, не в Сибирь, а в город Орел). Он переводил Маркса и считался у большевиков выдающейся литературной силой. С шептунами он как будто даже не общался и на них подмигивал.

Но настроение в редакции было какое-то напряженное, недружное, неуютное. Очень тревожился Минский. Он был ответственным редактором, газета была разрешена на его имя, а политических статей ему даже не показывали. Горький в редакцию не заходил, и его, кажется, в это время не было в Петербурге.

— Подождите, — успокаивал Румянцев. — Вот скоро приедет Ленин, и все устроится.

Я ходила и напевала:

— «Вот приедет барин, барин все устроит».

И Румянцев не обманул.

Барин приехал.

И все устроил.

В приемной нашей редакции сидел Румянцев и с ним еще двое. Один уже знакомый, из шептунов, другой новый. Новый был некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, с выпуклым плешивым лбом, с узенькими хитрыми глазами, скуластый. Сидел, заложив ногу на ногу, и что-то решительно говорил Румянцеву. Румянцев разводил руками, пожимал плечами и явно возмущался. Шептун ел глазами нового, поддакивая ему, и даже от усердия подпрыгивал на стуле.

Когда я вошла, разговор оборвался. Румянцев назвал мое имя, и новый любезно сказал:

— Знаю, знаю. (Хотя знать, собственно говоря, было нечего.)

Его имени Румянцев не назвал. Очевидно, я и так должна была понять, кого я вижу.

— Вот Владимир Ильич недоволен помещением, — сказал Румянцев.

Ага, Владимир Ильич! Значит, это и есть «он».

— Помещение отличное, — прервал его Ленин. — Но не для нашей редакции. И как могло вам прийти в голову, что нашу газету можно выпускать на Невском. И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры! Куда они годятся! Хронику должны давать сами рабочие.

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.

— Все равно. Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не важно. Мы тут такую статейку как следует обработаем, выправим и напечатаем. Таким образом, рабочие будут знать, что это их газета.

Мне вспомнился Ефим и его «Плеве с плевелами».

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — спросила я.

— Нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Только рабочие хроникеры могут связать нас с массами. А вот ваш хваленый Львов дает только министерские сплетни. Он нам абсолютно не нужен.

Бедный Румянцев! Он так гордился, что ему удалось переманить Клячко-Львова, короля репортеров.

Клячко был удивительный репортер. О нем рассказывали легенды. Он будто бы сидел под столом в кабинете министра внутренних дел во время одного секретного заседания, и на другой день в обслуживаемой им газете появился в рубрике «Слухи» отчет об этом заседании, поразивший до паники высшие сферы. Откуда мог он узнать? Кто проговорился? Или здесь был многотысячный подкуп? Но это предположение совершенно чудовищно. Долго разыскивали виновного и, конечно, так и не нашли. Виноват был лакей, получивший хорошую плату за то, что спрятал Клячко под зеленое сукно.

Еще рассказывали, как он интервьюировал одного сановника, готовившего важный проект. Сановник ничего толкового по этому делу Клячко не ответил, ограничился общими местами и только все разглаживал рукой лежавшую на столе рукопись. Сановник торопился ехать на заседание, и Клячко предложил довезти его. Уходя, любезный журналист забыл в кабинете свой портфель. Сановник уже занял место в экипаже, Клячко уже поставил ногу на подножку и вдруг всполошился:

— Портфель! Боже мой! Забыл портфель!

И ринулся в подъезд.

На глазах оторопевшего лакея ворвался в кабинет, схватил свой портфель да заодно и лежащую на столе рукопись.

Через час, когда рукопись была спешно просмотрена, он вернулся в дом сановника и сказал лакею:

— Барин велел, чтобы я сам положил эти листы к нему на стол.

На другой день сановник был страшно удивлен, увидя в газете общий план составленного им проекта.

— Я ведь отвечал очень уклончиво на расспросы этого

журналиста. Какой у него необычайный нюх!

И вот этого-то Клячко-Львова, короля репортеров, за которым охотились все газеты, Ленин предложил удалить. Заменить Ефимом с плевелами.

— Пожалуй, и весь литературный отдел покажется вам лишним? — спросила я.

— Откровенно говоря, да. Но подождите. Продолжайте работать, а мы все это реорганизуем.

Реорганизация началась сразу же. Началась с помещения. Явились плотники, притащили доски, разделили каждую комнату на несколько частей.

Получилось нечто вроде не то улья, не то зверинца. Всё какие-то темные углы, клети, закуты. Иногда выходило вроде стойла на одну лошадь. Иногда маленькое, вроде клетки на небольшого зверя, скажем, для лисицы. И внутренняя стена так близко, что если поставить перед зрителями решетку, то можно было бы подразнить зверя зонтиком и даже, если не страшно, погладить. В некоторых закутках не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе.

Появились в большом количестве новые люди. Все неведомые и все друг на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный и интересный собеседник, А. Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый, Каменев, любящий или, во всяком случае, признающий литературу. Но они почти никогда в редакции не появлялись и были, насколько я понимаю, заняты исключительно партийными делами. Остальные собирались группами по закутам, становились в кружок, головой внутрь, как бараны во время бурана. В центре кружка всегда была в чьей-нибудь руке бумажка, в которую все тыкали пальцем и вполголоса бубнили, не то не разбирая, в чем дело, не то следя друг за другом. Странная была редакция.

Нетронутой оставалась только одна большая комната для редакционных собраний.

Собрания эти велись довольно нелепо. Приходили люди, ничего общего с газетой не имеющие, толклись тут же, у стенки за стульями, пожимали плечами, глубокомысленно-иронически опускали углы рта там, где все было просто и ясно и никакой иронии вызвать не могло. Вроде того, что набирать покойников петитом или общим шрифтом.

Во время одного такого заседания кто-то доложил, что пришел некто Фаресов (кажется, из народников), хочет принять участие в газетной работе.

— Никто не имеет ничего против Фаресова? — спросил Ленин.

Никто.

— Он мне только лично несимпатичен, — пробормотала я. — Но это, конечно, не может иметь значения.

— Ах, так, — сказал Ленин. — Ну, если он почему-нибудь неприятен Надежде Александровне, так Бог с ним совсем. Скажите, что мы сейчас заняты.

Боже мой, какой джентльмен! Кто бы подумал!

А П-в шепнул мне:

— Видите, как он вас ценит.

— А по-моему, это просто предлог, чтобы отделаться от Фаресова, — ответила я.

Ленин (он сидел рядом) покосил на меня узким лукавым взглядом и рассмеялся.

А жизнь в городе текла своим чередом.

Молодые журналисты ухаживали за молодыми революционерками, наехавшими из-за границы.

Была какая-то (кажется, фамилия ее была Градусова — сейчас не помню), которая разносила в муфте гранаты, и провожающие ее сотрудники буржуазной «Биржевки» были в восторге.

— Она очень недурно одевается и ходит к парикмахеру, и вдруг в муфте у нее бомбы. Как хотите — это небанально. И все совершенно спокойно и естественно. Идет, улыбается. Прямо душка!

Собирали деньги на оружие.

Вот такие небанальные душки приходили в редакции газет и журналов, в аристократические театры и очень кокетливо предлагали жертвовать на оружие. Одна богатая актриса отнеслась к вопросу очень деловито. Дала двадцать рублей, но потребовала расписку.

— В случае, если революционеры придут грабить мою квартиру, так чтобы я могла показать, что я жертвовала в их пользу. Тогда они меня не тронут.

Ко мне пришел Гусев. Я собирать отказалась. И не понимаю, и не умею. У меня как раз сидел один английский журналист, сотрудник «Таймс». Он засмеялся и дал Гусеву десятирублевый золотой. Гусев положил добычу в большой бумажный мешок из-под чуевских сухарей. В мешке уже был сбор — три рублевки и двугривенный.

Вскоре после этого произошла у меня с этим Гусевым забавная встреча.

Мои буржуазные друзья повезли меня после театра ужинать в один из дорогих ночных ресторанов с музыкой и артистической программой. Публика там была богатая, пили шампанское.

Вот вижу я, недалеко от нас сидит девица, к стилю этого дорогого кабаре совсем не подходящая. Густо набеленная, разляписто одетая — прямо Соня Мармеладова с Сенного рынка. А рядом с ней из-за серебряного ведра с бутылкой шампанского выглянуло какое-то знакомое лицо. Выглянуло и сразу спряталось. Я даже не смогла разглядеть, кто это. Но вот один из моих спутников говорит:

— Там, за третьим столиком, какой-то тип вами заинтересовался. Все поглядывает.

Я быстро обернулась и сразу встретилась глазами с Гусевым. Это он прятался от меня за бутылку. Он и опять спрятался, но, очевидно, понял, что я его узнала, и решил действовать. Красный, распаренный и растерянный подошел к нашему столу.

— Вот в каких ужасных вертепах приходится иногда прятаться, — сказал он хриплым голосом.

— Бедненький, — вздохнула я. — Как я вас понимаю! Вот и наша компания тоже решила здесь спрятаться. Подумать только, что приходится иногда терпеть. Музыка, балетные номера, неаполитанские песни. Прямо ужасно!

Он покраснел еще больше, засопел носом и отошел.

Критическую статью Антона Крайнего (З. Гиппиус) на литературную тему не напечатали. Отчет о театре, о новой пьесе, тоже не поместили.

— Почему?

— Ленин говорит, что это не должно интересовать рабочего читателя, который литературой не интересуется и в театры не ходит.

Спросила у Ленина.

— Да, это верно. Сейчас не время.

— Но ведь нашу газету читают не только рабочие.

— Да, но те читатели нам неинтересны.

— А не думаете ли вы, что если вы совершенно устраните всю литературную часть газеты, то она потеряет много подписчиков? А это будет для вас материально невыгодно. Кроме того, если газета превратится в партийный листок, ее, наверное, скоро прихлопнут. Пока в ней мелькают литературные имена, цензура относится к ней не слишком внимательно. Эти литературные имена — это вам щит. Без них сразу обнаружится, что это просто партийный листок, и, конечно, с ним церемониться не станут.

— Ничего. Это дело провалится, надумаем другое.

— Хорошо, значит, ни театров, ни музыки не нужно.

Присутствовавший при этом разговоре Гуковский сочувственно кивал головой.

Поговорила с Румянцевым.

— Петр Петрович. А ведь газету закроют.

— Ну вот пойдите потолкуйте с ним. Кроме того, у нас есть обязательства по отношению к литературной группе. У нас договор. Газета разрешена на имя Минского. Мы не имеем права выживать его из редакции. Это будет безобразнейший скандал на весь литературный мир.

Уходя из редакции, увидела Гуковского. Он разбирал почту.

— А вот это отлично. Билеты в оперу. Жена обожает музыку. Непременно пойдем.

— Ну нет, друг мой. Никуда вы не пойдете, — остановила я его. — Это было бы уже совсем нетвердокаменно. Сотрудники газеты не имеют права пользоваться даровыми билетами, раз о театрах не будет отзывов. Вы ведь только что разделяли мнение Владимира Ильича, что ни литературы, ни музыки сейчас не нужно. Будьте последовательны. Вот так — возьмем и разорвем дружно вместе эти гнусные предложения на беспринципное времяпрепровождение.

Спокойно сложила билеты и разорвала их крестом на четыре части. Конечно, уже через полчаса мне было досадно, что я его обидела. Ну, пошел бы с женой в оперу, послушал бы «Евгения Онегина», отдохнул бы душой. Ну, конечно, он благоговеет перед Лениным и боится и под дакивает — все это понятно. Но ведь и он человек. Музыки-то и ему хочется. Да еще и жена любит… И чего я озлилась! Хорошо бы достать билеты и послать ему от неизвестного. Слышали вот, что вы любите музыку… Да ведь он, пожалуй, еще испугается. Откуда такой слух пошел? Ему оперу и знать-то не полагается. Это уже не шаг вперед, а прямо с места два назад. Но как на душе все-таки нехорошо. Если опять билеты пришлют, непременно подсуну их к нему в стойло.

Ленин жил в Петербурге нелегально. За ним, разумеется, следили. Не могли не следить. Тем не менее он свободно приходил каждый день в редакцию и, уходя, чтобы его не узнали, поднимал воротник пальто. И ни один из дежуривших шпиков ни разу не полюбопытствовал — что это за личность, так усердно прячущая свой подбородок?

Буколические были времена, и лев жевал траву рядом с ягненком.

Замечая, какую роль играет Ленин среди своих партийцев, я стала к нему приглядываться.

Внешность его к себе не располагала. Такой плешивенький, коротенький, неряшливо одетый мог бы быть служащим где-нибудь в захолустной земской управе. Ничто в нем не обещало

диктатора. Ничто не выражало душевного горения. Говорил, распоряжался точно службу служил, и казалось, будто ему и самому скучно, да ничего не поделаешь.

Держал себя Ленин очень просто, без всякой позы. Поза всегда вызывается желанием нравиться, жаждой красоты. Красоты Ленин не чувствовал никогда и ни в чем. Так, Луначарский был барином и поэтом. Румянцев — орлом. Шептуны — все робеспьеры и Мараты, хотя в присутствии Ленина все поджимали хвосты. Все позировали.

Разговаривал Ленин с маратами тоном дружелюбным и добродушным, объяснял им то, что они не сразу ухватывали. И они умиленно благодарили Ильича за науку.

— И как это мы так! А ведь как просто! Ну, вот спасибо.

И так, держа себя добродушным товарищем, он мало-помалу прибирал всех к рукам и вел по своей линии, кратчайшей между двумя точками. И никто из них не был ему ни близок, ни дорог. Каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани.

О нем говорили «он».

— Он еще здесь?

— Он еще придет? Он не спрашивал?

Остальные были «они».

Он никого из них не выделял. Зорко присматривался узкими монгольскими глазами, кого и для какой цели можно использовать.

Этот ловко проскальзывает с фальшивым паспортом — ему дать поручение за границу. Другой недурной оратор — его на митинги. Третий быстро расшифровывает письма. Четвертый хорош для возбуждения энтузиазма в толпе — громко кричит и машет руками. Были и такие, которые ловко стряпали статейки, инспирированные Ильичем.

Как оратор Ленин не увлекал толпу, не зажигал, не доводил до исступления, как, например, Керенский, в которого толпа влюблялась и плакала от восторга. Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Мариинской площади. Ленин очень деловито долбил тяжелым молотом по самому темному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость. Долбил Ленин и получал ответ без отказа:

— Будем грабить, да еще и убьем!

Друзей или любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком. Да и мнения о человеке был довольно низкого. Сколько приходилось наблюдать, он каждого считал способным на предательство из личной выгоды. Всякий был хорош,

поскольку нужен делу. А не нужен — к черту. А если вреден или даже просто неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Он, кажется, и на себя смотрел тоже не как на человека, а как на слугу своей идеи. Эти одержимые маньяки очень страшны.

Но, как говорится, победителей не судят. Кто-то ответил на эту поговорку:

— Не судят, но часто вешают без суда.

Прошел слух, будто черносотенцы из «Чайной русского народа» собираются устроить погром «Новой жизни». Составлены списки всех сотрудников и раздобыты их адреса. Намечена уже ночь, когда прямо пойдут по квартирам расправляться с нами.

Все решили эту ночь дома не ночевать. Мне тоже строго велели куда-нибудь уйти. Но вышло так, что я вечером была в театре, а оттуда поехала к знакомым ужинать и попала домой уже к пяти часам утра.

Решила, что если черная сотня хотела меня убить, то на это была в ее распоряжении целая ночь, а утром будет уже дело неподходящее. Спросила прислугу, не приходил ли кто. Нет, говорит, не приходил. Так все и обошлось благополучно. Днем выяснилось, что вообще никого из редакции не обеспокоили.

Тем не менее настроение в редакции было беспокойное, и уже по другим причинам.

Румянцев сказал, что Ленин требует порвать соглашение с Минским, завладеть газетой целиком и сделать ее определенно органом партии. Румянцев протестовал, находя это неприличным. Газета разрешена на имя Минского, он — ответственный редактор. Какого же мнения будут о нас в литературных кругах!

— На ваши литературные круги мне наплевать, — отвечал Ленин. — У нас царские троны полетят вверх ногами, а вы толкуете о корректном отношении к каким-то писателям.

— Но ведь договор-то заключил я, — защищался Румянцев.

— А порву его я.

Но прежде, чем он порвал этот несчастный договор, он напечатал в «Новой жизни» статью, которая всех перепугала. Насколько помню, это было что-то о национализации земли. Минскому было сделано предостережение. Он пришел в редакцию очень расстроенный.

— Я ответственный редактор, а вы меня оставляете в полном неведении о помещаемых вами статьях. Еще одна такая, и мне грозит ссылка.

Пришла и жена Минского, поэтесса Вилькина.

— Я боюсь, — говорила она. — Вдруг мужа сошлют в Сибирь. Он не выдержит, у него слабые легкие.

И в ответ на эту законную тревогу послышалось подхихикиванье.

— Ничего, не беда! Климат в Сибири здоровый. Это ему даже, хи-хи, полезно.

Получилось неприятно и грубо. Минский даже не ожидал такого отношения. Выручил его П-в.

— Уезжайте сейчас же за границу.

— Да меня, пожалуй, и не выпустят.

— Я вам дам свой паспорт. И не теряйте времени.

Через несколько дней Минский пришел прощаться в редакцию. Показывал новенький заграничный паспорт, в котором на листке для Англии было вписано «джентльмен» (П-в был дворянин).

— Вот, — смеялся Минский, — теперь у меня имеется правительственное удостоверение, что я — настоящий джентльмен.

Он скоро уехал, и вся наша литературная группа решила из газеты уходить. Попросили вычеркнуть наши имена из списка сотрудников. В этой газете нам действительно больше делать уже было нечего.

Просуществовала газета недолго, как и можно было предвидеть.

Ленин поднял повыше воротник пальто и, так никем и не узнанный, уехал за границу на несколько лет.

Вернулся он уже в запломбированном вагоне.[298]

Распутин

[299]

Бывают люди, отмеченные умом, талантом, особым в жизни положением, которых встречаешь часто, и знаешь их хорошо, и определишь их точно и верно, но пройдут они мутно, словно не попав в фокус вашего душевного аппарата, и вспомнятся всегда тускло; сказать о них нечего, кроме того, что все знают: был высок или мал ростом, женат, приветлив или надменен, прост или честолюбив, жил там-то, встречался с тем-то. Мутные пленки любительской фотографии. Смотришь и не знаешь — не то девочка, не то баран…

Тот, о котором хочу рассказать, только мелькнул двумя краткими встречами. И вот твердо, отчетливо, тонким клинком врезан его облик в моей памяти.

И не потому, что был он так знаменит, — ведь много

довелось мне встречать на своем веку людей, прославленных настоящей, заслуженной славой. И не потому, что он сыграл такую трагическую роль в судьбе России. Нет. Человек этот был единственным, неповторяемым, весь словно выдуманный, в легенде жил, в легенде умер и в памяти легендой облечется.

Полуграмотный мужик, царский советник, греховодник и молитвенник, оборотень с именем Божьим на устах.

Хитрым называли его. Одна ли только хитрость была в нем?

Расскажу две мои краткие встречи с ним.

1

Петербургская оттепель. Неврастения.

Утро не начинает нового дня, а продолжает вчерашний серый, тягучий вечер.

Через большое зеркальное окно-фонарь видно, как на улице унтер-офицер учит новобранцев тыкать штыком в соломенное чучело. У новобранцев сизые, иззябшие сыростью лица. Баба с кульком, унылая, уставилась и смотрит.

Тоска.

Звонит телефон.

— Кто?

— Розанов[300].

Удивляюсь, переспрашиваю. Да, Розанов.

Говорит загадочно:

— Вам Измайлов сказал? Предлагал? Вы согласились?

— Нет. Я Измайлова не видала и не знаю, о чем вы говорите.

— Так, значит, он еще будет с вами говорить. Не могу вам ничего объяснить по телефону. Только очень прошу — непременно соглашайтесь. Если вы не пойдете, я тоже не пойду.

— Господи, да в чем же дело?

— Он все объяснит. По телефону нельзя.

Аппарат щелкает. Нас разъединили.

Очень все это неожиданно и странно. С В. В. Розановым я встречалась редко. С Измайловым тоже. Сочетание Розанова с Измайловым тоже показалось мне не из обычных. В чем же дело? И почему Розанов не пойдет куда-то, если я не пойду?

Позвонила в редакцию «Биржевых ведомостей», где работал Измайлов. Оказалось слишком рано, и в редакции еще никого не было.

Но ждать пришлось недолго. Часа через два он сам позвонил.

— Предстоит одно очень интересное знакомство… К сожалению, лишен возможности сказать по телефону… Может

быть, вы догадаетесь?

Я решительно ни о чем догадаться не могла. Сговорились, что он заедет и все объяснит.

Приехал.

— Неужели не поняли, о ком речь идет?

Измайлов — худой, черный, в черных очках, весь точно чернилами нарисованный, голос глухой. Даже жутко стало.

Измайлов вообще был человек жутковатый: жил на Смоленском кладбище, где отец его был когда-то священником, занимался чернокнижием, любил рассказывать колдовские истории, знал привороты и заклинания, и сам, худой, бледный, черный, с ярко-красной полоской узкого рта, похож был на вурдалака.

— Так и не понимаете? — усмехался он. — Разве не знаете, о ком нельзя по телефону говорить?

— Об императоре Вильгельме[301], что ли?

Измайлов посмотрел через свои черные очки на обе двери моего кабинета, потом, поверх очков, на меня.

— О Распутине.

— А-а!

— Живет в Петербурге некто Ф., издатель, слышали о нем? Нет? Ну так вот — есть такой. И бывает у него довольно часто Распутин. Обедает. Вообще почему-то дружит с ним. К Ф. часто бегает небезызвестный в литературных кругах М-ч[302]. Знаете?

М-ча видела. Он был из типа «рыб-спутниц», ходящих в свите крупных писателей или артистов. Одно время он обожал Куприна, потом перекочевал к Леониду Андрееву, потом притих и будто даже совсем скрылся. И вот теперь выплыл.

— Этот самый М-ч, — говорил Измайлов, — предложил Ф-у пригласить кое-кого из писателей, которым интересно посмотреть на Распутина. Общество будет небольшое, список составлен тщательно, чтобы лишние люди не попали и не вышло бы какой-нибудь неприятной истории. Тут недавно один мой знакомый случайно попал в одну компанию с Распутиным, а кто-то потихоньку снял их всех. Да мало того, отправил фотографию в журнал. Распутин, мол, среди своих друзей и почитателей. А знакомый мой, очень видный общественный деятель, человек серьезный и вполне порядочный, Распутина терпеть не может и прямо считал себя опозоренным навеки, что его в этой живописной группе запечатлели. Ну так вот, во избежание всяких неприятностей такого рода я и поставил непременным условием, чтобы лишних людей не было. Ф. обещал, а сегодня утром прибегает ко мне М-ч и показывает список приглашенных. Из писателей будет, значит, Розанов, который во что бы то ни стало

желает, чтобы вы тоже были, а без вас, говорит, и идти не стоит. У него, очевидно, какой-то план.

— Какой же это может быть план? — призадумалась я. — Может быть, лучше не ходить? Хотя любопытно посмотреть на Распутина.

— Вот в том-то и дело, что любопытно. Хочется лично убедиться, действительно ли это такая значительная личность или только орудие в руках ловких людей. Рискнем, пойдем. Будем держаться вместе и долго не останемся. Все-таки особа как-никак историческая. А пропустим случай, может быть, больше другого и не представится.

— Только бы он не подумал, что мы набиваемся на знакомство с ним.

— Нет, не подумает. Хозяин обещал, что и не скажет ему даже, что мы писатели. Он, говорит, писателей-то и сам не любит. Боится. Так что от него это обстоятельство скроют. Нам тоже выгоднее, чтобы он не знал. Пусть держится совсем свободно и обычно, как в своем кругу, а если начнет позировать, ничего интересного и не будет. Так, значит, едем? Обед назначен на завтра, поздно, не раньше десяти вечера. Распутин всегда так поздно приезжает. Если же его задержат в Царском Селе и он приехать не сможет, то Ф. обещал всех нас предупредить по телефону.

— Странно все это. Я ведь и хозяина-то не знаю.

— Да мы лично тоже не знаем, ни я, ни Розанов. Но вообще он ведь лицо известное. Вполне приличный человек. Значит, решено: завтра в десять.

2

Я Распутина уже видала как-то раз мельком. Это было в вагоне. Ехал он, очевидно, к себе в Сибирь, в купе первого класса, и не один, а со свитой: какой-то человечек — нечто вроде секретаря, пожилая дама с дочерью и известная фрейлина В[303].

Было очень жарко, двери купе были открыты настежь. Распутин развел чаепитие, с жестяным чайником, с баранками, с сахаром вприкуску.

Сидел в розовой ситцевой рубахе навыпуск, утирал лоб и шею вышитым полотенцем, говорил хлопотливым говорком на «о»:

— Милай! Спроворь еще кипяточку-то! Кипяточку, говорю, спроворь. Заварили крепко — а кипяточку и нету. А ситечко где? Аннушка, ситечко куда засунула? Аннушка! Ситечко, говорю, где? От-то раззява!

Вечером того дня, как побывал у меня Измайлов, то есть накануне знакомства с Распутиным, обедала я у знакомых в довольно большом обществе.

В столовой на каминном зеркале красовался плакат:

«Здесь о Распутине не говорят».

Я уже видела в некоторых домах такие плакаты. А так как мне именно хотелось, ввиду предстоящего свидания, поговорить о Распутине, то я громко и медленно прочла:

— «Здесь о Рас-пу-ти-не не го-во-рят».

Сидевшая наискосок от меня барышня, худенькая, остренькая, нервная, быстро обернулась, взглянула на меня, на надпись, потом снова на меня. Словно хотела что-то сказать.

— Это кто? — спросила я у соседа.

— Это Е., фрейлина. Дочь того Е. Знаете? — назвал очень известное в то время имя.

— Знаю.

После обеда барышня подсела ко мне. Я почувствовала, что ей очень хочется поговорить со мной, и захотелось именно тогда, когда я прочла вслух надпись. Но лепетала она что-то о литературе, рассеянно и бестолково, и ясно было, что не знает, как перейти на то, что ее интересует.

Я решила ей помочь.

— Видели вы надпись на камине? Правда, забавно? У Брянчаниновых тоже такая.

Она сразу оживилась.

— Да, да. Я только не понимаю смысла. Почему нельзя говорить?

— Вероятно, слишком много говорят и всем уже надоело…

— Надоело? — даже как бы испугалась она. — Как — надоело? Неужели вы думаете, что эта тема неинтересна? Что Распутин неинтересен?

— А вам приходилось его встречать? — спросила я.

— Кого — его? Распутина?

И вдруг вся задвигалась, забеспокоилась, задохнулась, и на худеньких бледных щеках ее выступили красные пятна.

— Распутина? Да… очень мало… редко. Он хочет непременно со мной познакомиться. Говорят, что это очень, очень интересно. Вы знаете, когда он смотрит пристально, я всегда чувствую страшное сердцебиение… Это удивительно. Я встречала его раза три у знакомых. В последний раз он вдруг подошел ко мне близко-близко и сказал: «Ты чего же, ты приходи ко мне, щупленькая, слышишь?» Я ужасно растерялась, ответила, что не знаю, что не могу… А он тогда положил мне руку на плечо и

сказал: «Непременно приходи. Слышишь? Придешь!» И так властно, так сильно сказал «придешь», точно это уже кем-то решено и ему открыто. Понимаете? Как будто судьба моя ему открыта. Он видит ее и знает. Вы, конечно, понимаете, что я ведь ни за что к нему не пойду, но эта дама, у которой я его встречала, говорит, что пойти надо, что у него бывает много дам нашего круга, что в этом нет ничего предосудительного. Да, но… я… я не пойду.

Это «не пойду» она как-то взвизгнула. Вообще вид у нее стал такой, будто она сейчас истерически закричит и заплачет.

Что за история! Барышня тихая, серенькая, худенькая, лет ей на вид не меньше тридцати пяти. И вдруг так неприлично теряет всякое самообладание при одном имени Распутина, того мужика в розовой ситцевой рубашке, который заставлял «Аннушку» искать «ситечко»…

К нам подошла хозяйка дома, и Е., не отвечая на ее вопрос, вероятно, даже не слыша его, пошла угловатой, дергающейся походкой к зеркалу пудрить лицо.

3

Весь следующий день не могла отделаться от впечатления, которое произвела на меня эта дергающаяся кликуша-фрейлина.

Стало беспокойно и противно.

Чувствовала моральную тошноту от; всей этой истерической атмосферы, окружавшей имя Распутина.

Понимала, что много, конечно, плетется о нем обывательского, глупого вранья, но чувствовалось, что был все-таки какой-то живой, невыдуманный источник, беспокойный и жуткий, который и питал все эти легенды.

Днем снова звонил Измайлов, подтвердил приглашение, обещал, что Распутин будет непременно, и просил от имени Розанова принарядиться «пошикарнее», чтобы Распутин отнюдь писательницы во мне не заподозрил, а думал бы, что с ним беседует просто «барынька».

Эта просьба о «шикарности» очень меня рассмешила.

— Розанов положительно навязывает мне роль какой-то библейской Юдифи или Далилы[304]. Вот уж наверное провалю. Ни актерских, ни провокаторских талантов в себе не чувствую. Право, только дело испорчу.

— Ну, там видно будет, — успокаивал Измайлов. — Прикажете за вами заехать?

Я отказалась, потому что обедала у знакомых и оттуда меня

должны были проводить.

Вечером, одеваясь, обдумывала, что для мужика значит «пошикарнее».

Надела золотые туфли, кольца, серьги. Очень неистово расфуфыриваться стыдно. Не станешь же всем объяснять, что это заказной «шик»!

За обедом у знакомых, на этот раз без всякой с моей стороны хитрости, зашел разговор о Распутине. (Правы, значит, были те, кто вывешивал на своем камине запрещающие плакаты.)

Передавали, как всегда, сплетни о взятках, которые шли через старца в карманы кого следует, о немецких подкупах, о шпионстве, о придворных интригах, нити которых были в руках Распутина.

Даже «черный автомобиль» сплели почему-то с именем Распутина.

«Черный автомобиль» — до сих пор не разгаданная легенда. Этот автомобиль несколько ночей подряд мчался через Марсово поле, пролетал через Дворцовый мост и пропадал неизвестно куда. Из автомобиля стреляли в прохожих. Были раненые.

— Это распутинское дело. Здесь его рука, — приговаривали рассказчики.

— Да при чем же он здесь?

— Ему все черное, злое, непонятное выгодно. Все, что сеет смуту и панику. Перед теми, кто ему нужен, он сумеет объяснить все для своей выгоды.

Странные были разговоры. Но так как в те времена вообще много было странного, то никто особенно и не удивлялся. А наступившие вскоре события смели с памяти «черный автомобиль». Не до него было.

Но тогда, за обедом, обо всем этом говорилось. Главное же, удивлялись необычайной наглости Распутина. Н. Разумов, бывший тогда директором горного департамента, рассказывал с негодованием, что к нему явился чиновник его ведомства из провинции с просьбой о переводе по службе и как протекцию принес листок, на котором рукой совершенно с Разумовым не знакомого Распутина было коряво нацарапано:

«Милай, дарагой, исполни просьбу подателеву а у меня в долгу не останешься. Григорий».

— Подумайте — наглость-то! Наглость-то какая! И очень многие министры рассказывают, что получают подобные записочки. И очень многие (о чем, конечно, уже не рассказывают) просьбы эти исполняют. И мне даже говорили — неосторожно, мол, с вашей стороны, что вы так рассердились, ему передадут. Нет, вы подумайте только, какая мерзость! «Милай, дарагой»! И

тот хорош — с записочкой явился. Ну, я ему показал «дарагого»! Говорят, через четыре ступеньки по лестнице бежал. А ведь на вид такой приличный господин, да и по службе довольно крупный инженер.

— Да, — сказал один из присутствующих. — *Я* уже много раз слышал о рекомендациях вроде «милаго, дарагого», но что прошению не был дан ход, встречаю в первый раз. Многие негодуют и тем не менее не считают возможным отказать. Распутин, говорят, мужик мстительный.

4

Было уже больше десяти часов, когда я подъехала к дому Ф-а.

Хозяин встретил меня в передней. Любезно сказал, что где-то уже был мне представлен, и повел в свой кабинет.

— Ваши уже давно здесь.

В накуренной небольшой комнате сидело человек шесть.

Розанов, со скучающим и недовольным лицом, Измайлов, какой-то напряженный, точно притворяющийся, что все, мол, ладно, когда на самом деле что-то не выгорело.

М-ч у притолоки, с видом своего человека в доме, еще двое-трое неизвестных, притихших на диване, и, наконец, Распутин. Был он в черном суконном русском кафтане, в высоких лакированных сапогах, беспокойно вертелся, ерзал на стуле, пересаживался, дергал плечом.

Роста довольно высокого, сухой, жилистый, с жидкой бороденкой, с лицом худым, будто втянутым в длинный мясистый нос, он шмыгал блестящими, колючими, близко притиснутыми друг к дружке глазками из-под нависших прядей масленых волос. Кажется, серые были у него глаза. Они так блестели, что цвета нельзя было разобрать. Беспокойные. Скажет что-нибудь и сейчас всех глазами обегает, каждого кольнет, что, мол, ты об этом думаешь, доволен ли, удивляешься ли на меня?

В этот первый момент показался он мне немножко озабоченным, растерянным и даже смущенным. Старался говорить «парадные» слова.

— Да, да. Вот хочу поскорее к себе, в Тобольск. Молиться хочу. У меня в деревеньке-то хорошо молиться, и Бог там молитву слушает.

Сказал — и всех по очереди остро и пытливо кольнул глазами через масленые пряди своих волос.

— А у вас здесь грех один. У вас молиться нельзя. Тяжело это, когда молиться нельзя. Ох, тяжело.

И опять озабоченно всех оглядел, прямо в лицо, прямо в глаза.

Нас познакомили, причем (как, очевидно, уже условились товарищи по перу) меня ему не назвали.

Посмотрел на меня внимательно — словно подумал: «Из каких таких?»

Настроение было скучно-напряженное, никому не нужное. Что-то в манере Распутина — то ли беспокойство, забота ли о том, чтобы слова его понравились, — показывало, что он как будто знает, с кем имеет дело, что кто-то, пожалуй, выдал нас и он себя чувствует окруженным «врагами журналистами» и будет позировать в качестве старца и молитвенника.

От журналистов он, говорят, действительно много претерпел. Сплошь и рядом появлялись в газетах заметки с разными лукавыми намекам. Писали, что Распутин в тесном кругу друзей, подвыпив, рассказывал много интересного о жизни весьма высокопоставленных лиц. Была ли это правда или просто газетная сенсация — не знаю. Но знаю, что у Распутина была двойная охрана. Одна, с его ведома, охраняла от покушений на его жизнь. Другая, от него тайная, следила, с кем он водится и не болтает ли лишнего, подмечала и доносила куда следует. Как эта вторая охрана была поставлена, в точности не знаю. Думаю, что кем-то, кому хотелось престиж Распутина при дворе подорвать.

Он был чуткий, звериным нюхом чуял, что окружен, и, не зная, где враг, шарил глазами, искал сторожко исподтишка, весь начеку…

Настроение моих друзей передалось и мне. Стало скучно и как-то неловко сидеть в незнакомом доме и слушать, как мучительно выдавливает из себя Распутин никому не нужные душеспасительные фразы. Точно экзамен держит и боится провалиться.

Захотелось домой.

Розанов встал, отвел меня в сторону и сказал потихоньку:

— Весь расчет на обед. Может быть, он еще развернется. Мы с хозяином уже условились: вас он посадит рядом. А мы около вас. Вы его разговорите. С нами он так говорить не станет — он любит дам. Непременно затроньте эротические темы. Тут он будет интересен, тут надо его послушать. Это может выйти любопытнейший разговор.

Розанов вообще с каждым человеком эротические темы считал за любопытнейшие, поэтому я вполне поняла его особый острый интерес к такому разговору с Распутиным. Ведь чего только про Распутина не говорили: и гипнотизер, и магнетизер, и хлыст, и сатир, и святой, и бесноватый.

— Хорошо, — сказала я. — Попробую поговорить.

Обернувшись, встретила два острых, как шпильки, глаза. Распутина, видимо, обеспокоила наша тайная беседа с Розановым.

Задергал плечом и отвернулся.

Пригласили к столу.

Меня посадили на угол. Слева — Розанов и Измайлов. Справа — Распутин. Кроме нас за столом оказалось еще человек двенадцать гостей: какая-то важного вида старуха, про которую мне шепнули: «Это та, что постоянно при нем». Какой-то озабоченный господин, который торопливо усадил по другую руку Распутина молодую, красивую и очень разряженную («во всем шикарном») даму с не подходящим к туалету убитым, безнадежным выражением лица. В конце стола поместились какие-то странные музыканты — с гитарой, с гармонией и с бубном, точно на деревенской свадьбе.

Хозяин подошел к нам, наливая вина и угощая закусками. Я тихонько спросила про красивую даму и музыкантов.

Музыканты, оказывается, были нужны — Гриша любил иногда поплясать, и именно под их музыку. Эти музыканты и у Юсупова играют[305].

— Очень хорошие музыканты. Оригинальные. Вот вы услышите.

О красивой даме сказал, что у ее мужа (озабоченного господина) какое-то служебное, очень сложное и неприятное, дело, которое только через Распутина можно сделать простым и приемлемым. И вот этот господин водит свою жену всюду, где только можно встретить старца, подсаживает ее к нему, надеясь, что он когда-нибудь обратит на нее внимание.

— Уже два месяца старается, а Гриша словно и не видит их. Он ведь странный и упрямый.

Распутин пил быстро и много и вдруг, нагнувшись ко мне, зашептал:

— Ты чего же это не пьешь-то? Ты пей. Бог простит. Ты пей.

— Да я не люблю вина, оттого и не пью.

Он посмотрел недоверчиво.

— Пустяки! Ты пей. Я тебе говорю: Бог простит. Бог простит. Бог тебе многое простит. Пей!

— Да я же вам говорю, что мне не хочется. Не буду же я насилью пить?

— О чем он говорит? — зашептал слева Розанов. — Вы заставьте его громче говорить. Переспрашивайте, чтобы громче, а то мне не слышно.

— Да и слушать нечего. Просто уговаривает вино пить.

— А вы наводите его на эротику. Господи! Да неужели не умеете повести нить разговора?

Мне стало смешно.

— Да не мучьте вы меня! Вот тоже нашли Азефа-провокатора. И чего ради я буду для вас стараться?

Я отвернулась от Розанова, и два острых распутинских глаза, подстерегая, укололи меня.

— Так не хочешь пить? Ишь ты, какая строптивая. Не пьешь, когда я тебя уговариваю.

И он быстрым, очевидно привычным, движением тихонько дотронулся до моего плеча. Словно гипнотизер, который хочет направить через прикосновение ток своей воли.

И это было неслучайно.

По напряженному выражению всего его лица я видела, что он знает, что делает. И я вдруг вспомнила фрейлину Е., ее истерический лепет: «Он положил мне руку на плечо и так властно сказал…»

Так вот оно что! Гриша работает всегда по определенной программе. Я, удивленно приподняв брови, взглянула на него и спокойно усмехнулась.

Он судорожно повел плечом и тихо застонал. Отвернулся быстро и сердито, будто совсем навсегда, но сейчас же снова нагнулся.

— Вот, — сказал, — ты смеешься, а глаза-то у тебя какие — знаешь? Глаза-то у тебя печальные. Слушай, ты мне скажи — мучает он тебя очень? Ну, чего молчишь?.. Э-эх, все мы слезку любим, женскую-то слезку. Понимаешь? Я все знаю.

Я обрадовалась за Розанова. Очевидно, начиналась эротика.

— Что же вы такое знаете? — спросила я громко, нарочно, чтобы и он повысил голос, как это многие невольно делают.

Но он снова заговорил тихо:

— Как человек человека от любви мучает. И как это надо, мучить-то — все знаю. А вот твоей муки не хочу. Понимаешь?

— Ничего не слышно! — сердито с левой стороны ворчал Розанов.

— Подождите, — шепнула я.

Распутин заговорил снова:

— Что за кольцо у тебя на руке? Что за камешек?

— Аметист.

— Ну, все равно. Протяни мне его тихонько под столом. Я на него дыхну, погрею… Тебе от моей души легче станет.

Я дала ему кольцо.

— Ишь, чего ж ты сняла-то? Я бы сам снял. Не понимаешь ты…

Но я отлично понимала. Оттого я и сняла сама.

Он, прикрыв рот салфеткой, подышал на кольцо и тихонько надел мне его на палец.

— Вот когда ты придешь ко мне, я тебе много расскажу, чего ты — и не знала.

— Да ведь я не приду? — сказала я и опять вспомнила фрейлину Е.

Вот он, Распутин, в своем репертуаре. Этот искусственно-таинственный голос, напряженное лицо, властные слова. Все это, значит, изученный и проверенный прием. Если так, то уж очень это все наивно и просто. Или, может быть, слава его как колдуна, вещуна, кудесника и царского любимца давала испытуемым особое, острое настроение любопытства, страха и желания приобщиться к этой жуткой тайне? Мне казалось, будто я рассматривала под микроскопом какую-то жужелицу. Вижу чудовищные мохнатые лапы, гигантскую пасть, но притом прекрасно сознаю, что на самом-то деле это просто маленькое насекомое.

— Не при-дешь? Нет, придешь. Ты ко мне придешь.

И он снова тайно и быстро дотронулся до моего плеча. Я спокойно отодвинулась и сказала:

— Нет, не приду.

И он снова судорожно повел плечом и застонал. Очевидно, каждый раз (и потом я заметила, что так действительно и было), когда он видел, что сила его, волевой его ток не проникает и отталкивается, он чувствовал физическую муку. И в этом он не притворялся, потому что видно было, как хочет скрыть и эту плечевую судорогу, и свой странный тихий стон.

Нет, все это не так просто. Черный зверь ревет в нем… Посмотрим…

5

— Спросите у него про Вырубову, — шептал Розанов. — Спросите про всех, пусть все расскажет, и главное, погромче.

Распутин косо, через масленые пряди волос, глянул на Розанова.

— Чего этот там шепчет?

Розанов протянул к нему свой бокал.

— Я чокнуться хотел.

Чокнулся и Измайлов.

Распутин осторожно посматривал на них, отводил глаза и снова смотрел.

И вдруг Измайлов спросил:

— А что, скажите, вы никогда не пробовали писать?

Ну кому, кроме писателя, придет в голову такой вопрос?

— Случалось, — ответил Распутин, ничуть не удивившись. — Очень даже случалось.

И поманил пальцем молодого человека, сидевшего на другом конце стола.

— Милай! Вот принеси-ка сюда листочки с моими стихами, что вы давеча на машинке-то отстукивали.

«Милай» живо сбегал за листками.

Распутин раздал. Все потянулись. Листьев, переписанных на машинке, было много — на всех хватило. Прочитали.

Оказалось стихотворение в прозе, в стиле «Песни Песней», туманно-любовное. Еще помню фразу:

«Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя выше и прекраснее их, потому что любовь есть Бог».

Это, кажется, и была единственная понятная фраза. Остальное было набор слов.

Пока читала, автор, очень беспокойно оглядывая всех, следил за впечатлением.

— Очень хорошо, — сказала я.

Он оживился.

— Милай! Дай чистый листочек, я ей сам напишу.

Спросил:

— Как твое имя?

Я сказала.

Он долго муслил карандаш. Потом корявым, еле разборчивым мужицким почерком нацарапал:

«Надежде.

Бог есть любовь. Ты люби. Бог простит.

Григорий».

Основной, значит, лейтмотив распутинских чар был ясен: люби — Бог простит.

Но почему же его дамы от такой простой и милой формулы впадают в истерический экстаз? Отчего дергалась и пятнами краснела фрейлина Е.? Тут дело неспроста.

6

Я долго смотрела на корявые буквы, на подпись «Григорий»…

Какая страшная сила была в этой подписи. Я знала случай, когда эти восемь корявых букв вернули человека, осужденного судом и уже сосланного на каторгу.

Вероятно, эта же подпись могла бы и отправить кого-нибудь туда же…

— Вы сохраните этот автограф, — сказал Розанов. — Это занятно.

Он действительно долго сохранялся у меня. В Париже, лет шесть тому назад, нашла я его в старом портфеле и подарила автору французской книги о Распутине — В. Бинштоку.

Писал Распутин с трудом, совсем был малограмотный. Так писал у нас в деревне лесной объездчик, который заведовал весенним сплавом и ловил браконьеров. Писал он счета: «Поезда в дачу взад и обратно петь ру» (пять рублей).

Распутин и внешностью на него походил поразительно. Может быть, оттого и не чувствовала я никакого мистического трепета от его слов и жестикуляций. «Бог — любовь, приде-ешь» и прочее. Все вспоминалось «петь ру» и разбивало настроение… Хозяин вдруг озабоченно подошел к Распутину.

— Телефон из Царского.

Тот вышел.

Значит, в Царском знали, где он сейчас находится. Может быть, даже всегда знали, где его искать.

Воспользовавшись его отсутствием, Розанов стал давать инструкции, как наводить разговор на всякие интересные темы.

Главное — пусть расскажет о своих хлыстовских радениях. Правда ли, мол, это, и если да, то как именно он это устраивает и нельзя ли, мол, попасть на них.

— Пусть он вас пригласит, а вы и нас прихватите.

Я согласилась охотно. Это действительно было бы интересно.

Но Распутин к столу не вернулся. Хозяин сказал, что его спешно вызвали в Царское Село (а был уже двенадцатый час ночи), что он, уезжая, просил сказать мне, что непременно

вернется.

— Ты ее не отпускай, — повторил Ф. его слова. — Пусть она меня ждет. Я вернусь.

Разумеется, никто его ждать не стал. Во всяком случае, наша компания сразу после обеда уехала.

7

Все мои знакомые, которым я рассказывала о состоявшейся встрече, выказывали какой-то совершенно необычайный интерес. Расспрашивали о каждом слове старца, просили подробно описать его внешность и, главное, «нельзя ли тоже туда попасть?»

— Какое он на вас произвел впечатление?

Отвечала:

— Не сильное, но довольно противное.

Советовали этим знакомством не пренебрегать. Никто не знает, что его ждет в будущем, а Распутин такая сила, с которой нельзя не считаться. Он смещает министров, тасует придворных, как колоду карт. Его немилости страшатся пуще, чем царского гнева.

Говорили о каких-то тайных немецких ходах через Распутина к Александре Федоровне. Он при помощи своих молитв и внушений руководит нашим фронтом.

— Перейдете до такого-то числа в наступление — наследник заболеет.

Для человека, ведущего какую-нибудь серьезную политическую линию, Распутин показался мне недостаточно серьезным. Слишком дергался, слишком рассеивался вниманием, был сам весь какой-то запутанный. Вероятно, поддавался уговорам и подкупам, не особенно обдумывая и взвешивая. Самого его несла куда-то та самая сила, которою он хотел управлять. Не знаю, каков он был в начале своей карьеры, но в те дни, когда я его встретила, он словно уже сорвался и несся в вихре, в смерче, сам себя потеряв. Повторял бредовые слова: «Бог… молитва… вино», путал, сам себя не понимал, мучился, корчился, бросался в пляс с отчаянием и с воплем, как в горящий дом за забытым сокровищем. Я потом видела этот пляс его сатанинский…

Рассказывали, что он собирал своих поклонниц, дам из общества, в бане и заставлял, «чтобы сломить дух гордости и научить смирению», мыть ему ноги. Не знаю, правда ли это, но могло бы быть правдой. Там, в этой истерической атмосфере, самая идиотская выдумка могла казаться правдой. Магнетизер ли

он?

Мне довелось говорить о нем с человеком, серьезно изучавшим гипнотизм, магнетизм, влияние на чужую волю.

Я рассказала ему о странном жесте Распутина, об этом быстром прикосновении и об судороге, которая корчила его каждый раз, когда он видел, что приказ его не исполнялся.

— Да неужели же вы не знаете? — удивился мой собеседник. — Ведь то прикосновение — это типичный магнетический акт. Это передача волевого тока. И каждый раз, как ток этот не воспринимается, он летит обратно и ударяет магнетизера. Этот ток тем сильнее, чем напряженнее и сильнее была направленная им волна. Вы рассказываете, что он очень долго настаивал, значит, напрягал свою силу. Поэтому обратный ток ударял его до такой боли, что он корчился, стонал. Ему, наверное, было очень тяжело, и он мучительно напрягался победить отпор. Все, что вы рассказываете, — типичный случай магнетического опыта.

8

Дня через три-четыре после этого обеда у Ф-а снова позвонил Измайлов.

— Ф. очень, очень просит нас снова пообедать у него. Обещает, что на этот раз будет гораздо интереснее, что в прошлый раз Распутин и оглядеться не успел, как ему пришлось уже уехать.

Рассказывал, что к нему заезжал М-ч, очень убеждал приехать (прямо антрепренер какой-то!) и показывал точный список приглашенных: все мирные люди, из приличного общества. Можно было ехать спокойно.

— В последний раз, — убеждал меня Измайлов. — Поговорим с ним позначительнее. Может быть, что-нибудь интересное выудим. Человек ведь незаурядный. Поедем.

Я согласилась.

На этот раз приехала позже. Все уже давно сидели за столом.

Народу было значительно больше, чем в первый раз. Прежние были все налицо. Музыканты тоже. Распутин на прежнем месте. Все сдержанно разговаривали друг с другом, точно были они обыкновенные гости, приглашенные пообедать. На Распутина никто не глядел, как будто он здесь совсем ни при чем. И вместе с тем чувствовалось (да так оно и было), что большинство не знало друг друга и пришли все только для того, на что и решиться будто не смели: разглядеть, узнать, поговорить с Распутиным.

Распутин снял свою поддевку и сидел в колкой розовой канаусовой рубашке навыпуск с косым вышитым воротом.

Лицо у него было почерневшее, напряженное, усталое, глубоко запали колючие глаза. Повернулся почти спиной к сидевшей рядом с ним той самой разряженной жене адвоката, что была в прошлый раз. Мой стул по другую руку старца был пуст.

— А-а! Вот она, — дернулся он. — Ну, садись скорее. Я жду. Чего в прошлый раз укатила? Я вернулся, а ее и нету! Пей! Чего же ты? Я тебе говорю: пей! Бог простит.

Розанов и Измайлов на прежних местах.

Распутин нагнулся ко мне:

— Тяжко я по тебе тосковал.

— Ну, это все пустяки. Это вы говорите из любезности, — отвечала я громко. — Расскажите лучше что-нибудь интересное. Правда, что вы устраиваете хлыстовские радения?

— Радения? Здесь-то, в Питере?

— А что — разве нет?

— А кто сказал? — спросил он беспокойно. — Кто сказал? Говорил, что сам был, что сам видал, али слыхал, али как?

— Да я не помню кто.

— Не по-омнишь? Ты вот лучше, умница, ко мне приходи, я тебе много чего порасскажу, чего не знаешь. Ты не из англичанок будешь?

— Нет, совсем русская.

— Личико у тебя англичанское. Вот есть у меня в Москве княгиня Ш. Тоже личико англичанское. Нет, брошу все, в Москву поеду.

— А Вырубова? — говорю уж без всякого смысла, единственно, чтобы угодить Розанову.

— Вырубова? Нет, Вырубова нет. У нее лицо круглое, не англичанское. Вырубова у меня деточка. У меня, скажу я тебе, так: у меня есть которые деточки и которые другие. Я врать не буду, это так.

— А… царица? — вдруг осмелев, сдавленным голосом просипел Измайлов. — Александра Федоровна[306]?

Я немножко испугалась смелости вопроса. Но, к удивлению моему, Распутин очень спокойно ответил:

— Царица? Она больная. У нее очень грудь болит. Я руку на нее наложу и молюсь. Хорошо молюсь. И ей всегда от моей молитвы легче. Она больная. Молиться надо за нее и за деточек. Плохо… плохо… — забормотал он.

— Что плохо?

— Нет, ничего… молиться надо. Деточки хорошие…

Помню, в начале революции я читала в газетах о том, что

найдена «гнусная переписка старца с развращенными княжнами». Переписка такого содержания, что «опубликовать ее нельзя». Впоследствии, однако, письма эти опубликовали. И были они приблизительно такого содержания: «Милый Гриша, помолись за меня, чтобы я хорошо училась», «Милый Гриша, я всю неделю вела себя хорошо и слушалась папу и маму…»

— Молиться надо, — бормотал Распутин.

— А вы знаете фрейлину Е.? — спросила я.

— Это такая востренькая? Будто видал. Да ты приходи ко мне. Всех покажу и про всех расскажу.

— Зачем же я приду? Они еще рассердятся.

— Кто рассердится?

— Да все ваши дамы. Они меня не знают, я человек для них совсем чужой. Наверное, будут недовольны.

— Не смеют! — Он стукнул кулаком по столу. — У меня этого нет. У меня все довольны, на всех благодать почиет. Прикажу — ноги мыть, воду пить будут! У меня все по-Божьему. Послушание, благодать, смирение и любовь.

— Ну вот видите — ноги мыть. Нет, уж я лучше не приду.

— Придешь. Я зову.

— Будто уж все и шли, кого вы звали?

— До сих пор — все.

9

Справа от Распутина, настойчиво и жадно прислушиваясь к нашему разговору, томилась жена адвоката.

Изредка, поймав на себе мой взгляд, она заискивающе улыбалась. Муж все шептал ей что-то и пил за мое здоровье.

— Вот вы лучше пригласите к себе вашу соседку, — сказала я Распутину. — Посмотрите, какая милая.

Она, услышав мои слова, подняла на меня глаза, испуганные и благодарные. Она даже побледнела, так ждала ответа. Распутин взглянул, быстро отвернулся и громко сказал:

— А-а! Дура собачья!

Все сделали вид, что не слышат.

Я повернулась к Розанову.

— Ради Бога, — сказал тот, — наведите разговор на радения. Попробуйте еще раз.

Но у меня совсем пропал интерес к разговору с Распутиным. Мне казалось, что он пьян. Хозяин все время подходил и подливал ему вина, приговаривая:

— Это твое, Гриша, твое любимое.

Распутин пил, мотал головой, дергался и бормотал что-то.

— Мне очень трудно сейчас говорить с ним, — сказала я Розанову. — Попробуйте теперь вы сами. Вообще, можем же мы вести общий разговор!

— Не удастся. Тема очень интимная, тайная. А к вам у него уже есть доверие…

— Чего он там все шепчется? — прервал нас Распутин. — Чего он шепчется, этот, что в «Новом времени» пишет?

Вот тебе раз! Вот вам и инкогнито.

— Почему вы думаете, что он пишет? Это кто-нибудь спутал… Вам еще скажут, что и я пишу.

— Говорили, будто ты из «Русского слова», — спокойно отвечал он. — Да мне-то все равно.

— Кто же это сказал?

— А я и не помню, — подчеркнуто повторил он мой ответ на свой вопрос, кто, мол, рассказывал мне о радениях.

Запомнил, значит, что я ответить не захотела, и теперь отплачивает мне тем же: «А я и не помню!»

Кто же нас выдал? Ведь была обещана полная конспирация. Это было очень странно.

Ведь не мы добивались знакомства со старцем. Нас пригласили, нам это знакомство предложили и вдобавок нам посоветовали не говорить, кто мы, так как «Гриша журналистов не любит», разговоров с ними избегает и всячески от них прячется.

Теперь оказывается, что имена наши отлично Распутину известны, а он не только от нас не прячется, но, наоборот, втягивает в более близкое знакомство.

Чья здесь игра? М-ч ли все это для чего-то организовал — для чего, неизвестно? Сам ли старец для каких-то своих хитросплетений? Или случайно кто-нибудь выболтал наши имена?

Атмосфера очень нездоровая. Предположить можно все что угодно.

И что я знаю обо всех этих наших сотрапезниках? Кто из них из охранки? Кто кандидат на каторгу? А кто тайный немецкий агент? И для кого из всей этой честной компании мы были привлечены как полезная сила? Распутин ли здесь путает или его самого запутывают? Кого продают?

— Наши имена ему известны, — шепнула я Розанову.

Он удивленно взглянул на меня и зашептался с Измайловым.

И в эту минуту вдруг ударили музыканты по своим инструментам. Звякнул бубен, зазвенела гитара, запела гармонь плясовую. И в тот же миг вскочил Распутин. Вскочил так быстро,

что опрокинул стул. Сорвался с места, будто позвал его кто, и, отбежав от стола (комната была большая), вдруг заскакал, заплясал, согнул колено углом вперед, бороденкой трясет и всё кругом, кругом… Лицо растерянное, напряженное, торопится, не в такт скачет, будто не своей волей, исступленно, остановиться не может…

Все вскочили, окружили, смотрят. Тот «милай», что за листками бегал, побледнел, глаза выпучил, присел и в ладоши хлопает:

— Гоп! Гоп! Гоп! Так! Так! Так!

И никто кругом не смеялся. Все смотрели точно испуганно и, во всяком случае, очень, очень серьезно.

Зрелище было до того жуткое, до того дикое, что, глядя на него, хотелось завизжать и кинуться в круг, вот тоже так скакать, кружить, пока сил хватит.

А лица кругом становились все бледнее, все сосредоточеннее. Нарастало какое-то настроение. Точно все ждали чего-то… Вот, вот… Сейчас…

— Ну какое же может быть после этого сомнение? — сказал за мной голос Розанова. — Хлыст!

А тот скакал козлом, страшный, нижняя челюсть отвисла, скулы обтянулись, пряди волос мотаются, хлещут по впалым орбитам глаз. Розовая колкая рубаха раздулась на спине пузырем.

— Гоп, гоп, гоп! — хлопал в ладоши «милай».

И вдруг Распутин остановился. Сразу. И музыка мгновенно оборвалась, словно музыканты знали, что так надо делать.

Он упал в кресло и водил кругом уже не колючими, а растерянными глазами.

«Милай» поспешно подал ему стакан вина. Я ушла в гостиную и сказала Измайлову, что хочу уехать.

— Посидите, отдохните немножко, — сказал тот.

Было душно. От духоты билось сердце и руки дрожали.

— Нет, здесь не душно, — сказал Измайлов. — Это у вас нервное.

— Пожалуйста, не уезжайте! — попросил Розанов. — Теперь очень легко можно будет добиться от него приглашения на радения.

Гости перебрались в гостиную и расселись кругом у стен, словно в ожидании какого-то дивертисмента. Пришла и красивая дама. Муж поддерживал ее под руку. Она шла, низко опустив голову, и мне показалось, что она плачет.

Я встала.

— Не уходите, — сказал Розанов.

Я покачала головой и пошла по направлению к передней. Из

столовой наперерез мне вышел Распутин. Подошел и взял меня за локоть.

— Подожди минутку, что я тебе скажу. Только слушай хорошенько. Видишь, сколько кругом нас народу? Много? Много, а никого нет. Вот: я и ты, и только всего. Вот стоим мы здесь с тобой, я и ты. И я тебе говорю: ты приходи! Тяжко хочу, чтобы ты пришла. Так тяжко, что вот прямо о землю бы бросился!

Он судорожно дергал плечом и стонал.

И было все так нелепо, и то, что мы стоим посреди залы, и что он так мучительно-серьезно говорит…

Надо было разбить настроение.

Подошел Розанов и, делая вид, что просто проходит мимо, насторожил ухо. Я засмеялась и, показывая на него, сказала Распутину:

— Да вот он меня не пускает.

— Не слушай его, желтого, приходи. А его с собой не води, он нам не нужен. Распутиным не брезгуй, мужиком. Я кого полюблю, я тому палаты каменные строю. Не слыхала, что ли?

— Не слыхала, — ответила я.

— Врешь, умница, слыхала. Это я могу. Палаты каменные. Увидишь. Я много могу. Только приходи ты, ради Бога, скорее. Помолимся вместе. Чего ждать-то. Вот меня всё убить хотят. Как на улицу выхожу, так и смотрю во все стороны, не видать ли где рожи. Да. Хотят убить. Ну что ж! Не понимают, дураки, кто я таков. Колдун? А может, и колдун. Колдунов жгут, так и пусть сожгут. Одного не понимают: меня убьют, и России конец. Помни, умница: убьют Распутина — России конец. Вместе нас с ней и похоронят.

Он стоял посреди залы, худой, черный, как иссохшее, горелое, суковатое дерево.

— И России конец… конец России…

Тряс вытянутой крючковатой рукой, похожий на мельника из «Русалки» в игре Шаляпина.

Страшный он был в эту минуту и совсем безумный.

— А? А? Уходишь? Ну, уходишь, так уходи. А только вспомни… вспомни…

По дороге домой Розанов (мы ехали вместе) говорил, что пойти к Распутину стоит, что ему, вероятно, кажется подозрительным мой отказ от предложения, которого столькие добиваются.

— Вместе все пойдем, вместе уйдем.

Я говорила, что в этой распутинской атмосфере есть для меня что-то беспредельно противное и очень тяжелое. Подхалимство, кликушество и одновременно обделывание каких-то неизвестных

нам темных, очень темных дел. Подойдешь, запачкаешься и не выпутаешься. Противно это все и невесело, а весь интерес к разным «жутким тайнам» этой среды поглощается этим отвращением.

Жалкое, напряженное и несчастное лицо адвокатской жены, которую муж так бесстыдно навязывает пьяному мужику, — во сне мне снится, как кошмар. И ведь у него там, верно, много таких, про которых он кричал и кулаком стучал, что «не смеют и всем довольны».

— Противно уж очень. До жути противно! Боюсь! И потом — не странно ли, что он так привязался, чтобы я пришла?

— К отпору не привык.

— А я думаю, что дело гораздо проще. Думаю, что из-за «Русского слова». Он хотя и делает вид, что не придает значения этому обстоятельству, однако вы сами знаете, что прессы он боится и заискивает перед ней. Может быть, решил залучить себе в моем лице новую жену-мироносицу. Чтобы под его диктовку писала то, что ему интересно. Ведь он всю свою политику проводит через женщин. Подумайте, какой козырь был бы в его руках. Он, по-моему, отлично все рассчитал. Он хитрый.

10

Через несколько дней после этого обеда позвонила знакомая дама. Упрекала, что я не была вчера на ее вечере, на который обещала приехать.

А я об этом вечере совершенно забыла.

— Была Вырубова, — говорила дама. — Ждала вас. Ей очень хочется с вами познакомиться, и я ей это обещала. Ужасно, ужасно обидно, что вы не могли быть.

«Ага! — подумала я. — Начались вести из «того» мира. Чего же ей от меня нужно?»

Что она была именно весть из «того» мира, я не сомневалась ни на минуту. Прошло еще дня два.

Прибежала ко мне старая приятельница, очень взволнованная:

— У С. будет большой вечер. Сама С. заезжала к тебе уже два раза и не заставала тебя дома. Она сегодня была у меня и взяла с меня слово, что я тебя к ним привезу.

Меня несколько удивила такая настойчивость со стороны С. Я не была с ними очень близко знакома. Уж не задумала ли она заставить меня читать или декламировать? Этого как раз я терпеть не могла. Высказала свои опасения.

— Нет-нет, — успокаивала меня приятельница. — Уверяю тебя, что никаких тайных расчетов у них нет. Просто С. тебя очень любит и хочет тебя видеть. Кстати, вечер будет очень интересный. Народу будет немного, все — свои, потому что С. не могут сейчас, во время войны, задавать большие балы. Это было бы неприлично. Никого лишнего не будет. Они умеют все интересно устраивать.

11

Мы приехали в двенадцатом часу.

Народу было много. Среди фраков и вечерних платьев — несколько фигур в одинаковых черных домино и голубых масках. Очевидно, одна компания. Кроме них, маскированных не было.

— Ну, вот вам она. Видите? Привезла, — сказала моя приятельница, подведя меня за руку к хозяйке.

В большом зале пела цыганка. Маленькая, щупленькая, в черном закрытом платье из блестящего шелка. Она страдальчески закидывала шафранно-смуглое личико.

Расставаясь, она говорила:
«Не забудь ты меня на чужбине…»

— Подождем минутку, — шепнула мне хозяйка. — Сейчас она кончит.

И продолжала стоять около меня, ища кого-то глазами.

— Теперь мы можем пройти.

Она взяла меня под руку и повела по залу, все ища кого-то.

Мы прошли через всю комнату и вошли в маленькую полутемную гостиную. Гостиная была пустая. Хозяйка усадила меня на диванчик.

— Я к вам сейчас вернусь. Вы не уходите.

Она действительно скоро вернулась, но не одна. С ней пришло черное домино.

— Вот эта таинственная маска, — смеясь, сказала С., — будет вас пока развлекать. Подождите меня здесь.

Черное домино село рядом со мной и молча смотрело на меня через узкие прорези маски.

— Вы меня не знаете, — пробормотало оно наконец. — Но мне ужасно надо поговорить с вами.

Голос был незнакомый. Но интонация знакомая. Таким прерывистым, истерическим тоном говорила со мной фрейлина Е. Говорила о Распутине.

Я посмотрела на свою собеседницу. Нет, это не Е. Та была маленькая. Эта — очень высокая. Чуть-чуть картавила, как все наши великосветские дамы, которые в детстве начинают говорить по-английски прежде, чем по-русски.

— Я все знаю, — нервно продолжала незнакомка. — Вы в четверг должны быть в одном доме.

— Нет, — удивилась я. — Я нигде не должна быть.

Она страстно взволновалась:

— Ну зачем, зачем вы не говорите правды? Ведь я же все знаю.

— Где же, по-вашему, я должна быть? — спросила я.

— Там. У него.

— Ничего не понимаю.

— Вы хотите проверить меня? Ну что же, я скажу прямо. Вы будете в четверг у… у Распутина.

— Почему вы так думаете? Меня никто в четверг к нему не приглашал.

Дама притихла.

— Может быть, вы еще не получили этого приглашения… Но все равно вы его должны получить. Это уже решено.

— Что же вас в этом деле так волнует? — спросила я. — Может быть, вы мне скажете ваше имя?

— Я не для того надела эту идиотскую маску, чтобы говорить вам мое имя. Да это для вас безразлично. Не в этом дело. Дело в том, что вы будете в четверг там.

— Нет, я не собираюсь к Распутину, — спокойно сказала я. — Уверяю вас, что я к нему не пойду.

— А-ах!

Она вся вскинулась и схватила меня за руку своими затянутыми в тугие черные перчатки руками.

— Нет, вы нарочно так говорите. Вы пойдете! Почему вы не пойдете?

— Да мне неинтересно.

— И вы не передумаете?

— Нет.

У нее задрожали плечи. Мне показалось, что она плачет.

— Я думала, что вы искренни, — прошептала она.

Я совсем растерялась.

— Вы чего же это от меня хотите? Вам неприятно, что я не пойду? Я ничего не понимаю.

Она опять сжала мне руку.

— Умоляю вас всем, что у вас есть святого: откажитесь идти в четверг. Надо, чтобы он отменил этот вечер. Он не должен приезжать из Царского в четверг. Этому надо помешать, потому

что это будет ужасно.

Она бормотала что-то, вздрагивая плечами.

— Я не понимаю, причем я здесь, — сказала я. — Но если это может вас успокоить, то поверьте мне: я даю вам честное слово, что не пойду. Я через три дня еду в Москву.

У нее опять задрожали плечи, и опять показалось мне, что она плачет.

— Спасибо вам, дорогая, дорогая…

И, быстро нагнувшись, она поцеловала мне руку.

Вскочила и ушла.

«Нет, это не Вырубова, — подумала я, вспомнив, как та ждала меня на вечере у знакомых. — Нет, это не она. Вырубова довольно полная, и главное, она хромает. Это не она».

Я разыскала хозяйку.

— Кто эта дама в маске, которую вы мне подсунули?

Хозяйка как будто была недовольна вопросом.

— Как же я могу знать, раз она в маске?

Во время ужина черные домино исчезли. Или, может быть, просто сняли маскарадный наряд.

Я долго присматривалась к незнакомым лицам, ища губы, целовавшие мне руку…

В конце стола сидели музыканты: гитара, гармонь и бубен. Те самые. Распутинские. Цепь… нить.

12

На другой день пришел ко мне Измайлов, страшно расстроенный.

— Случилась ужасная гадость. Вот прочтите. — Дает газету.

В газете сообщалось о том, что Распутин стал часто бывать в кругу литераторов, где за бутылкой вина рассказывает разные забавные анекдоты о чрезвычайно высоких особах.

— Это еще не все, — прибавил Измайлов. — Сегодня был у меня Ф. и говорил, что его неожиданно вызвали в охранку и допрашивали, кто именно из литераторов у него обедал и что именно Распутин рассказывал. Грозили высылкой из Петербурга. Но что противнее и удивительнее всего, так это то, что на столе у допрашивавшего его охранника Ф. ясно видел тот самый листок — который собственной рукой написал М-ч.

— Неужели М-ч работает в охранке?

— Неизвестно, он ли или кто другой из гостей Ф. Во всяком случае, надо быть очень осторожными. Если нас и не будут допрашивать, то следить за нами, конечно, будут. Поэтому если

Распутин будет писать или вызывать по телефону, то отвечать ему не следует. Впрочем, вашего адреса он не знает, да и вряд ли и фамилию хорошо усвоил.

— Вот вам и мистические тайны старца! Розанова жалко! Такой прозаический бытовой конец…

13

— Барыня, вас два раза кто-то по телефону нарочно спрашивал, — смеясь, говорит мне горничная.

— Как так — нарочно?

— Да я спрашиваю: кто такой? А он говорит: «Распутин». Кто-то, значит, подшучивает.

— Слушайте, Ксюша, если он еще будет подшучивать, отвечайте непременно, что я уехала, и надолго. Поняли?

14

Я скоро уехала из Петербурга. Распутина больше не видала.

Потом, когда прочла в газетах, что труп его сожгли, — вспомнила его, того черного, скрюченного, страшного колдуна:

«Сожгут? Пусть сожгут. Одного не знают: Распутина убьют, и России конец.

Вспомни!., вспомни!..»

Вспомнила.

[307]

Началось это приблизительно в 1909 году. Точно не помню. Я годы различаю не по номерам (год номер тысяча девятьсот такой-то), а по событиям.

Время тогда было строгое. Смех не имел права на существование. Допускался только так называемый «смех сквозь незримые миру слезы»[308], пронизанный гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества.

Как раздражали эти «незримые слезы» Достоевского!

«Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, чем про эти “незримые слезы”».

А ведь как ценил Достоевский Гоголя! Как жил Гоголь в его подсознательном! Не знаю, заметил ли кто-нибудь, что мать Раскольникова звали Пульхерия Ивановна и что в письме своем к сыну упоминала она о купце Афанасии Ивановиче[309], с которым вела дела. Ведь эти два имени-отчества теперь уже стали нарицательными, дать их Достоевский нарочно никак не мог. Они выскочили оба вместе из его подсознательного, из той потайной душевной кельи, где любовно запечатлелись.

А вот этих «незримых слез» он вынести не мог. Но в русской литературе требование на них укоренилось надолго.

Да, ирония, сатира на нравы — это извольте, но свободный смех, о котором Спиноза сказал, что он «есть радость, а потому сам по себе благо»[310], — это было неприемлемо.

Очаровательные юмористические рассказы Антоши Чехонте были прощены автору, только когда он прославился художественной грустью своего таланта.

Где-то на задворках чуть дышали «Стрекоза» и «Осколки»[311]. Грубый лейкинский юмор мало кого веселил. В газетах на последней странице уныло хихикал очередной анекдот и острые намеки на «отцов города, питающихся от общественного пирога». При этом были и картинки. У действующих лиц изо рта вылезал пузырь, а на пузыре выписывались слова, которые это лицо произносит. Юмористические журналы продергивали тещу, эту неистощимую тему, свободную от цензурного карандаша.

Не могу указать точно, когда это началось, но в то время, о котором сейчас идет речь, газеты по понедельникам не выходили. И вот один предприимчивый журналист — Василевский Не-Буква (этот странный псевдоним произошел оттого, что брат журналиста писал под именем «Василевский Буква») — задумал

выпускать по понедельникам литературную газету. Газета имела успех. Я тоже принимала в ней участие, помещая мои первые рассказы. Тогда впервые появились остроумные фельетоны, подписанные именем Аверченко.

Мы спрашивали у Не-Буквы, кто это такой.

— А это один остряк из провинции. Он даже собирается сюда приехать.

И вот как-то горничная докладывает:

— Пришел Стрекоза.

Стрекоза оказался брюнетом небольшого роста.[312] Сказал, что ему в наследство досталась «Стрекоза», которую он хочет усовершенствовать, сделать литературным журналом, интересным и популярным, и просит меня сотрудничать. Я наши юмористические журналы не любила и отвечала ни то ни се:

— Мерси. С удовольствием, хотя, в общем, вряд ли смогу и, должно быть, сотрудничать не буду.

Так на этом и порешили.

Недели через две опять горничная докладывает:

— Стрекоза пришел.

На этот раз Стрекозой оказался высокий блондин. Но я знала свою рассеянность и плохую память на лица, ничуть не удивилась и очень светским тоном сказала:

— Очень приятно, мы уж с вами говорили насчет вашего журнала.

— Когда? — удивился он.

— Да недели две тому назад. Ведь вы же у меня были.

— Нет, это был Корнфельд.

— Неужели? А я думала, что это тот же самый.

— Вы, значит, находите, что мы очень похожи?

— В том-то и дело, что нет, но раз мне сказали, что вы тоже Стрекоза, то я и решила, что я просто не разглядела. Значит, вы не Корнфельд?

— Нет, я Аверченко. Я буду редактором, и журнал будет называться «Сатирикон».

Затем последовало изложение всех тех необычайных перспектив, о которых мне уже говорил Корнфельд.

Так произошло знакомство с Аверченкой.

Встречались мы нечасто. Я на редакционные собрания не ходила, потому что уже тогда не любила никакую редакционную кухню. Что они там стряпали, о чем толковали, что именно выбирали и что браковали — меня не интересовало.

Сам Аверченко производил очень приятное впечатление. В начале своей петербургской карьеры был он немножко провинциален, завивался барашком. Как все настоящие остряки,

был всегда серьезен. Говорил особенно, как-то скандируя слова, будто кого-то передразнивал. Вокруг него скоро образовалась целая свита. Все подделывались под его манеру говорить и все не переставая острили.

Приехал Аверченко из какого-то захолустья Харьковской губернии, если я не путаю, со станции Алмазной, где служил в конторе каких-то рудников помощником бухгалтера. Еще там затеял он какой-то юмористический журнальчик и стал посылать свои рассказы в «Понедельник». И наконец решил попытать счастья в Петербурге. Решил очень удачно. Через два-три месяца по приезде был уже редактором им же придуманного «Сатирикона», привлек хороших сотрудников. Иллюстраторами были только что окончивший Академию Саша Яковлев, Ремизов, Радаков[313], Анненков[314], изящная Мисс. Журнал сразу обратил на себя внимание. Впоследствии его статьи цитировались даже в Государственной думе.

Года через два встретился он как-то случайно в поезде со своим бывшим начальником, бухгалтером. Тот был от литературы далек и очень укорял Аверченку за легкомысленный уход со службы.

— Вы могли бы получать уже тысячи полторы в год, а теперь, воображаю, на каких грошах вы сидите.

— Нет, все-таки больше, — скромно отвечал Аверченко.

— Ну, неужто до двух тысяч выгоняете? Быть не может! Я сам зарабатываю не больше.

— Нет, я около двух тысяч, только в месяц, а не в год.

Бухгалтер только махнул рукой. Он, конечно, не поверил. Ну да Аверченко известный шутник…

Аверченко любил свою работу и любил петербургскую угарную жизнь, ресторан «Вену», веселые компании, интересных актрис. В каждом большом ресторане на стене около телефонного аппарата можно было увидеть нацарапанный номер его телефона. Это записывали на всякий случай его друзья, которым часто приходило в голову вызвать его, если подбиралась подходящая компания.

Аверченко был молодой, красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная «Дочерью фараона», потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта «Дочь фараона» часто бывала за границей, много читала и выравнялась в

элегантную светскую даму.

Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с «Дочерью фараона» входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.

— Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! — укоряла его Z.

— Видели? — невинно спросил Аверченко. — Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить. Она ведь… очень известная… это самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.

— Антрепренерша? — оживилась актриса. — Ради Бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.

— Ну, конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала…

Актриса Z очень жалела.

Месяца через три были именины Аверченки, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане «Вена». Дирекция «Вены» всегда подносила ему огромный торт с надписью шоколадными буквами «Аркадию Сатириконскому».

Среди гостей оказалась и «Дочь фараона». Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой — ну как же можно было не пригласить такую поклонницу таланта.

Но тут произошел неожиданный «пассаж». Как только вошла в кабинет актриса Z, так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, «вывернулся» благополучно или выручил кто-нибудь из друзей.

Аверченко был очень спокойный человек. Его трудно было чем-нибудь расстроить.

— Я кисель. Никакой бритвой меня не разрежешь.

«Сатирикон» раскрепостил русский юмор. Снял с него оковы «незримых слез». Россия начала смеяться. Стали устраивать вечера юмора: «НАШИ ЮМОРИСТЫ: ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ, АВЕРЧЕНКО, ОСИП ДЫМОВ, О. Л. ДОР, ТЭФФИ».

Стали печатать книги юмористических рассказов. Спрос был большой, предложений мало. Оказалось, что во всей огромной

России не нашлось ни одного остроумного незнакомца. Кроме маленькой группы «Сатирикона».

Постоянное ядро «Сатирикона» составляли: талантливый поэт-сатирик Саша Черный, Осип Дымов, Сергей Горный, Аркадий Бухов.[315] Очень редко присылал кто-нибудь случайную вещь, которую можно было напечатать. Я была скорее гастролершей, чем постоянной сотрудницей. И очень скоро бросила «торговать смехом». Я очень люблю писателей с юмором, но специалистов-юмористов, старающихся непременно смешить, совсем не люблю.

Помню одно газетное начинание, само по себе анекдотическое. Редактор-издатель «Биржевых ведомостей», покорный духу времени, решил оживить свою газету юмором.

— Я сам напишу.

И напечатал внизу перед покойниками:

МАЛЕНЬКАЯ УМОРИСТИКА
— *Где вы берете ваших папирос?*
— *Это вы берете. Я покупаю.*
Вот и всё.
Сотрудники очень повеселились

Все воспоминания, связанные с Аверченкой, всегда веселые и забавные.

Одна молодая дама рассказывала, как он не успел проводить ее из театра и представил ей почтенного господина, инспектора какого-то училища

— Вот это мой друг Алексеев, он вас проводит.

Инспектор всю дорогу говорил ей самые приятные вещи, а когда уже подъезжали к дому, вдруг схватил ее за плечи и поцеловал. Она успела только наскоро шлепнуть его по лицу, распахнула дверцу авто мобиля и выскочила. Виновный прислал ей на другой день целую корзину мимоз с запиской «От виновного и не заслуживающего снисхождения».

Дама тем не менее очень обиделась и сразу же позвонила Аверченке.

— Как вы смели представить мне такого хама!

— А что?

— Да он меня в автомобиле поцеловал!

— Да неужели? — ахал Аверченко. — Быть не может! Ну как мог я подумать… что он такой молодчина. Вот молодчина!

«Милостивый государь, господин Аверченко! Обращаюсь к Вам как ученик жизни к учителю жизни. Помогите мне разобраться в сложном психическом процессе души моей жены.

Положение безвыходное. Вы один, как учитель жизни, можете направить и спасти. С вашего разрешения позвоню Вам сегодня по телефону.

Благодарный заранее

А. Б.

P.S. Мне сорок шесть лет, но положение требует немедленного облегчения.

А. Б.»

— Вот, — сказал Аверченко, дочитав письмо. — Все, наверное, воображают, что только к Толстому да к Достоевскому шли читатели обнажать душу и спрашивать указаний. Вот это уже не первое письмо в таком роде.

— Что же вы — примете этого А. Б.?

— Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.

— Что же, например?

— А это зависит от случая. Может быть, просто — дать денег на «Сатирикон».

— Все-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, — сказал один из тяжелодумов, которые водятся даже в редакциях юмористических журналов. — Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его — грех.

— С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? — с достоинством ответил Аверченко. — Я намерен именно отнестись вполне серьезно.

— Вот это было бы интересно послушать, — сказала я.

— Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.

— Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.

— А уж это я берусь уладить.

На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет всунул голову рассыльный и доложил:

— Господин пришел.

Я сидела в углу за столом и была «погружена в чтение рукописей». Аверченко сидел в кресле у другого стола.

— Пусть войдет.

Вошел пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками — кажется, акцизного ведомства.

— Я вам писал… — начал он плаксивым тоном.

— Да, да, — отвечал Аверченко. — Я готов вас выслушать.

— Но я… я хочу наедине…

— Можете не стесняться, — перебил его Аверченко. — Эта

дама моя секретарша.

— Я не могу, у меня дело личное…

— Ах, чудак вы эдакой! Да ведь она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? — спросил он тоном врача по внутренним болезням.

— Я жалуюсь, увы, на жену! Это остропсихологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поет, приплясывает и даже, видите ли, свистит.

— С утра? — мрачно сдвинул брови Аверченко.

— С утра. С утра и до вечера. Бегает в кинематограф, в оперетку, и все с мальчишками, все с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя.

— А как ваше имя? — деловито осведомился Аверченко.

— Балюстрадов.

— Гм… Действительно, это не годится его трепать.

— Я человек занятой, у меня служба. Я просил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?

— Так вы говорите — потащила племянника на каток? — переспросил Аверченко и покачал головой. — Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее — обладает ли она внешней красивостью?

— Д-да! — горестно выдавил из себя чиновник. — Этим делом она вполне обладает.

— Брюнетка? — очень строго спросил Аверченко.

— Д-да!

— Скольких лет?

— Двадцати двух.

— Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?

— Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.

— Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле — что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.

Балюстрадов восторженно привскочил.

— Я знал, что в вас я не ошибусь! — воскликнул он. — Завтра

же виновница торжества… впрочем, какое уж тут торжество! — завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, вечное спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего…

Через несколько дней встречаю Аверченку.

— Ну что, прислал вам этот чудак свою жену?

Он сначала притворился, будто не понимает, о ком я говорю. Потом ответил неохотно:

— Да, да. Вполне порядочная женщина. И очень серьезная. Мне удалось на нее повлиять, и она обещала, что больше с мальчишками на каток бегать не станет.

— Чудеса! Значит, муж ее оклеветал?

— То есть это все было, но теперь она изменилась.

— Муж доволен?

— Гм… он, чудак, почему-то уверен, что она по-прежнему не сидит дома. Вообще, это очень тяжелый случай и придется еще немало поработать.

— Хорошенькая?

— Недурна. И главное, вполне почтенная женщина. Очень такая любящая, привязчивая, постоянная. Может каждый день за завтраком есть баранью котлетку. Нет, вы не смейтесь, это тоже своего рода при знак устойчивой натуры. Вообще достойна всякого уважения.

Недели через полторы, как-то в один из вторников — день, когда я принимала своих друзей, — явилась ко мне какая-то робкая, но пламенная «почитательница таланта».

Это была маленькая франтиха, довольно хорошенькая, но с чересчур большими густо-розовыми щеками.

Она поднесла мне букет фиалок, пролепетала что-то лестное, потом долго сидела молча и только облизывалась, как кот. В руках она держала большую горностаевую муфту, из которой все время что-то сыпалось — флакончики, коробочки, платок, кошелек, карандашик. И она каждый раз всплескивала руками и бросалась подбирать. Вообще дамочка, видимо, нервничала. Смотрела на часы, вертелась, отвечала невпопад.

«Чего она засела?» — удивлялась я. Никого из моих гостей она не знала, в общем разговоре участия принять не могла, а меж тем сидит и сидит. Что бы это могло значить?

Гости стали расходиться. Остались двое-трое близких друзей. Наконец прощаются и они. А та все сидит. Как ее выкурить?

Я вышла в переднюю проводить последних гостей.

— Что это за особа? — спрашивают они.

— Не знаю. Какая-то читательница.

— Чего ж она не уходит?

— Не знаю!

— Да гоните ее вон!

— Да как?

— А вот как, — придумала моя приятельница. — Иди в гостиную, а я тебя позову.

Я пошла в гостиную, и тотчас моя приятельница появилась в дверях и громко крикнула:

— Так переодевайся же скорее, мы будем ждать тебя у Контана. Пожалуйста, поторопись.

— Хорошо, хорошо, — ответила я.

Тогда, наконец, поднялась моя бедная упорная гостья.

— До свиданья, — растерянно пролепетала она.

— Ах, я очень жалею, что должна торопиться, — светским тоном ответила я. — Но надеюсь, когда-нибудь вы еще доставите мне удовольствие, мадам, мадам…

— Балюстрадова, — подсказала дама и облизнулась, как кот.

И в тот же миг влетел в комнату запыхавшийся журналист «Петербургской газеты».

— Ради Бога, умоляю! Всего два слова для нашей газеты. Я был уже два раза и все не заставал! Клянусь, только два слова!

Пока он суетился, Балюстрадова успела уйти.

Беседу с журналистом прервала горничная, передав мне огромную коробку и письмо, принесенные посыльным.

И то и другое оказалось от Аверченки. В коробке ливонские вишни от Иванова, в письме — загадка:

«В отчаяньи, что так и не успел забежать к вам сегодня, задержали в типографии…»

Это вступление очень удивило меня. Аверченко никогда не бывал на таких вторниках, и я совсем его и не ждала.

Читаю дальше:

«Целую ваши ручки и по-товарищески очень прошу передать тем, кто у вас сидит, что я целую их ручки и умоляю их сказать мне поскорее по телефону, как они к этому отнеслись».

Эге! — думаю. Это, значит, было условленное свидание с обращенной на путь истины Балюстрадовой. Ну так подожди же!

— Это письмо от Аверченки, — сказала я репортеру. — И, признаюсь, очень странное письмо. Наверное, оно и вас удивит. Аверченко просит меня передать вам, что он целует ваши ручки и умоляет, чтобы вы поскорее сказали ему по телефону, как вы к этому относитесь.

— Это… это… — растерялся репортер. — Это форменное декадентство. Боже мой! Боже мой! Что же мне теперь делать?

— А уж это ваше дело, — холодно сказала я.

И с чувством исполненного долга принялась за конфеты. Ведь

он же не назвал Балюстрадову, а написал — «тем, кто у вас сидит». А сидел репортер.

Не знаю, чем это дело кончилось, но до сих пор считаю, что поступила правильно и по-товарищески.

Во время революции Аверченко оказался в Крыму.[316] Писал листовки, которые летчики сыпали на головы голодных советских солдат.

«А мы сегодня отлично пообедали. На первое борщ с ватрушками, на второе поросенок с хреном, на третье пироги с осетриной и на заедку блины с медом. Завтра будем жарить свинину с капустой».

Эти листовки очень волновали солдат.

Следующий этап Аверченки — Константинополь, основанное им «Гнездо перелетных птиц». Потом Чехия, поездка в Берлин. Его таскал антрепренер по каким-то ерундовым гастролям, где он сам играл вместе с актерами свои пьески. Все это мешало ему работать и утомляло и было совсем плохо для его расшатанного здоровья. Он как-то очень быстро сгорел.

Книга его «Двенадцать ножей в спину революции» неожиданно понравилась Ленину и была напечатана в СССР.[317]

Эту смешную точку в конце жизни Аркадия Аверченки поставила сама судьба.

Леонид Андреев

[318]

У Леонида Андреева была в Финляндии собственная дача — «Белая ночь». Он там жил со своей многочисленной семьей.

Я не любила эти загородные поездки. Всегда было холодно, всегда неуютно и всегда скучно.

Леонид Андреев вставал в 8 часов вечера. Пил свой «утренний кофе» и шел заниматься. В час ночи завтракал, в 6 утра обедал, в одиннадцать утра ложился спать.

Работал он в своем длинном темном кабинете, увешанном картинами собственной фантазии. Он был недурной художник-любитель. Картины эти были всегда прикрыты темными занавесками, которые он отдергивал только перед избранными.

Произведения свои он диктовал переписчице по ночам, шагая по темному кабинету. Маленькая лампочка горела только около пишущей машинки. Все располагало к глубокой неврастении.

Он любил сидеть у себя в Финляндии. Его реже других можно было видеть в Петербурге в кутящей компании. Потому так радостно окружала его публика где-нибудь в фойе театра или в ресторане. Да и было на что посмотреть. Среди писателей он

выделялся своей эффектной внешностью. Буйные волосы, тонкий нос с нервными ноздрями, огненные цыганские глаза и к этому кафтан и косоворотка. Такому бы гитару в руки и — пропадай, моя телега, все четыре колеса! А тут вдруг — метерлинковские настроения, черные маски, зловещие пляски. Некто в сером, шепот, тени… «Бог, Ты не джентльмен! Ты обидел женщину!»… Есть от чего потерять голову, проталкиваясь через окружавшую его толпу, остановиться, открыть рот и выпучить глаза.

Окружали и смотрели беззастенчиво, тупо, как смотрят только дети и собаки.

Кажется, даже обменивались вслух замечаниями. Это раздражало. Герой делал вид, что не замечает, но невольно жесты его делались неестественными, голос фальшивым. И получалось впечатление, что он кривляется.

Леонид Андреев нес свою славу спокойно, перед публикой не позировал и оставался естественным, что довольно трудно, когда на вас смотрят как на теленка о двух головах.

Максима Горького это внимание волновало. Он все время помнил, что он великий человек, и старался держать себя, как, по его мнению, полагается великому. Вздыхал, трагически задумывался, сокрушенно качал головой. Ясно было, что жуткие, неразрешимые проблемы мучают его сложную душу. И только к концу обеда, когда напивался, начинал уже вполне естественно бить себя кулаком в грудь и целовать взасос какого-нибудь юбиляра.

Но и Горький как-то не выдержал и завопил на толпу ротозеев:

— Чего вы на меня смотрите? Я не балерина и не утопленник.

Но только в этом и выражалось поклонение толпы.

Европа своими героями гордилась, Россия любила только «глазеть».

Зато с какой радостью подхватывались слухи, что он любит выпить, или играет в карты, или изменяет жене: «Не лучше нас, грешных, а туда же лезет, в знаменитости».

Письма герой получает в большом количестве ругательные или назидательные, так сказать, направляющие на истинный путь…

— Я уж от него почту прячу, — говорила мать Леонида Андреева. — У него сердце больное, а они всё бранятся и бранятся, и чего только им нужно?

Он и сам жаловался:

— Господи! И как им всем не стыдно, и как им всем не лень! Ни одной почты без ругательного письма не обходится.

— Ничего, голубчик, радуйтесь, это и есть популярность.

Бездарности писем не получают.

Да, ничего не поделаешь. Недаром Пушкин предупреждал:

> Поэт! не дорожи любовию народной.[319]
> Восторженных похвал пройдет минутный шум;
> Услышишь суд глупца и смех толпы холодной…

Но письма пишут, именно когда герой находится в зените славы. Вероятно, чтобы не зазнался.

— Возомнил себя гением, а вот мне и не нравится.

Между прочим, вполне в натуре русского человека от восторга выругаться:

— Ах, черт его распронадери, до чего он, однако, талантлив!

От писателя требовали не только таланта, но еще и высокой нравственной жизни. Писатель должен быть мудрым учителем. Даже к веселому Аверченке приходили люди решать сложные проблемы бытия.

— Как жить? Научите!

А если учитель не на высоте, ему несдобровать.

— Пишет трогательные вещи, а сам, говорят, жену бросил.

О, как все это нудно!

«…Ты царь. Живи один…»[320]

Но между ругательными письмами прославленные писатели получали и дамские истерики: «Хочу иметь от вас гениального сына, не откладывайте».

Леонида Андреева Россия любила. Слава пришла к нему бурным потоком, поэтому и письма хлынули дождем.

До сих пор не могу понять, почему вся эта группа знаменитых петербургских писателей так странно одевалась. Я понимаю еще «уайльдовцев»[321], которые носили байроновские воротники с открытой шеей. Это было романтично, и хотя и глупо, но красиво. А эти косоворотки, суконные блузы, ременные кушаки! Некрасиво и крайней необходимостью не вызвано. Блузу носил Горький, носил Андреев, Скиталец, Арцыбашев[322]. Мелкая сошка не носила. Не смела. (Куда лезешь!)

Как-то повел меня Леонид Андреев в свою ложу на премьеру своей пьесы, называлась она, кажется, «Великие тени»[323]. Она недолго продержалась в репертуаре, но была интересна. Навеяна Достоевским, его типами, и рассказывала почти его жизнь.

Автор сидел рядом со мной и держался на редкость спокойно. Мне это понравилось.

Обыкновенно авторы нервничают и даже бегут ссориться с режиссерами. Его выдержка мне очень понравилась.

Леонид Андреев очень чутко слушал жизнь и отражал ее быстро и страстно в своем творчестве. Так ответил он на текущий момент рассказом «О семи повешенных»[324]. Ответил на японскую войну «Красным смехом»[325]. И всей своей манерой писать драмы примкнул к царствующему тогда в наших литературных кругах Метерлинку. «Анатэма», «Жизнь Человека» — все это овеяно дыханием Метерлинка[326]. И успех этих вещей был потрясающий. Но широкая река русской литературы проплыла мимо этих берегов, и то, что осталось от Леонида Андреева «специфического», уже не взволнует современного читателя. То, что было хорошо и что захватывало в те времена, теперь покажется слишком манерным и вычурным. Да и судьба Метерлинка такая же. Вряд ли придет в голову какому-нибудь театру поставить его «Тентажиля»[327]. Тогда к произведениям такого рода относились с восторгом и имя Андреева как драматурга упоминали всегда рядом с Горьким, что в те времена было высокой маркой. Его пьесы «Катерина Ивановна», «Анфиса», «Дни нашей жизни», пьесы бытовые, держатся в репертуаре наших театров до сих пор.[328]

Леонида Андреева очень ценили читатели, а следовательно, и издатели. Он первый смог на деньги, заработанные литературным трудом, построить за шестьдесят тысяч собственную дачу в Финляндии.

Он вообще попал в литературу в момент ее расцвета, когда за писателем стали признавать право жить «по-человечески». До этого считалось, что писатель должен быть счастлив, что издатель дает ему возможность служить народу своим словом. Литература — было дело дворянское, не работа, а просто занятие, с материальной стороной жизни никак не связанное. Писатели бедствовали. Не жутко ли читать, как мучился Достоевский, еще при жизни признанный гениальным?

В свое время, не очень долгое и очень беспокойное, Андреев считался самым интересным русским писателем. От него все ждали еще какого-то последнего слова.

Лев Толстой сказал: «Он меня пугает, а мне не страшно».[329] Толстому не было страшно, но, очевидно, не у всех были такие крепкие нервы. Андреевский «Красный смех» был страшный. И пляшущие черные старухи из «Жизни Человека» были очень страшны. Кое-кто из первого ряда партера пересаживался подальше, смущенно бормоча:

— Как-то неприятно так близко…

Андреев был наш русский Метерлинк. Интересный писатель и в своем роде единственный.

И подражателей у него не было.

Он обожал свою старушку мать. Подшучивал над нею. Привязывал к ее ночным туфлям длинные нитки и подсматривал в щелку двери. Только что старуха наладится надеть туфли, он дернет нитки — и туфли побегут вон из комнаты. Или соберет в передней все калоши и повесит их на верхнюю вешалку, предназначенную для шляп, а потом сам и спросит:

Куда это калоши делись?

Старушка побежит искать.

— Да ты посмотри, что тут делается! — кричит он. — Подыми-ка голову!

Та, конечно, ахает, удивляется, пугается, может быть, просто в угоду. Они трогательно любили друг друга.

Он очень тяжело переживал войну. С нетерпением ждал газет. У него было плохое сердце, и эти волнения доконали его. Когда он умер, старушка мать ходила на могилу с газетами и читала ему вслух. Потом рассказывали, будто она повесилась. Не знаю… но это могло быть правдой…

Синие вторники

[330]

Был такой поэт Василий Каменский[331]. Не знаю, жив ли он и существует ли как поэт, но уже в эмиграции я читала о нем — был в Петербурге диспут «Гениален ли Василий Каменский?» После этого я его имени больше не встречала и ничего о нем не знаю. Он был талантливый и своеобразный.

> Ай, пестритесь, ковры мои, моя Персия.[332]
> Губы алы, кораллы, чары-чалы.
> Все пройдет, все умрут.
> С смуглых голых ног сами спадут
> Бирюза, изумруд…

Он ручей называл «журчеек», сливал журчание с названием.

Передавал звуком острый зигзаг молнии.

Это он назвал мои вторники синими. Так и писал о них уже в большевистские времена — «синие вторники».

На синих вторниках бывали писатели, актеры, художники и те, которым было интересно посмотреть на всю эту компанию.

Помню, приехал из Оренбурга старенький казачий генерал. Был моим читателем и захотел познакомиться. И вот как раз попал на синий вторник.

Генерал был человек обстоятельный, прихватил с собой записную книжку.

— А кто это около двери. — спрашивал он.

— А это Гумилев. Поэт.

— А с кем же это он говорит? Тоже поэт?

— Нет, это художник Саша Яковлев.

— А это кто рояль настраивает?

— А это композитор Сенилов. Только он не настраивает, а играет свое сочинение.

— Значит, так сочинил? Так, значит, сам сочинил и, значит, сам и играет.

Генерал записывал в книжку.

— А кто эта худенькая на диване?

— А это Анна Ахматова, поэтесса.

— А который из них сам Ахматов?

— А сам Ахматов это и есть Гумилев.

— Вот как оно складывается. А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?

— А вот Ахматова это и есть Гумилева.

Генерал покрутил головой и записал в книжечку. Воображаю, что он там потом в Оренбурге рассказывал.

Украшением синих вторников была Саломея Андроникова[333], не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица — сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье[334], у которой, как известно, был только один талант — она умела слушать. У Саломеи было два таланта — она умела, вернее любила, и говорить. Как-то раз высказала она желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была бы благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение опечаленных друзей.

— Боже мой, — завопил один из этих друзей. — Она хочет еще и после смерти разговаривать!

Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью.

Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого[335].

Мне нравилось усаживать их вместе на диван и давать

каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво.

Я очень любила Гумилева. Он, конечно, был тоже косноязычным, но не в очень сильной степени, а скорее из вежливости, чтобы не очень отличаться от прочих поэтов.

Ахматова всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась.

Жили Гумилевы в Царском Селе в нестерпимо холодной квартире.

— Все кости ноют, — говорила Ахматова.

У них было всегда темно и неуютно и почему-то всегда беспокойно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что откуда-то вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то «пока».

Они любили развлекать друзей забавной игрой. Открывали один из томов Брэма «Жизнь животных» и загадывали на присутствующих, кому что выйдет. Какому-нибудь эстету выходило: «Это животное отличается нечистоплотностью». «Животное» смущалось, и было очень забавно (не ему, конечно).

Н. Гумилев на синих вторниках бывал редко. Встречаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть вдвоем, читать стихи.

Гумилев никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без этого кокетства. Гумилев держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это придавало его взгляду какую-то особую сторожкость дикой птицы. Он точно боялся, что сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать. Никогда не держал себя мэтром.

Мы могли бы с ним подружиться, но что-то мешало, что-то вмешалось. В современной политике это называется «видна рука Москвы». Эта «рука Москвы» выяснилась только через несколько лет. Провожая меня с какого-то вечера домой, он разговорился и признался, что нас поссорили. Ему рассказали, что в одном из моих рассказов о путешественниках я высмеяла именно его. Он обиделся. Тут же на извозчике все это дело мы выяснили. Конечно, рассказ не имел к нему никакого отношения.

Мы оба жалели, что это не выяснилось раньше. Он стал заходить ко мне. Но все это длилось недолго. Надвигались война и его отъезд на фронт.

Беседы наши были забавны и довольно фантастичны. Задумали основать кружок «Островитяне». Островитяне не должны были говорить о луне. Никогда. Луны не было. Луна

просто вычеркивалась из существования. Не должны знать Надсона[336]. Не должны знать «Синего журнала». Не помню сейчас, чем все это было связано между собою, но нас занимало.

Свое нелепое стихотворение «Сказка»[337] он посвятил мне. В новом издании, напечатанном в Регенсбурге, «Сказку» поместили, почему-то вычеркнув посвящение. Должно быть, решили, что это не имеет значения. Но я эту «Сказку» люблю, и для меня она имеет большое значение, и я ее не отдам. Она моя.

На скале, у самого края.
Где река Елизабет, протекая.
Скалит камни, как зубы, был замок.

На его зубцы и бойницы
Прилетали тощие птицы,
Глухо каркали, предвещая,

А внизу, у самого склона,
Залегала берлога дракона
Шестиногого, с рыжей шерстью.

Сам хозяин был черен, как в дегте,
У него были длинные когти,
Гибкий хвост под плащом он прятал.

Жил он скромно, хотя не медведем,
И известно было соседям,
Что он просто-напросто дьявол.

Но соседи его были тоже
Подозрительной масти и кожи:
Ворон, оборотень и гиена.

Собирались они и до света
Выли у реки Елизавета,
А потом в домино играли.

И так быстро летело время,
Что простое крапивное семя
Успевало взойти крапивой.

Это было еще до Адама,
В небесах жил не Бог, а Брама,
И на все он смотрел сквозь пальцы.

Жить да жить бы им без печали!
Но однажды в ночь переспали
Вместе оборотень и гиена.

И родился у них ребенок,
Не то птица, не то котенок,
Он радушно был взят в компанью.

Вот собрались они, как обычно,
И, повыв над рекой отлично,
Как всегда, за игру засели.

И играли, играли, играли,
Как играть приходилось едва ли
Им, до одури, до одышки.

Только выиграл все ребенок:
И бездонный пивной бочонок,
И поля, и угодья, и замок.

Закричал, раздувшись как груда:
«Уходите вы все отсюда,
Я ни с кем не стану делиться!

Только добрую старую маму
Посажу я в ту самую яму,
Где была берлога дракона».

Вечером по берегу Елизабета
Ехала черная карета,
А в карете сидел старый дьявол.

Позади тащились другие,
Озабоченные, больные,
Глухо кашляя, подвывая.

Кто храбрился, кто ныл, кто сердился…
А тогда уж Адам родился.
Бог, спаси Адама и Еву!

Гумилев собирался на войну.[338] Иногда заходила Анна Ахматова, тревожная и печальная. Он жил один в Петербурге. Все

у них было беспокойно, и нельзя было ничего расспрашивать. Чувствовалось, что говорить нельзя. Ахматова быстро уходила.

— Пойду посмотрю на него.

Было что-то больное и тревожное, чего нельзя было касаться.

Потом видела я Гумилева уже в военной форме. Все вскользь…

Я лежала в больнице в Париже. У меня был тиф. И зашел меня навестить Бинштоk, секретарь Союза иностранных писателей.

Он всегда ужасно волновался, и, хотя сидел далеко от меня, около дверей на стуле для посетителей, мне казалось, что от его волнения все бутылочки, рецепты, стаканы и баночки с моего больничного столика летят на пол, а висящий на стене термометр гонит ртуть до сорока.

Мне было худо. Я сказала Бинштоку:

— Ради Бога, ничего мне не рассказывайте. Меня все беспокоит, я очень больна. Не хочу знать ни плохого, ни хорошего.

— Я знаю, я знаю, — заторопился он. — Я утомлять не буду. Я только одно. Новость. Гумилев расстрелян.[339]

— О-о-о! Ведь я же просила. Зачем вы… Я так любила Гумилева! О-о-о!

И слышу дрожащее блеяние Бинштока:

— Дорогая! Я же думал, что это вас развлечет…

О Господи!

Кузмин

[340]

Первое, что поражало в Кузмине, это странное несоответствие между его головой, фигурой и манерами.

Большая ассирийская голова с огромными древними глазами, прожившими многие века в мраморе музейного саркофага, и маленькое, худенькое, щупленькое тельце, с трудом эту ассирийскую голову носящее, и ко всему этому какая-то «жантильность[341]» в позе и жестах, отставленный мизинчик не особенно выхоленной сухонькой ручки, держащей, как редкостный цветок, чайную чашку.

Прическа вычурная — старательные начесы на височки жиденьких волос, какие-то плоские крендельки — все придумано, обдумано и тщательно отделано. Губы слегка подкрашены, щеки откровенно нарумянены.

Его можно было без стеснения разглядывать, просто как

какое-то произведение чьей-то выдумки. Было сознание, что все это для того и сделано, чтобы люди смотрели, любовались и удивлялись. Иначе какой смысл был бы в таком рукоделии?

И представьте себе, что все это вместе взятое было очаровательно.

Конечно, немножко удивляли эти нечеловеческие глаза. Они были особенно некстати, когда он пел свои легкомысленные, легковесные и жеманные стихи-бержеретки[342], слегка шепелявя и заикаясь.

Любовь не знает жалости,
Любовь так зла.
Ах, из-за всякой малости
Пронзает стрела.

Казалось, что этим ассирийским глазам неловко, что при них поют «такое».

Ах, можно ль у Венерина колодца
Стрелой любви, стрелой любви не уколоться.

Маленькие руки перебирают клавиши, манерно изгибается худенькое тело. Глаза целомудренно опущены. Да, конечно, им неловко. Немножко стыдно…

Любовь нам ставит сети
Из тонких шелков.
Любовники, как дети,
Ищут оков.

— Когда же это дети ищут оков? Странно.

Но это никого не удивляет, потому что это прелестно. Это ново. Это необычайно. Разве когда-нибудь где-нибудь было что-нибудь подобное — вот такое сочетание, нелепое, художественно противоречивое и вместе с тем очаровательное.

Если бы создавать это явление (иначе не назовешь) обдуманно и со смыслом, то для такой ассирийской головы нужно было бы слепить сухое, но сильное тело с длинными, под прямым углом остро согнутыми в коленях ногами и у ног этих положить крутогривого оскаленного льва или даже лучше — двух львов, носами друг к другу, завитыми хвостами врозь.

…Если бы я был твоим рабом последним…[343]

Не помню. Что-то про пыль сандалий… Это для ассирийских глаз подходило. Через горечь рабского унижения они могли бы пройти, а вот через бержеретки — только опустив ресницы.

О Кузмине говорили, что он когда-то был «весь в русских настроениях», носил косоворотку и писал патриотически-русские стихи. Но стихов этих в нашем кругу никто не видал. Его салонная карьера началась с Венерина колодца и сразу была принята и прославлена нашими эстетами.

Серьезные музыканты хвалили его музыку. Улыбались, покачивали головами.

— Это, конечно, пустячки, но так очаровательно!

Вы так близки мне, так родны,
Что будто вы и не любимы,
Должно быть, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.
А ваша синяя тетрадь
С стихами — было все так ново.
И понял я, что вот — страдать
И значит полюбить другого.

Потом, когда мы ближе познакомились и я уже привыкла к разнобою в его личности, я уже могла просто интересно с ним разговаривать, а вначале я так прилежно его рассматривала, что даже теряла нить разговора.

Иногда он приходил ко мне со своей нотной тетрадью. В ней были записи его музыки. «Хождение по мукам Богородицы». Играл он тоже немного заикаясь, как и читал стихи. И к этому привыкла, и это стало очаровательно.

Как-то он вскользь сказал, что любит мои стихи.

— Некоторые…

Я даже в «некоторые» не поверила. Подумала: «Вот как он сегодня мило любезен».

Но вот раз, сидя у рояля, он начал вполголоса напевать. Слышу как будто что-то знакомое и не знаю что.

— Что это такое?

Он удивленно поднял брови и продолжал напевать-бормотать, аккомпанируя себе одной рукой. Слышу:

И если о любви она поет — взгляните,
Как губы у нее бледнеют и дрожат.

Должно быть, там у них, на островах Таити,
Любовь считается смертельный яд.

«Быть не может! Да ведь это мое! Значит, действительно стихи ему понравились».

Это было коротенькое стихотворение, посвященное Каза-Розе:

Быть может, родина ее на островах Таити,
Быть может, ей всегда всего пятнадцать лет…
Вот почему надет витой из тонкой нити
На смуглой ножке золотой браслет.

Мне было приятно. Я не честолюбива, и я скорее удивлялась, чем чувствовала себя польщенной, но удивление это было приятное.

О Кузмине говорили, что он кривляется, ломается, жеманничает.

В начале салонной его карьеры можно было подумать, что ломается он, вероятно, просто от смущения. Но потом, так как манера его не изменилась, уже стало ясно, что это не смущение, а манера обдуманная, которая так ясно всеми одобряется, что исправлять ее было бы непрактично. Но заикался и шепелявил он уже вполне искренне. Между прочим, тогда многие из наших поэтов были косноязычными. Это очень ярко выяснилось, когда Федор Сологуб пригласил их участвовать в представлении его пьесы. Удивительно, какая оказалась у всех каша во рту. Так, Сергей Городецкий ни за что не мог выговорить слова «волшебный». Он отчетливо говорил «ворфебный».

Кузмин никогда не бывал один. У него была своя свита — все начинающие поэты, молодые, почти мальчики, целая беспокойная стайка, и все, или почти все, почему-то Юрочки. Были между ними и такие, которые стихов пока что еще не писали, но во всем остальном были совсем определенные поэты. Немножко жеманились, немножко картавили, и все обожали Оскара Уайльда. Не все, конечно, читали его произведения, но зато все твердо знали, что он был влюблен в молодого лорда Дугласа. В нашем кругу лордов не было, но они были, завитые, томные, кружевные и болезненно-бледные, в мечтах и стихах у Юрочек.

Приблизительно в это же время появился талантливый мужичок Клюев[344]. Он был уже немолодой и очень некрасивый. Стихи писал «русские». Писал, как баба оплакивала сыночка,

обнимала березку причитаючи, называла березку Ванюшкой.

Меня очень удивило следующее открытие: как-то на каком-то благотворительном вечере мне пришлось читать вместе с Клюевым. Распорядитель спросил меня:

— Вы какое освещение предпочитаете?

— Безразлично, — отвечала я. — Пусть только будет хорошо освещена книга, по которой я читаю.

Он покачал головой.

— Вон, смотрите пожалуйста, а еще дама. А вот перед вами читал Клюев, так тот приехал за полчаса до начала вечера и с зеркальцем репетировал освещение. Мне, говорит, больше идет, когда свет снизу, как на сцене, а у вас лампы только сверху. Я не хочу, чтобы вы меня уродовали. Это недопустимо. Очень волновался, сердился, хотел отказаться читать.

Как все это удивительно! Никак нельзя было подумать, что этот мужичок такой эстет и кокет. Вот какие завелись у нас самовлюбленные нарциссы.

Потом пригляделась к нему. Да. Губы подмазаны и подрумянены щеки. А ведь совсем свеженький мужичок, прямо из деревни, и притом немолодой и некрасивый.

Он привез с собой Есенина.

На наших сологубовских собраниях Есенин показывался редко. А на те большие вечера, где поэты ходили в кофтах и густо ругались с эстрады, парируя ругань публики, на те вечера я не ходила. Я всегда боялась пьяных. Никогда не забуду пьяного, мокрого Хлебникова[345], мычавшего что-то почти коровье. Про него написал какой-то критик: «У Хлебникова есть уважение к корням».

Несмотря на уважение к корням, Хлебников напечатал какие-то слова, даже целые фразы, составленные из звуков собственного сочинения. Фразы эти можно было читать слева направо и обратно, и они выходили одинаковыми.

Я выразила свое недоумение печатно.

Мне ответил хлебниковский критик с негодованием:

— Как же вы не понимаете? Ведь это — перевертень. Можете читать в обе стороны. Это гениально.

В детстве мы интересовались такими перевертнями. Писали: «А роза упала на лапу Азора». Или: «Уведи у вора корову и деву». Нас забавляло, что в обе стороны смысл выходил одинаковый. А у Хлебникова ни в ту, ни в другую сторону никакого смысла не получалось, потому что фразы составлялись из несуществующих слов.

Но раз человек уважает корни, так и нечего к нему придираться. Хоть что нибудь на белом свете уважает этот

человек! Это с его стороны очень почтенно.

У Сологуба эта компания — Бурлюки[346], Маяковский, Хлебников — не бывала. В «Бродячей собаке» я их тоже не видала. Они не подходили к стилю. Там танцевала Карсавина, танцевала свою знаменитую полечку Олечка Судейкина[347], там чаровал Кузмин.

Кузмин пел без голоса, заикался в словах и заикался пальцами на клавишах.

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь.
Ранней весною срывают фиалки.
Летом фиалок уж ты не найдешь.

Теперь твои губы — что сок земляники,
Щеки — что розы Глуар де Дижон.
Теперь твои кудри — что шелк золотистый,
Твои поцелуи — что липовый мед.

Дитя, торопись, торопись,
Помни, что летом фиалок уж нет.

Я знала, кто вдохновил его на эти стихи. Я видела его в «Бродячей собаке». Дитя было розовое, белокурое, золотистое, в гусарском мундире. Фамилия его была Князев. Он тоже был поэтом и даже выпустил книжку стихов. Но он не послушался предостережений Кузмина, он потянулся за розой — влюбился в Олечку Судейкину. Олечка отнеслась к его чувству легкомысленно, и молодой поэт застрелился.

«Помни, что летом фиалок уж нет».

Он был очень красив. Судейкин (тоже Юрочка)[348] рисовал его в виде ангела.

Юрочки читали в «Бродячей собаке» свои стихи. Из них впоследствии выдвинулись прославленные поэты — Георгий Адамович[349], Георгий Иванов.

Самый близкий Кузмину Юрочка был Юрочкой в квадрате — Юрий Юркун[350]. Не знаю, писал ли он что-нибудь, но поэтом считался.

Георгий Иванов приходил в «Бродячую собаку» еще в кадетском мундирчике и казался совсем маленьким мальчиком.

В окружении Кузмина вращался его родственник Ауслендер[351], худенький малокровный мальчик с огромным лбом, писал много рассказов, не особенно хороших. Носил гимназическую блузу, но без кушака. Увидя этот странный

туалет, один из не посвященных в литературную жизнь спросил у меня:

— А этот что? должно быть, тоже гениальный?

— Нет, он полугений.

— Это что же значит?

— Один умный человек сказал, что гений — это талант плюс напряженная работа. Так вот, половина гения в нем есть. Есть напряженная работа.

Кузмин был признан, и не только признан — он был любим. У него не было литературных врагов.

— Теперь в моде слово «очаровательный», — говорил Федор Сологуб. — Вот про Кузмина все говорят «очаровательный».

Федор Сологуб, как ни странно, подпал под некоторое влияние Кузмина. Он неожиданно стал тоже сочинять бержеретки. Помню его песенку о пастушке, которая купалась, стала тонуть и звать на помощь. Спасать прибежал пастушок.

Младой младу влечет на мель.

Бержеретке придан русский стиль, которого у Кузмина не было.

Страх гонит стыд, стыд гонит страх,
Пастушка вопиет в слезах:
«Забудь, что видел ты».

Такова была бержеретка Сологуба, навеянная песенками Кузмина. До этого Сологуб бержереток не писал.

Начал сочинять бержеретки и молодой поэт П. Потемкин[352].

У ручейка, где незабудочки,
Амур, шалун, пять летних дней
Учил меня играть на дудочке,
И я нашла отраду в ней,
В его прелестной будочке,
В его чудесной дудочке,
У ручейка, где незабудочки.

Настроение царило грациозное и шаловливое. Версаль.

Кузмин бывал у меня редко. Приходил не в приемный день, один или с нашим общим другом Д. Щ-вым. Подарил мне альбом

«Версаль». Подарок этот очень меня удивил. Я тогда увлекалась черным Востоком — Ассирией, Халдеей, писала пьесу о царице Шамурамат[353], так небесно-чисто полюбившей труп царевича Арея из вражеского племени Урарту, что боги обратили ее в голубя, и, умирая, она улетела со стаей серебряных птиц. Ну при чем тут жеманный Версаль? Моих друзей тоже очень удивил такой подарок.

В дни революции я его не видала.

О его настроениях узнала уже в эмиграции, куда дошло его предсмертное стихотворение. Оно как-то попало к Зинаиде Гиппиус, она мне его и передала.

Преддверие смерти не было у Кузмина похожим на его версальские напевы.

Декабрь морозит в небе розовом,[354]
Нетопленый темнеет дом,
И мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию и ждем.
И ждем чего? Самим известно ли:
Какой спасительной руки?
Уж вспухнувшие пальцы треснули
И развалились башмаки.
Пошли нам крепкое терпение,
И твердый дух, и легкий сон,
И милых книг святое чтение,
И неизменный небосклон.
Но если в небе ангел склонится
И скажет — это навсегда,
Пускай померкнет беззаконница —
Меня водившая звезда.
Но только в ссылке, только в ссылке мы,
О, бедная моя любовь.
Струями нежными и пылкими
Родная согревает кровь.

Окрашивает щеки розово —
Но холоден минутный дом.
И мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию и ждем.

Игорь Северянин

[355]

Он появился у меня как поклонник моей сестры поэтессы Мирры Лохвицкой, которую он никогда в жизни не видел, но всю жизнь любил.

Я сам себе боюсь признаться,[356]
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрил Надсон,
А я и Мирра в стороне.

Ну, про Мирру этого нельзя было сказать. Ее талант был отмечен тремя Пушкинскими премиями, четвертая — посмертная. Да и век ее был недолгий — она умерла тридцати четырех лет. Игорь Северянин посвятил ей много стихотворений и часто брал эпиграфом строчки из ее стихов. Подобрал даже забавную рифму к нашей фамилии:

Офиалчен и оли́лиен озерзамок Мирры Лохвицкой.[357]
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс.
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской…

Игорь был высокого роста, лицо длинное, особая примета — огромные, тяжелые черные брови. Это первое, что останавливало внимание и оставалось в памяти. Игорь Северянин — брови. Голос у него был зычный, читал стихи нараспев.

Первый раз выступил он перед публикой на вечере у студентов, кажется технологов. Этот вечер был устроен студентами для меня, то есть я должна была читать, а они продавали программы с моим портретом и автографом в пользу своих нуждающихся товарищей. Я взяла с собой Игоря.

Вот Игорь вышел на эстраду, гордо откинул голову, оглядел публику орлиным взглядом и начал:

Как мечтать хорошо Вам[358]
В гамаке камышовом,
Над мистическим оком — над безтинным прудом!
Как мечты-сюрпризерки
Над качалкой грезерки
Истомленно лунятся: то — Верлен, то — Прюдом…

Молодая аудитория — студенты, курсистки — переглядывались, перешептывались, пересмеивались. Не понимали — хорошо это или просто смешно.

Я была серьезна и слушала сосредоточенно. Надо было постараться, чтобы публика Игоря приняла.

А он начал новое:

> В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —[359]
>
> Вы такая эстетная, Вы такая изящная…
> Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам?
> Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым…

Когда он кончил, я подошла к эстраде и торжественно поднесла ему букет голубых тюльпанов, только что появившихся в продаже и одобренных нашими эстетами «за ненормальность». Так как на этом вечере я была ведетта, то такое с моей стороны уважение к таланту Северянина много подняло его в глазах публики. Стали аплодировать и просить еще. Так произошло крещение Игоря. А года через два, когда он понравился Сологубу и тот повез его в турне по всей России, он вернулся уже прославленным поэтом[360] и никого не смущало заявление с эстрады, что он гений и что у него «дворец двенадцатиэтажный и принцесса в каждом этаже»[361].

> Я, гений Игорь-Северянин,[362]
> Своей победой упоен:
> Я повсеградно оэкранен!
> Я повседневно утвержден!
> Я, год назад, сказал: «Я буду!»
> Год отсверкал, и вот — я есть!
> Среди друзей я зрил Иуду,
> Но не его отверг, а — месть.
> От Баязета к Порт-Артуру
> Черту упорную провел.
> Я покорил Литературу!
> Взорлил, гремучий, на престол!

Первые стихотворения его были какие-то чересчур галантерейные. В них много говорилось и о платьях муаровых, о каких-то интервалах брокаровых, дорогих туалетах, изысканных духах, башмаках и перчатках. Одним словом — одеколон.

Потом, вероятно, под некоторым надзором Сологуба, одеколон исчез. Сологуб помог ему выпустить книгу, которую окрестил тютчевскими словами «Громокипящий кубок»[363]. Книга эта имела успех у читателей. Нравились как раз совсем

ненужные фокусы вроде: «Шампанское в лилию, в шампанское лилию…»[364] и т. д. Или такие «эстетные строчки»:

Кто мне сказал, что у меня есть муж
И трижды овесененный ребенок?
Ведь это вздор! Ведь это просто чушь!
Ложусь в траву, теряя пять гребенок.

Их заучивали на память, декламировали полушутя, полу с удовольствием.

Моя двусмысленная слава
И недвусмысленный талант.

Он скоро принял позу гения, утомленного славой.

Я так устал от льстивой свиты[365]
И от мучительных похвал.
Мне скучен королевский титул,
Которым Бог меня венчал.
Вокруг талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь,
И только Вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь.

Всем запомнилось его забавное патриотическое стихотворение, написанное в начале войны, в котором он говорит, что в случае военных неудач:

То я, ваш нежный, ваш единственный,[366]
Сам поведу вас на Берлин.

Но, будучи призванным, оказался к военному делу не подходящим, и по самой странной причине — он никак не мог отличить правой ноги от левой. Бились с ним, бились и в конце концов отправили его в лазарет.

Он чтил во мне сестру Мирры Лохвицкой и в стихах называл меня «Ирисной Тэффи», но виделись мы редко.

Наши встречи — Виктория Регия:[367]
Редко, редко в цвету…

Критики отнеслись к его книге холодно. Хотя в ней были и очень хорошие стихи. Я помню переложенные на музыку, кажется А. Гречаниновым[368]:

Весенний день горяч и золот[369], —
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова — я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!

Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на ты…
Какой простор! какая воля!
Какие песни и цветы!

Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!

Но читатели больше ценили:

Королева играла в башне замка Шопена,[370]
И, внимая Шопену, полюбил ее паж…

В его книжке среди принцесс и муаров я нашла прелестное стихотворение, странно созвучное стихам Иннокентия Анненского

Весенняя яблоня[371]

Весенней яблони в нетающем снегу
Без содрогания я видеть не могу:
Горбатой девушкой — прекрасной, но немой —
Трепещет дерево, туманя гений мой…
Как будто в зеркало — смотрясь в широкий плес,
Она старается смахнуть росинки слез,
И ужасается, и стонет, как арба.
Вняв отражению зловещего горба.

Когда на озеро слетает сон стальной,
Бываю с яблоней, как с девушкой больной,
И, полный нежности и ласковой тоски,
Благоуханные целую лепестки.
Тогда доверчиво, не сдерживая слез,

Она касается слегка моих волос,
Потом берет меня в ветвистое кольцо, —
И я целую ей цветущее лицо…

Здесь, конечно, ужасны слова «гений мой». Но это и есть горе Игоря Северянина. Этот «гений» — это и есть его проклятое тавро.

Революция угнала его в Эстонию. Жилось ему очень плохо. Как-то он показался ненадолго в Париже[372]. Приезжал с женой-эстонкой, которая «тоже писала стихи».

Ему устроили вечер. Он стоял на эстраде все такой же, только немножко похудевший, и брови стали как будто еще чернее и толще.

Мы знали, что он голодал в Эстонии, и этим вечером хотели ему помочь.

— У меня голубая лодка, у меня поэтесса жена.

Он целые дни ловил рыбу со своей голубой лодки и от сверкающей водной ряби стал терять зрение. В новых стихах его уже не было ни принцесс, ни муаров. Они были простые и грустные. Последнее кончалось словами:

Так каково быть поэтом[373]
На вашей жестокой земле.

Он пробовал еще выпускать маленькие книжки, но продавать их было трудно.

Он скоро умер.

Лоло

[374]

Умер Лоло, известный поэт-сатирик, автор многих маленьких пьес в стихах, переводчик «Гейши»[375], издатель журнала «Рампа и жизнь», человек, в свое время очень популярный в литературных и газетных кругах Москвы.

Смерть его не явилась неожиданностью. Она была, если можно так выразиться, логична. С тех пор как он потерял свою жену, он уже не жил.[376] Он доживал и ждал. Они столько лет и так дружно были вместе, что жить один он уже не мог. Казалось, как будто она здесь за дверью, остановилась и ждет его.

— Ну что же ты, Лоло? Иди же скорее. Вечно ты опаздываешь.

И он наскоро собрал свои визы и пропуски из жизни: болезнь, старость, одиночество и смертельную свою тоску, — и быстро догнал ушедшую.

И теперь, вспоминая о Лоло, никак нельзя отделить его от нее, от Веры Николаевны, его верной подруги, наполнявшей всю его жизнь.

Лоло по характеру был довольно мрачным — остроумие не есть веселье. Вера Николаевна была всегда бодра и весела. Покойный Дорошевич сказал как-то о ней Лоло: «Вам легко справляться со всякими житейскими невзгодами, когда около вас такой веселящий газ».

Кроме неугасаемой своей веселости, она поддерживала его и неутомимой энергией. Чего только она не делала. Играла на сцене, писала скетчи, шила платья, делала шляпки, даже на картах гадала. Она любила Лоло. С большим юмором рассказывала она, как однажды пошли они вместе в концерт. Он пришел в зал раньше, и она не знала, где он, спросила в контроле, не проходил ли тут сейчас господин «такой черненький, с усиками». «Нет, — ответил контролер. — Старичок плешивенький, действительно, прошел, а черненького не было».

— Подумай только, Лоло, — говорила она. — Я тебя все еще видела черненьким с усиками, а ты оказываешься плешивый старичок.

Когда Вера Николаевна заболевала, Лоло делался совсем несчастным и беспомощным. Помню, раз принес он из кухни кастрюльку с водой. Показывает:

— Посмотри, Вера Николаевна: что, эта вода уже кипела?

Я хорошо знала Лоло. Мы даже вместе написали оперетку «Екатерина Вторая», шедшую с большим успехом в Москве, сколько мне помнится, в 18-м году. Очень нравились публике «минаевские» рифмы Лоло[377], на которые он действительно был мастер. В оперетке этой одному из фаворитов Екатерины посвящаются куплеты:

Пусть носит он носки Петра,
Пусть носит парики Петра,
Но скипетра, но скипетра
Ему не увидать.

Между прочим, на премьере этой оперетки сидел с нами в нашей «авторской» ложе Влад. Ив. Немирович-Данченко[378] и в антракте сказал:

— А знаете, мне сейчас пришло в голову, что следовало бы заняться опереткой. Ведь это особое художественно-театральное представление, оно имеет влияние на зрителя и как сатира.

Впоследствии он действительно заинтересовался этим родом сценического искусства.

Музыку к оперетке подбирал нам один известный в Москве музыкант — чех. Музыка была не оригинальна, заимствована из опереток Оффенбаха, главным образом из «Герцогини Герольштейнской»[379]. И нужно же было выбрать для этого дела чеха, который по свойству своего языка делал все наши ударения неправильными. Слова: «Милый рыцарь, ты будешь, ты будешь моим», чех подбирал: «Милый рыцарь, милый рыцарь, ты будешь моим».

И грустно недоумевал, что намеченная им музыка не подходит.

Чех старался, и прогнать его было жалко, но мы пропадали, я от смеха, Лоло — от отчаяния. В конце концов дело наладилось. Чех согласился следовать нашим «неправильным» ударениям.

Как-то несколько лет тому назад попалась мне на глаза в советской газете заметка о том, что оперетку нашу, «несколько освежив», собираются снова поставить.

Между прочим, в этой оперетке роль Потемкина играл знаменитый Монахов[380]. Немирович обратил тогда на него особое внимание, **и** впоследствии Монахов был приглашен в драматический театр. Актером он оказался великолепным.

Феноменальная близорукость Лоло ставила его иногда прямо в анекдотические положения.

Он сам рассказывал:

Прохожу я мимо соседнего подъезда, вижу — какой-то господин, страшно знакомое лицо. У меня всегда истории, все на меня обижаются, что я никогда не узнаю. Но вот тут, слава Богу, узнал. Делаю приветливое лицо, хватаю его за руку, трясу ему руку: «Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как вы?» А он как-то упирается: «Да я ведь, — говорит, — здешний швейцар». А я в ответ, совсем уж по-дурацки: «Все равно, мне все равно». Получилось, как будто мне лишь бы трясти руку, а кому — это уже безразлично.

На улице он всегда боялся стукнуться лбом о фонарный столб. Такой случай был с ним в Остенде. «У них море и небо одинаково блекло-голубые и таким же цветом выкрашены фонарные столбы Ясно, что близорукий человек не отличит, где небо, где фонарь, **и** треснется лбом». Он именно треснулся лбом, причем разбил пенсне. И сколько ни искали осколков — не нашли. Тогда Лоло, как человек болезненно-мнительный, решил, что кусочки стекла влезли ему в глаз. Пошел к окулисту. Тот выслушал, посмотрел глаза, покачал головой и велел Лоло попить валерьянки и полежать дня два в постели. Пенсне нашлось в зонтике Веры Николаевны. На другой день пошла гулять, стал

накрапывать дождь, она раскрыла зонтик, и пенсне вывалилось ей на голову. Лоло это было очень неприятно. Он так ясно чувствовал, как стеклышки шевелятся у него внутри глаз у самого носа.

В Кисловодске мы часто встречались с Лоло в парке или у источника, причем я всегда торопилась, а он плелся еле-еле, напуганный на всю жизнь фонарным столбом.

Раз встречает нас Вера Николаевна и говорит:

— Опять вместе гуляете. Уж дети играть стали.

— Какие дети?

— Около нашего отеля ходит девочка, машет тросточкой, а за ней мальчик. Девочка говорит: «Мне некогда, мне некогда». А мальчик нарочно спотыкается и повторяет: «Я все-таки провожу, все-таки провожу». Я спрашиваю: «Что это вы делаете?» А они говорят: «Это мы играем в Тэффи и Лоло». Я их похвалила, что игра, конечно, очень веселая, только не надо спотыкаться, а надо прямо бац головой в стенку.

Как заботливая жена, Вера Николаевна всегда интересовалась делами мужа и, как всякая жена, снабжала его практическими советами. Вернулся раз Лоло из дирекции театра, которому предлагал свою пьесу.

— Аванс взял?

— Они пьесу не приняли.

— А ты спросил аванс?

— Так я ж тебе говорю, что пьесу не приняли.

— Ну а ты аванс спросил?

— Да пойми, несчастная, что они пьесу не приняли.

— Ну так я и знала, что он забудет спросить.

Манера работать у Лоло была странная. Писал он почему-то в проходной комнате на уголке стола, заваленного всякой дрянью. Тут были и старые газеты, и яблоки, и второй том «Анны Карениной», и корректурные листы «Рампы», и корсет Веры Николаевны. Чернильницы у него не было. Перо макал в полупустой пузырек с густым чернильным отстоем и с мухами. Близоруко поднимая каждый раз пузырек к носу, щурил на него левый глаз, правый совсем закрывал и долго целился попасть пером в узенькое горлышко.

Кругом ходили люди, громко разговаривали, тянули с этого самого стола какие-нибудь бумаги или газеты.

— Вера Николаевна, — говорила я. — Ведь ему мешают, нельзя же так.

Она только рукой отмахивалась.

— Неужели вы думаете, что он что-нибудь слышит? Он, когда пишет, так все равно что в яме сидит.

Действительно: пришел дворник, принес какую-то квитанцию, вытянул из руки Лоло перо, расписался, вставил перо снова ему в руку. Видно было, что это дело обычное. И Лоло совершенно спокойно покрутил перо в пальцах, наладился и пошел поскрипывать по обрывку бумаги как ни в чем не бывало. По-видимому, он дворника даже не заметил.

В эмиграции Лоло продолжал свою газетную работу, писал остроумные фельетоны в стихах, сотрудничал в «Летучей мыши» Балиева, ездил с театром «Маски» (тоже балиевского жанра) по Европе[381]. Вера Николаевна играла его скетчи и пела в хоре.

— Если бы мне в Москве предсказали, что я буду петь в театре бельгийской Королевской оперы, я бы тут же сошла с ума, — говорила она. — А вот пела, запевала — и хоть бы что.

Последние годы оккупации им жилось тяжело. Оба хворали и, конечно, нуждались. «Семьдесят лет — годы расточительные, — писал он. — Одни лекарства сколько стоят».

После смерти Веры Николаевны Лоло совсем притих, отошел от жизни.

Мало говорил, мало читал. Близорукие глаза его совсем устали. Да и не хотел. В силу особенности своего таланта привык смотреть на жизнь и людей немножко иронически, отмечая все усмешкой, шуткой, острым словцом. Погасла улыбка, отлетела шутка, отмечать главное устали глаза. Он их закрыл и повернулся к стене.

Тяжело так уходить, Лоло?

Что поделаешь? Надо дорого платить за высокое счастье земной нашей жизни, за долгую, до гроба верную любовь.

А меня, Лоло, уже не проводите. Как-нибудь одна дойду.

Илья Фондаминский

[382]

Я бы не стала писать о Фондаминском. Мне трудно рассказать о нем так, как бы я хотела. Но есть нечто, что заставляет меня это сделать. Это его слова о людях, душевно близких друг другу: «После смерти такого близкого непременно надо вспомнить и рассказать о нем». Сам он после смерти своей жены выпустил о ней целую книгу, в которой собрал воспоминания всех ее друзей.

Сложную дорогу его души я рассказать не могу и не смею за это браться. Я хотела бы только наметить те простые этапы его

пути, которые развертывались перед нашими глазами, то, что мы все видели и в меру собственных душевных сил понимали.

Илья Фондаминский был праведник.

Так говорят о нем все его хорошо знавшие. Не все одинаково, но в долгом о нем разговоре слово это мелькнет неминуемо.

Трудно думать, что вот среди нас, в нашей плохой и злой жизни жил человек, которого можно назвать таким именем. Жил нашей жизнью среднего русского интеллигента, не проповедовал, не учил, не юродствовал и был праведником. Достоевский, рассказывая о таком же праведнике, сделал его эпилептиком и даже назвал «идиотом». Это необходимо было, чтобы легче, убедительнее и приемлемее стало такое чудо — жизнь праведника среди нас.

В своей прекрасной статье о нем (Новый журнал, книга 18-я) Г. П. Федотов, называя И. Фондаминского праведником[383], делает странное замечание: «Правда, шансов на канонизацию у него, еврея и эсера, не много…»

Но разве апостолы и святые ранней зари христианства не были почти сплошь евреями? И разве не было среди канонизированных праведников людей с самым лютым звериным прошлым, пострашнее эсеровских речей Илюши Фондаминского?

Но в этих строках превосходной статьи Г. П. Федотова очень значительно, что такой вопрос, хотя бы с полуотрицательным ответом, мог быть поставлен.

О своей молодости Фондаминский говорил немного и всегда с усмешкой.

Чуть ли не с гимназической скамьи начал он выступать как партийный оратор, носил кличку Лассаля и Непобедимого[384]. Говорил всегда пламенно и увлекательно, не столько убедительно, сколько убежденно. Красивый и приятный, он нравился. Происходил из состоятельной семьи и, конечно, все, что мог, отдавал на партию.

Я его в те времена не знала, а рассказать хочу только то, что сама видела. Встретились мы в эмиграции, а подружились только перед самой войной, уже после смерти его жены.

Многие ставили ему в упрек, что в привязанности его нет горячей любви, что он «тепленький» и любит всех одинаково, а каждому другу, естественно, хочется быть исключительным и единственным.

Он даже как-то сказал:

— Собственно говоря, не надо даже видеть своих друзей. Достя точно знать, что они существуют, и любить их и, если им плохо, спешить к ним на помощь.

Я никогда не упрекала его за тепленькую любовь. Ведь эта всемирная любовь, любовь жертвенная к человеку, а главное, мука за его страдания, это и был его тайный, подспудный огонек, пламени которого мы не видели, но тепло чувствовали. Это и есть идеальная христианская любовь, та самая, которая «не ищет своего» и которую с таким трудом воспитывают в себе монахи.

Как он жил среди нас?

Он очень увлекался своей работой — писал «Пути России»[385]. Но и вся жизнь его, обращенная к людям, была очень деятельная. У него был необычайный организаторский талант. Думаю, что и развился у него этот талант от постоянного старания помочь людям, придумать для них какой-нибудь выход. Так он устроил ряд докладов, чтобы спасти «Современные записки»[386]. Основал орден «рыцарей русской интеллигенции». Рыцари бегали, продавали билеты, создалось соревнование, и дело удалось великолепно.

Чтобы поддержать парижских поэтов, основал «Круг», члены которого должны были продавать книжку очередного поэта и на вырученные деньги печатать книжку следующего. Все было организовано умно и осторожно, самолюбие не было задето, каждый работал для себя и для других, и не чувствовалась рука благотворителя, которая все-таки создавала и направляла все дело.

Одному молодому поэту, недурно рисовавшему[387], он посоветовал рисовать художественные открытки и взялся их продавать. Поэт был гордый, и просто денежная помощь его бы смутила, но продавать свои картинки — в этом не было ничего унизительного. Само собою разумеется, что почти все картинки покупал Илюша сам и дарил их только тем знакомым, у которых поэт никогда не бывал и увидеть их не мог.

Он устраивал лекции для молодежи по русской истории, по православной религии, помогал русскому театру.

Помню, какая-то труппа жаловалась ему на безвыходное положение. Предложили выгодную поездку, а денег на выезд не было. Илюша снял жемчуг с шеи своей жены:

— Вот сейчас же заложите и начинайте работать. Потом сосчитаемся.

Помощь его всегда была простая, какая-то «естественная», точно иначе и быть не могло.

Илюша искал чужое страдание. Он откликался на него спешно, точно боялся опоздать, точно некий голос звал его и торопил и он на ходу отвечал:

— Я здесь.

Умер священник Е. Илюша лично совсем мало знал его,

может быть, даже и совсем не знал, но услышал, что семье покойного очень тяжело, что будто бы хотят отнять у них квартиру и что вдова в отчаянии. Он сейчас же пошел к ним, и первые слова его были, как всегда, спешные и радостные:

— Ни о чем не беспокойтесь. За квартиру уже заплачено.

Сразу же стал своим, близким, водил детей в синема, помогал вдове устроить дела, и не отходил от них, и присматривал, пока не наладил им нормальную жизнь.

Одну женщину бросил муж. И ее Илюша очень мало знал. Ни в каком отношении она интереса не представляла. Но, услышав о ее отчаянии, он сейчас же под каким-то предлогом пошел к ней, стал всячески ее успокаивать и развлекать, водил на концерты и в конце концов убедил ее, что жизнь ее не кончена, что она всем нужна и дорога. И она пережила удар и вошла в жизнь.

Займы у Илюши было делом обычным. Одна постоянная его «клиентка» как-то жаловалась мне:

— Я ему говорю, что только до вторника, а он смеется: «Вы ведь никогда не отдаете». Раз уж ты святой, так и нечего высчитывать, отдаю или не отдаю.

— Да ведь он вовсе и не выдает себя за святого. Это вы его так пожаловали.

— Ну как так! Все кричат — святой, святой! Вот вам и святой, не лучше нас, грешных.

Несмотря на свое раздражение, деньги она, конечно, взяла и, конечно, не отдала.

Приключилась как-то с одним парижским журналистом большая неприятность — он растратил вверенную ему очень значительную по тем временам сумму. Назревал крупный скандал, а для журналиста совсем гибель. Уже кое-какие литературные дамы приготовились в благородном негодовании закрыть перед ним свои двери и не подавать руки. Илюша сказал:

— Все эти их руки, конечно, ерунда, а вот каково сейчас ему…

И он уладил все очень быстро и очень просто: внес целиком растраченные деньги, и на этом вся история и закончилась. И забыли о ней скоро и окончательно.

Илюша был красивый, но на внешность свою не обращал никакого внимания и даже сверх меры мало ею занимался, так что даже огорчал своих друзей.

— Илюша, голубчик, ради Бога, побрейся. Смотри, ты созвал почтенных людей, это невежливо — выходить к ним в таком виде.

— Да? Неужели невежливо?

— Конечно. Они могут обидеться.

— Ну, в таком случае делать нечего. Побреюсь.

Одежда, еда, жилище — все это никакой роли в его жизни не играло.

Иногда он мечтал, что хорошо бы завести какую-нибудь добрую старую нянюшку, которая бы обо всем заботилась. Но я отлично понимала, что нянюшка нужна ему не для заботы и ухода за ним. Он все равно не брился бы, и не менял воротничка, и не приходил бы вовремя к обеду. Она нужна была для атмосферы любви, душевного уюта и нежности. И само собою разумеется, что не нянюшка бы о нем заботилась, а он о ней.

Как-то, уже перед самой войной, пришла к нему неизвестная молодая женщина, очень измученная, усталая и какая-то безнадежно несчастная. Он с умилением рассказывал, что она была такая вся разбитая, что когда он вышел на несколько минут к телефону, то, вернувшись, застал ее уже спящей. Она сбросила башмаки, прикорнула в уголок дивана и так мгновенно и заснула.

У нее было письмо к В. М. Зензинову[388], который жил тогда вместе с Илюшей. Кто-то попросил В. М. позаботиться об этой женщине, вдове известного большевика Р-ва, недавно скончавшегося на юге Франции[389]. Владимир Михайлович и Илюша решили уговорить ее переехать к ним. Квартира была большой.

— Я вам наделаю хлопот, — волновалась Р-ва. — У меня скоро должен родиться ребенок. Куда же я вам с ребенком.

— Именно с ребенком вы нам и нужны, — убеждал ее Илюша. — Без ребенка мы вас и не хотим.

Она осталась у них.

Как-то я зашла к Илюше. Он открыл мне двери совсем растерянный.

— Я не знаю, что мне делать. Ребенок кричит, а Р-ва ушла по делам. Я ничего не умею с ребенком. Как быть?

Он чувствовал себя совсем виноватым, что не умел пеленать детей.

Кое-как вдвоем помогли потомку лютого большевика, сунули ему соску в рот.

— Какая удивительная судьба, — рассказывал Илюша. — Вот этот самый Р-в, большевистский морской комиссар, производил обыск на пароходе, на котором я находился. Он меня отлично знал в лицо и, конечно, узнал, но отвел глаза. Пожалел, что ли? Спас от расстрела И вот теперь его жена и ребенок приютились у меня.

У Илюши она быстро поправилась. Стала искать работу и, кажется, даже нашла. Вошла в жизнь. Когда к Парижу подходили немцы, Илюша отправил ее с ребенком куда-то на юг. Писал мне в

Биарриц, чтобы я подбодряла ее письмами, но я сразу потеряла ее адрес, и наше знакомство кончилось. Куда она потом делась — неизвестно. Думаю, что Илюша дал ей какие-нибудь письма, наметил какую-нибудь нить жизни. В таком ужасе, в каком она пришла к нему, она, наверное, больше уже не оказалась.

Малые подвиги? Да.

Из малых кирпичиков строил Илюша высокую свою башню. Но вынуть один из таких кирпичиков, и будет горькой болью или даже черной смертью богаче жестокая наша земля.

— Что, Илюша, — говорила я ему, — все воскрешаете мертвых? Знаете, мне говорили, что по церковным правилам праведника можно канонизировать, только если удостоверены три совершенных им чуда. Самое великое чудо — это, конечно, воскрешение мертвых. А сколько мертвых душ вы воскресили? Хотите, сосчитаем? Я знаю много больше семи. Из них же первая… Я говорю не о тех мертвых, которые отпеты и зарыты на кладбище, а о тех, которые свидетельствуют Апокалипсис: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»[390]. Вот эти мертвые души воскрешаете вы, Илюша.

Натура у Илюши была художественная. Он любил и глубоко понимал музыку, интересовался живописью и литературой. Много книг прочел по искусству. Любил поэтические прогулки. Часто со своим другом, полковником Л., ехал куда-нибудь недалеко от Парижа, вылезали на какой-нибудь станции и отправлялись бродить. Для ночевки выбирали место поглуше, рано утром мылись у колодца. И всегда и везде заходил он в церковь.

— Всегда в дом Божий. И всегда в доме этом вдыхаешь молитвенный воздух.

Он был искренне и глубоко религиозен. Постоянно ходил в церковь. Сказал как-то:

— Меня очень мучает, что я не могу причаститься.

— Отчего же вы, такой верующий, не креститесь?

— Я еще не готов. Еще не достоин. Но я сказал жене, что в одной могиле с ней не буду.

Может быть, он еще не хотел огорчать своих близких по крови Когда долго и мучительно умирала его жена, одна из его приятельниц с усмешкой спросила:

— Ну что, Илюша, помогает тебе твой православный Бог?

— О да! — отвечал он радостно. — О да! Он мне помогает.

После смерти жены он служил панихиду по ней в православном храме.

Когда началось немецкое наступление, я, по совету Илюши, уехала в Биарриц.

Сам Илюша тоже скоро уехал.

Мне рассказывали его друзья, с которыми он проводил свое последнее лето где-то около По, о том душевном смятении, в котором он находился, не зная, как поступить. Его звали в Америку, и уже все было готово для его отъезда. Там были почти все друзья и единомышленники, весь тот культурный центр, к которому принадлежал Илюша. И там была возможность жить и работать. Но во Франции оставались те, которые уехать не смогли. Оставался лучший его друг, Мать Мария, и многие тихие, невидные и безымянные, духовно с ним связанные. И ему было бы стыдно перед ними за то, что поберег себя. Нет, он уехать не мог. Перед ним уже обозначилась другая дорога.

И он вернулся в свой пустой жуткий дом. Вернулся ждать — да свершится.

Немецкую победу Илюша переживал очень тяжело. В. М. Зензинов уехал в Финляндию. В большой пустой квартире Илюша был один. Сидел в огромном полутемном кабинете, где даже днем всегда горела лампа.

Еще до моего отъезда он часто в каком-то истерическом исступлении говорил мне:

— Тэффи! Тэффи! Не падайте духом! Демократии победят. В конце концов они должны победить. Верьте мне.

У него была великолепная библиотека. Многие советовали ему до победы демократий раздать ценные книги спрятать их у арийских друзей. Он не слушал и не интересовался такими советами. За него было страшно. Совсем, совсем один в этой мрачной квартире, в каком-то остановившемся отчаянии.

— Илюша, надо уехать.

Вернувшись в Париж, он снова принялся за прерванную работу. Писал свои «Пути России». Но недолго.

Какой-то культурный немец заинтересовался его библиотекой. Пришел, посмотрел на книги, посоветовал Илюше их продать. Илюша объяснил, что книги ему нужны для его большой работы. Немец пожалел, что книги нужны, и ушел. А через несколько дней явился в отсутствие Илюши с солдатами и с заранее заготовленными ящиками, уложили и увезли всю его библиотеку. Он тогда не уехал и даже не скрылся, не ушел из дому. Покорно ждал.

Иногда входил в свой большой кабинет, смотрел на ободранные полки, на ограбленные шкапы, говорил растерянно:

— Как же я буду работать без книг?

Но печалился недолго.

— Как-то нехорошо, чтобы в распоряжении одного человека была такая масса книг. Ведь я преспокойно могу ходить в Национальную библиотеку.

Так он и сделал. И работы не прерывал. Писал свои «Пути России».

Как относились к нему окружающие?

Мне кажется, что вообще все были к нему очень требовательны. Если бы он не сразу и не от всей души откликнулся на какую-нибудь нужду, не занялся бы устройством какого-нибудь дела, то заинтересованные лица были бы не то что разочарованы, а прямо даже как бы шокированы таким поступком. В оценке его недалеко бы отошли от анекдотической «клиентки»:

— Уж раз ты святой, так нечего высчитывать.

Кое-кто высказывал сомнение в Илюшином уме. Это понятно.

Очень добрые люди часто считаются глупыми. Ведь умному полагается прежде всего твердо знать четыре правила арифметики и ясно понимать, что сложение и умножение ему на пользу, а вычитание и деление в убыток. А может ли умный действовать себе в убыток? Вот тут Илюша часто показывал себя в их глазах простачком.

Но, любя людей, Илюша не был слеп. Он хорошо видел. Все видел, все понимал и никого не осуждал.

После смерти своей жены он как-то сказал мне:

— Человек не должен показывать, что он несчастлив. Я иногда замечаю, что, встречаясь со мной на улице, некоторые переходят на другую сторону. Они боятся. Им неприятно видеть меня, потому что я несчастлив. Человек должен свое горе прятать.

И в другой раз с усмешкой рассказал, как было одно деловое собрание, на которое его совсем не позвали. Не нашли нужным, несмотря на то что дело касалось вплотную его интересов.

— Ведь они даже права не имели так поступить. Это все оттого, что я сейчас несчастлив, и они это знают и уже не считают меня за человека. Нет, верьте мне, горе свое надо от людей прятать. Нельзя быть несчастным.

После таких слов заподозрить Илюшу в наивности было бы трудно.

Когда я вернулась из Биаррица в Париж, Франция уже была занята немцами и началась крутая гитлеровская расправа.

Илюша уже был в лагере. До сих пор в моей записной книжке его адрес.

Он писал мне. Иногда в общем письме к Матери Марии. Писал, что ему ничего не нужно, что он нашел людей, близких по духу, поет в церковном хоре и делает доклады.

Но мы знали, что он очень болен, почти не может есть, что на днях его увезут. (Страшное слово того времени «увезут».)

Последнее письмо мы читали с Матерью Марией вместе.

«Пусть мои друзья обо мне не беспокоятся. Скажите всем, что мне очень хорошо. Я совсем счастлив. Никогда не думал, что столько радости в Боге».

Он уже успел принять христианство.

Читали и обе плакали. Не от жалости, а от какого-то горестного восторга, как бы слушая последние торжественные аккорды музыкального апофеоза.

— Из такого теста святые делаются, — прошептала Мать Мария.

И я думала — как любил Илюша всякие собрания, диспуты, речи, доклады, ходил к младороссам, к монархистам, к эсерам, в кружок русских дворян и везде чувствовал себя среди друзей, потому что сам всех любил вот этой своей презренной, тепленькой любовью. И как часто в речах своих повторял он мысль о зажженных свечах. Этот образ неугасаемой веры всегда вдохновлял его. Он так искренне, по-детски был убежден, что надо только, чтобы все зажгли эти свечи и шли смело, и тогда рухнет железный занавес и с криками «осанна» встретит нас, воскрешая в любви, советская Россия.

И, слушая его, я всегда вспоминала рассказ одного старого польского писателя, как маленькая девочка слышала, что у ангела светятся глаза. Когда пьяный отец повез ее с похорон матери и на повороте в лесу даже не заметил, что вывалил ее в снег, она поднялась и хотела заплакать от страха, но увидела, как медленно приближаются к ней две светящиеся точки. «Ангел!» — засмеялась она и протянула волку ручку. Конечно, волк загрыз ее, но дело не в этом. Все дело в том моменте, когда человек в последнем средоточии своей жизни протягивает руки навстречу ангелу.

Там, в немецком застенке, Илюша, наверное, зажег бессмертные свечи свои и вышел навстречу ангелу и протянул ему руки.

Конец Илюши Фондаминского покрыт тайной. Следы потеряны. Прошел слух, будто ему удалось пробраться в Россию, что даже кто-то слышал оттуда его голос по радио. Но это уже легенды. Никто ничего не знает, и никто не хочет простой, злой

правды.

Утешаем друг друга легендою, хотя правда его выше нашей утекающей фантазии. Жил праведником и принял мученическую смерть добровольно и радостно.

Мой друг Борис Пантелеймонов

[391]

Недолгая была его литературная жизнь. Всего четыре года.

Четыре года тому назад сказал мне по телефону незнакомый голос:

— Разрешите зайти к вам поговорить по литературному делу. Моя фамилия Пантелеймонов.

Я что-то уже слышала о нем. Сговорились.

Пришел высокий элегантный господин лет сорока пяти, с тщательно причесанными серебряными волосами. Красивое тонкое лицо, губы сжаты, синие глаза внимательны и серьезны.

У нас, писателей, глаз острый. Я сразу поняла — англичанин.

— Я Пантелеймонов, — сказал англичанин.

Оказался коренной русский, сибиряк, 58 лет, ученый-химик, профессор, автор многих химических открытий и работ.

Задумал издать литературный «Русский сборник». Редактируют И А. Бунин и Г. Адамович. Попросил у меня рассказ. Решился и сам попробовать перо».

Пригласил к себе в гости.

— Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.[392]

— Это уже не первая жена?

Он скромно опустил глаза:

— Нет. Всего третья.

На первом рассказе Пантелеймонова очень отличала его долгая дружба с Ремизовым. Ничего того, что потом так пленяло в творчестве Пантелеймонова, еще выявлено не было. И вообще, это был скорее фантастический фельетон, а не художественная беллетристика.

Рукопись сдали в набор.

И вдруг автор зовет меня к телефону. Говорит смущенно:

— А я вчера написал другой рассказ. Можно вам его прислать?

Новый рассказ оказался очаровательным, настоящим пантелеймоновским, своеобразным, ярким. Это был тот самый «Дядя Володя»[393], который так покорил сердца читателей и сразу создал славу новому автору.

Я сейчас же переслала рассказ Бунину, прося его выкинуть

первый и заменить его «Дядей Володей». Бунин одобрил мое мнение.

Автор пришел благодарить, и с этого началась наша дружба.

В те времена, которые сейчас кажутся очень далекими, — а ведь всего четыре года назад, — я была еще почти здорова и у меня собирались по четвергам милые и интересные люди. Появление Пантелеймонова произвело сенсацию.

— Кто этот высокий господин с внешностью английского лорда?

Его как-то сразу все полюбили. Нравилась его внешность, нравилось его внимательное, ласковое отношение к людям. Это ласковое отношение часто переходило в восторженную влюбленность.

— Что за душа у этого человека! — охал он о каком-нибудь типе, в котором вообще трудно было предположить душу.

Выяснилось, что эта необычайная душа просто приходила выпросить денег взаймы. А когда человек просит денег, он часто говорит в высоких тонах. Что-нибудь о человечестве, о служении святому искусству и о пении соловья.

Все равно. Пантелеймонов радостно любил и такого, и всякого, и вообще — человека.

Литература как-то ошеломила Пантелеймонова. Он ушел в нее с головой, забросил свою большую химическую лабораторию. За четыре года выпустил три книги и приготовил четвертую. И уже задень до смерти нацарапал еле понятными буквами начало нового рассказа.

Литературный вкус у него был изумительный. Когда мы вместе жили в Русском Доме в Жуан-ле-Пен (там же был и Бунин), Пантелеймонов привез с собой несколько новых книг советских авторов, среди них талантливого Паустовского и «Василия Теркина» Твардовского. На полях этих книг Пантелеймонов делал пометки и подчеркивал понравившиеся ему места. Я указала Бунину на эти пометки. Как удивительно тонко отмечает он каждую талантливую строчку!

— Да, да, — сказал Бунин. — Я уже обратил внимание. Он действительно замечательно тонко понимает.

Бунин любил Пантелеймонова. Добродушно над ним подшучивал.

Пантелеймонов каждую новую свою вещь всегда переписывал в двух экземплярах. Один посылал Бунину, другой — мне.

Бунин писал иногда на полях рукописей: «Что за косноязычие!»

Пантелеймонов и смеялся, и огорчался:

— Вон как ругается!

Я успокаивала взволнованного автора:

— Бунин классик. Нарушение законных форм для него кощунство.

Пантелеймонов отстаивал свои новые формы. Слушался только того, что дается долгим опытом: избегать длиннот, некрасивых аллитераций, лишних слов, вообще — технической стороны литературной работы. Но свое *главное* отстаивал и хранил свято. Да именно это его главное я и ценила больше всего.

Видались мы с ним часто. Иногда собирались и у него.

— Какая у него может быть жена?

У нас, писателей, догадка острая:

— Наверное, жена высокая, авторитетная.

Оказалось, маленькая, кудрявая, пушистая, похожа на школьницу. При этом очень талантливая скульпторша.

— Он упрямый, — жаловалась она на мужа. — Я его даже раз била кулаком по плечу. А он и не заметил.

И показала свой сжатый кулак, крошечный, десятилетний.

Он упивался литературой, но в подсознательном своем еще продолжал быть химиком. Иногда ночью вскакивал полусонный, кричал жене:

— Скорее карандаш! Записать новую формулу.

Но химия отходила от него все дальше и дальше.

Являлись деловые люди, говорили о серьезных контрактах на его новые открытия. Он любезно улыбался, но думал при этом не о барышах, а о третьем эпизоде «Дяди Володи».

При своей английской внешности это была самая безудержная русская натура. Если пить, так уж до бесчувствия, полюбить — так уж жениться, потому что и любил всегда с разбегом на вечность. Наука, химия, открытия — и это все было пламенно, в каком-то поэтическом восторге.

Другом он был тоже пламенным. Защищал своих друзей, берег их. Бунина обожал и умилялся над ним, открывая в нем черты, совсем для нашего знаменитого писателя не характерные.

— Иван Алексеевич если иногда и говорит грубо, то это только потому, что скрывает свою чуткую нежность.

Бунинскую речь, острую, меткую и смелую, он превращал любовью своей в тихую лесную фиалку. И умилялся до слез.

Во время моей продолжительной и тяжелой болезни приходил часто, сидел в ногах и вздыхал.

— И охота вам жалеть издыхающую Ягу? — удивлялась я.

Но он очень жалел.

А талант его все рос и креп. Его маленький рассказ «Родная дорога»[394] меня, внимательно следившую за каждой его строчкой, даже удивил. А Бунин сказал автору:

— Не стоит писать такие вещи. Кто их оценит по-настоящему? Многие ли?

Мы любили собираться втроем. Бунин, он и я.[395] Было хорошо. Бунин подшучивал над «молодым автором». Тот весь Лучился от радости этого общения. Да, было хорошо. Они оба называли меня сестрицей…

Вышла его первая книга. «Зеленый шум». Книга — моя крестница Печать приняла ее исключительно хорошо. Кое-кто из наших «молодых» писателей, печатавшихся не менее двадцати лет, очень обидело m восторженные отзывы, на профессоров, отметивших язык Пантелеймонова, на мою хвалебную статью[396]. Что это за «трехнедельный удалец»? Обидно.

Пантелеймонов чувствовал это немилое отношение, но по простоте душевной не понимал его, а когда ему объяснили — не мог поверить. И по-прежнему умилялся и давал деньги взаймы. Вышел даже занятный анекдот.

Пришел один вдохновенный человек и деловито сказал, что ему до зарезу нужны шесть тысяч. Ровно шесть. Пантелеймонов поспешно дал чек, а когда тот ушел, вдруг вспомнил, что денег уже давно нет. Не было их и дома. Кинулся к кому-то, занял и внес в банк, чтобы покрыть выданный чек.

— Но ведь это такая изумительная детская душа! Не мог же я ему отказать или долго раздумывать?

Были и серьезные просьбы, на которые он широко отвечал, и расписки, конечно, «брать было неловко».

Говорил смеясь:

— Все равно хоронить будут на общественный счет.

В литературных своих работах он кидался на разные темы, иногда писал и статьи. Но я усиленно гнала его в лес, в тайгу, в урман.

— Там вы даете то, чего другие дать не могут.

Читал он тоже много, запоем. Старался насытиться быстро, с разбега всем тем, что мы впитывали в себя долгие годы, в течение тридцати, сорока, пятидесяти лет.

До сих пор почти не знал Библии. Читал ее вскользь по-английски. Когда прочел мой русский экземпляр — был потрясен.

— Что ж, дорогой мой, — сказал Бунин, — Библия — это

всем известный источник. Из него черпали писатели всего мира.

Перечитывал старых писателей — Тургенева, Гончарова, Григоровича, Слепцова. И у каждого отмечал поразившие или просто понравившиеся места.

Уходил все дальше, все глубже. За три года выпустил три книги. Вторую посвятил мне, но я просила посвящение снять, потому что после такой «взятки» не могла бы свободно о нем писать. Подготовил к печати и четвертую книгу. Прошел за эти четыре года огромный путь.

Меня часто удивляло, почему он так поздно, так случайно начал писать. Как мог он не почувствовать в себе писателя столько лет?

В доме у него бывали молодые люди. Они рассказывали, как работали с Пантелеймоновым во французской Резистанс[397]. Спали на полу вповалку у него в кабинете по двенадцать человек.

— Чудесное было время, — говорил он. — Тайно ночью, почти впотьмах, приготовлял у себя в лаборатории взрывчатые вещества. Молодые сотрудники уносили их потом потихоньку в маки[398]. Нет, не было страшно. Было интересно.

У него было много незнакомых друзей-читателей. Он вел огромную переписку. Ему писали профессора, и светские дамы, и смотритель вулканов с каких-то диких островов, и доктор Ди-Пи, и чиновник трансатлантического парохода, и все письма были ласковые и благодарные.

Его маленькая жена любила и понимала литературу. И у нее было художественное чутье. Как-то она написала мне из Швейцарии о женевском озере: «Вода в нем такая светлая, что белые чайки кажутся темными».

Я показала ему.

— Смотрите, как хорошо!

— Только не надо ей говорить. А то зазнается, и мне житья не будет.

Когда-то в ранней молодости был с ним неприятный случай. Взрыв в лаборатории. Ему ранило осколком шею. Профессор Плетнев, зашивая рану, сказал:

— Следите за левой гландой. Она когда-нибудь может причинить вам большие неприятности.

И он оказался прав. Гланда дала злокачественную опухоль. Опухоль оперировали, но спасти больного уже не могли.

В последний год жизни он поднял к небу свои синие глаза:

— Сестрица, вы молитесь когда-нибудь? — спросил он меня.

Ему очень хотелось писать, и не было сил. Как-то держал в руках ветку черной смородины, мял душистые листочки.

— Вот эта ветка — это уже большой рассказ. Целая повесть во всю жизнь. И нету сил.

На Пасху мы были вместе в доме отдыха в Нуази-ле-Гран. Он почти все время лежал, а когда садился — низко опускал голову на сложенные руки.

В Нуази чудесная маленькая церковка. Я как-то была у всенощной. Вижу — многие обернулись к двери. Смотрю — он. Пришел. Стоял прямо. Он был выше всех. Стоял прямо, вытянувшись. Высоко поднял голову. Смотрел широко раскрытыми глазами куда-то высоко над алтарем. Словно говорил:

— Вот позвали меня, и я пришел. И дам ответ.

Потом подошел ко мне.

— Я хочу исповедоваться.

Причащались вместе.

— Пойдем к чаше, сестрица. Причастимся с одной ложечки.

И вот теперь он умер.

Последние дни были каким-то хаосом страдания. Он еле мог шептать. Часто был в полузабытьи.

Ночью очнулся. Сполз с низкого дивана на пол, на подушку, на которой у его постели сидела жена. Ласково поцеловал ей руку.

— Зажги лампадку, — попросил он.

— Лампадка горит все время.

— Нет, поставь ее сюда, к нам.

Она поставила.

— Икону тоже. Поставь к нам сюда.

Он тихо положил руку на голову своей маленькой жены. Подержал так.

— Я думаю, что я умираю.

И закрыл глаза.

Илья Репин

[399]

Репина я встречала редко. Он жил в Финляндии и в Петербурге показывался случайно.

Но вот приходит ко мне издатель «Шиповника» Каплан и приносит от Репина письмо. Илье Ефимовичу очень понравился мой рассказ «Волчок»[400]. «До слез понравился», — пишет он. И под этим впечатлением он задумал сделать мой портрет.

Что ж, портрет работы Репина — это большая честь. Условились о времени, и Каплан меня повез.

Была зима. Холодно, вьюжно. Тоскливо. Куоккала с занесенными снегом низенькими дачками была неприветлива. Небо, темнее земли, спускалось низко, и дуло от него холодом. И тихо казалось после петербургских гудков и криков. И снег, такой тяжелый, с наметенными сугробами, такими крутыми, будто под каждым медведь зимует, спит, лапу сосет.

Репин встретил ласково. Повел в мастерскую, показывал новые работы. Потом был завтрак за знаменитым круглым столом. Стол этот был в два этажа. Верхний вертящийся, уставленный разнообразными блюдами. Вы поворачиваете его и выбираете, что вам нравится. В нижней части стола ящики для грязной посуды. Все это очень удобно и забавно — похоже на пикник. Еда вегетарианская, очень разнообразная. «Кормит сеном», — ворчали наши гастрономы и, возвращаясь домой, заказывали на вокзале остывшие котлеты.

После завтрака — работа.

Репин посадил меня на возвышение, сам сел близко внизу, так что видел меня снизу. Это было очень странно. Мне много приходилось позировать для портретов — Саше Яковлеву, Сорину, Григорьеву,[401] Плейферу и многим менее известным, но так странно меня никто не сажал.

Работал Репин — тоже для него необычно — цветными карандашами.

— Будет парижский жанр, — улыбнулся он.

Попросил одного из присутствующих читать вслух тот самый мой «Волчок», который ему понравился. Я вспомнила, как Кустодиев[402] работал над портретом государя, и тот сам, позируя, читал вслух мой рассказ из деревенской жизни. Читал очень хорошо. А потом спросил — неужели правда, что этот автор дама.

Портрет мой, нарисованный Репиным, получился какой-то волшебно-нежный, совсем неожиданный, не похожий на могучую лепку репинской кисти.

Он обещал его мне. Но ко мне он так и не попал. Был послан на выставку в Америку и, по словам Репина, застрял в таможне.

Мне неловко было расспрашивать и настаивать. Мне говорили:

— Он не хочет признаться, что продал его.

Все равно. Он пропал бы во время революции, как пропали все мои портреты и многие любимые мною вещи, без которых, казалось бы, и жить не стоило…

Когда в Париже переиздали мою книгу, в которой был «Волчок», я посвятила этот рассказ Репину и послала книгу по прежнему адресу в Финляндию. В ответ получила очень ласковое письмо. Он просил меня прислать несколько моих любительских фотографических снимков, без ретушовки, и он по ним и по памяти возобновит мой портрет. Его дочь сделала приписку, что Илья Ефимович очень слаб, еле двигается.

Я была очень тронута его милым вниманием, но с отсылкой фотографий не поторопилась, а когда наконец отослала, на другой же день прочла в газете о его смерти.

В памяти останется небольшого роста худенький человек с необычайно вежливыми и любезными манерами, всегда ровный, приветливый, не раздражающийся. Весь какой-то «старинный».

О нем рассказывали, что иногда перед работой не очень удачливого своего ученика он, указывая недостатки, прибавлял:

— О, если бы мне вашу кисть!

Может быть, это и преувеличение, но такая выдумка всегда характеризует человека. Репин держался очень скромно. Все захваленные всегда много говорили и не слушали собеседника. Именно говорили, а не разговаривали. Шаляпин, Дорошевич, Леонид Андреев — все шагали по комнате и говорили. Репин учтиво слушал собеседника. Разговаривал.

Его жена Нордман-Северова[403] была упорной вегетарианкой и внушила эту идею мужу. Отсюда и появился круглый стол. Когда Нордман, приревновав Репина, ушла от него, он остался верен вегетарианству. Незадолго до смерти, погибая от слабости, съел немножко творогу. Это его подбодрило. Тогда решил съесть яйцо. После этого нашел в *с*ебе силы встать и даже приняться за работу.

Последняя записочка от него была: «Жду Ваших карточек. Хочу непременно сделать Ваш портрет».

Почерк был слабенький. На портрет сил не хватило.

Да я и не надеялась, что что-нибудь выйдет из этой затеи. Я ничего не умею собирать, сохранять и удерживать. Когда хироманты мне говорят: «Покажите руки», я широко раскрываю ладони, и они качают головой:

— Ну, такими руками вы никогда ничего не удержите.

Забавная история вышла с портретом Плейфера.

Он изобразил меня в белом хитоне и на голову мне набросил синее покрывало.

Потрет этот очень понравился моему другу Щ-ву, помещику Ковенской губернии, великому эстету, другу Кузмина. Он выпросил его у меня и увез к себе в имение. Там повесил его на почетное место и, как эстет, всегда ставил перед ним вазу с цветами.

Во время революции узнал, что крестьяне разграбили его дом и растащили библиотеку и картины. Он спешно поехал выручать свое добро.

Кое-что разыскал. Разыскал и мой портрет: он висел в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем и Иверской… Благодаря белому хитону и синему покрывалу, да еще вазе с засохшими цветами, баба, забравшая его, приняла меня за святую и зажигала передо мной лампадку.

История действительно банальная.

Да, правы хироманты. Ничего я не удержала. Ни портретов, ни посвященных мне стихов, ни подаренных картин, ни интересных писем от замечательных людей — ничего.

Есть еще немногое, что сберегла память, но и это понемногу, даже довольно быстро, теряет значение, тускнеет, уходит, вянет и умирает.

Грустно блуждать по этому кладбищу усталой памяти, где все обиды прощены, грехи безмерно оплачены, загадки разгаданы и тихо обволакивают сумерки покосившиеся кресты когда-то оплаканных могил.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

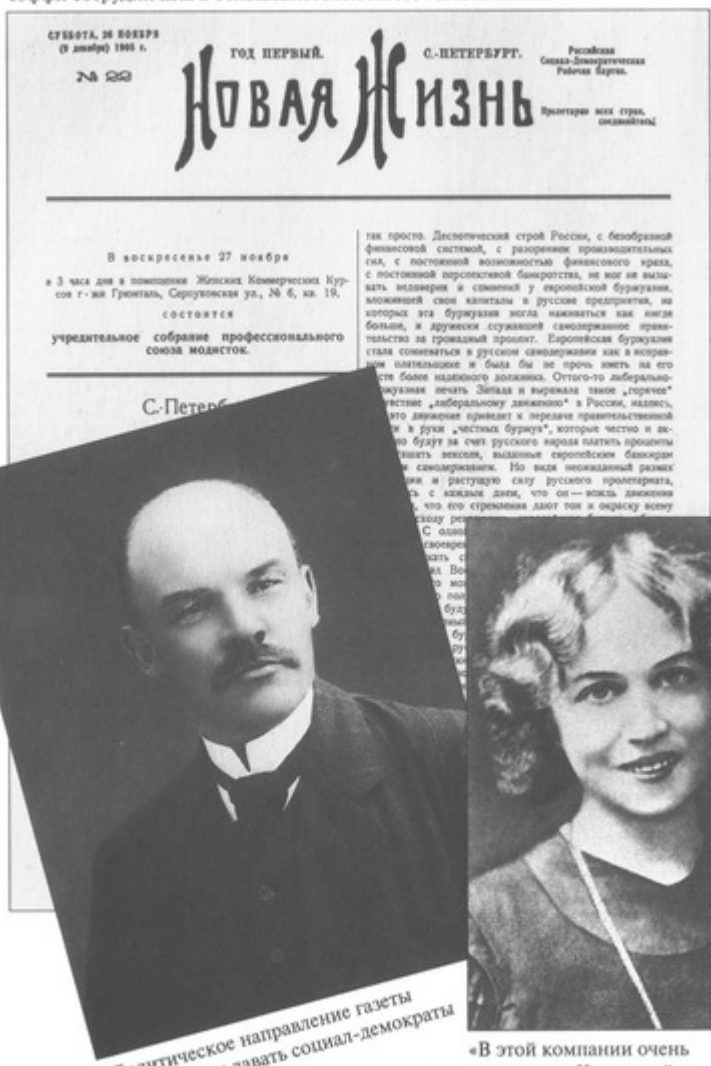
Сестры Мария и Надежда Лохвицкие. Обе войдут в историю русской литературы. Одна, под именем Мирры Лохвицкой, станет известной поэтессой. Другая, под именем Тэффи, станет знаменитой писательницей

«В „Осколках“ редактором был Лейкин, тогда уже старый, хворый»

Сцена из спектакля театра «Кривое зеркало» «Любовь в веках». 1908. «Публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми...»

Вскоре Тэффи стала одним из самых популярных авторов в России

В 1905 году, поддавшись революционным настроениям, Тэффи сотрудничала в большевистской газете «Новая жизнь»



СУББОТА, 26 НОЯБРЯ (9 декабря) 1905 г.

№ 29

ГОД ПЕРВЫЙ. С.-ПЕТЕРБУРГ.

Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В воскресенье 27 ноября

в 3 часа дня в помещении Женских Коммерческих Курсов г-жи Гронталь, Сергиевская ул., № 6, кв. 19,

состоится

учредительное собрание профессионального союза модисток.

так просто. Деспотический строй России, с безобразной финансовой системой, с разорением производительных сил, с постоянной возможностью финансового краха, с постоянной перспективой банкротства, не мог не вызывать недоверия и сомнений у европейской буржуазии, вложившей свои капиталы в русские предприятия, на которых эта буржуазия могла наживаться как нигде больше, и дружески служивший самодержавное правительство за громадный процент. Европейская буржуазия стала сомневаться в русском самодержавии как в исправном плательщике и была бы не прочь иметь на его месте более надежного должника. Оттого-то либерально-буржуазная печать Запада и выражала такое „горячее" сочувствие „либеральному движению" в России, надеясь, что это движение приведет к передаче правительственной власти в руки „честных буржуа", которые честно и аккуратно будут за счет русского народа платить проценты и погашать векселя, выданные европейским банкирам русским самодержавием. Но видя неожиданный размах движения и растущую силу русского пролетариата, видя с каждым днем, что он — всякое движение, что его стремления дают тон и окраску всему

«Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе»

«В этой компании очень выделялась Коллонтай. Это была светская, красивая молодая дама»

Журналы «Сатирикон»
и «Новый сатирикон» —
целая эпоха в истории русского юмора

Выставка работ художников журнала «Новый сатирикон».
Первый слева — Н.Радлов, четвертый — А.Радаков;
третий справа — А.Аверченко. 1913

Первый бал литературно-художественного кабаре «Бродячая собака». 1913

«— А кто эта худенькая на диване?
— Это Анна Ахматова, поэтесса.
— А который из них сам Ахматов?
— А сам Ахматов это и есть Гумилев»

Михаил Кузмин. «Большая ассирийская голова с огромными древними глазами... Прическа вычурная – старательные начесы на височки жиденьких волос»

Игорь Северянин. «Высокого роста, лицо длинное, особая примета – тяжелые черные брови»

«Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка... Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную»

Когда у Николая II осведомились, кого из современных писателей он хотел бы видеть в сборнике, посвященном 300-летию Дома Романовых, царь решительно ответил: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!»

Еще один почитатель таланта Тэффи — Григорий Распутин. «Чего только про него не говорили: и гипнотизер, и магнетизер, и хлыст, и сатир, и святой, и бесноватый»

Тэффи в костюме сестры милосердия

Аркадий Аверченко «во время революции оказался в Крыму. Писал листовки, которые летчики сыпали на головы голодных советских солдат: „А мы сегодня отлично пообедали“»

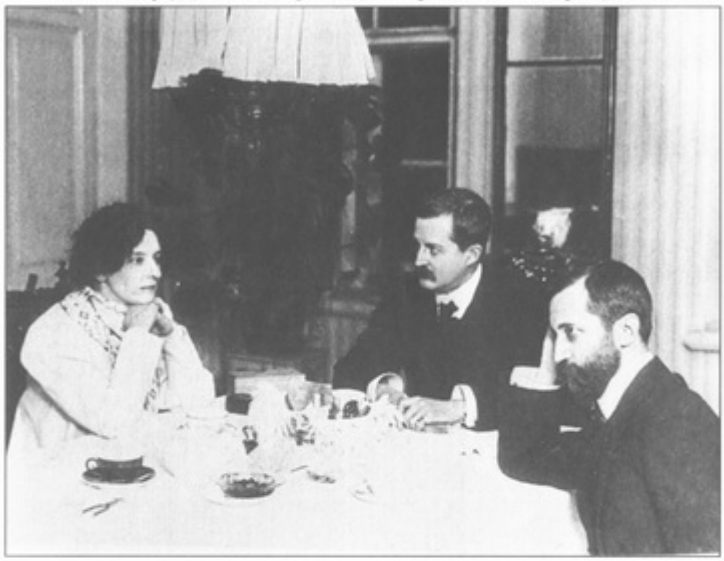
Бегство в эмиграцию. «На пристани народ, сундуки, узлы, чемоданы. Подымаюсь с толпой на палубу. Пароход набивается все плотнее и плотнее. Уже трудно двигаться...»

«У Леонида Андреева была в Финляндии собственная дача — „Белая ночь“»

«Бальмонт любил позу. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт»

«С Алексеем Толстым я очень дружила и даже была на „ты“»

З.Н.Гиппиус, Д.В.Философов и Д.С.Мережковский. Париж, 1920-е годы



А.И.Куприн с женой Елизаветой Маврикиевной. 1937.
«Конец его беженской жизни был очень печальный.
Совсем больной, он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят»

Сидят: слева направо – Г.Адамович, Ив.Бунин; крайняя справа – Тэффи.
Рядом, с трубкой в руке, стоит Б.Пантелеймонов. 1930-е годы

За шахматной доской с Александром Алехиным.
П.Н.Милюков «помогает» Тэффи сделать правильный ход

Третий «Сатирикон» выходил в Париже

Парижское кафе «Le Dome» — место постоянных встреч русских эмигрантов — писателей и художников. 1920–1930-е годы

В Русской Церкви на улице Дарю в Париже. «Живем мы, так называемые ле рюсы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью»

Л.Г.Мунштейн (Лоло) и В.Н.Ильнарская. «В эмиграции Лоло продолжал свою газетную работу, писал остроумные фельетоны в стихах, ездил с театром „Маски" по Европе. Вера Николаевна играла его скетчи и пела в хоре»

«Илья Фондаминский был праведник»

Борис Пантелеймонов с женой.
«При своей английской внешности
это была самая безудержная русская натура»

Нет выше той
любви, как если
кто морфий свой
отдаст брату
своему.
Вот!!
Н.Т.

Записка Тэффи, адресованная Тамаре Ивановне Кристин,
вдове Б.Пантелеймонова: «Нет выше той любви,
как если кто морфий свой отдаст брату своему. Вот!! Н.Т.»

Тэффи

Моя ЛЕТОПИСЬ

notes

Примечания

1

Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911. С. 203.

2

Дальние берега: Портреты писателей эмиграции: Мемуары / Сост., автор предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1994. С. 378–379.

3

Полоскать грязное белье *(фр.)*.

4

Седых Андрей. Теффи в письмах // Воздушные пути. 1963. № 3. С. 202.

Адамович Г. В. Собр. соч.: Комментарии. СПб., 2000. С. 146.

6

Первый раздел настоящего издания состоит из «Воспоминаний» Н. А. Тэффи, впервые публиковавшихся на протяжении полутора лет на страницах газеты «Возрождение» (Париж) с середины декабря 1928 г. и выпущенных книгой в 1932 г. в издательстве той же газеты. *(прим. Ст. Н. — здесь и далее примечания Ст. Никоненко — верстальщик)*.

7

С. 18. *«Русское слово» закрыто.* — «Русское слово» — ежедневная московская газета либерального направления (1895–1917, 26 ноября /9 декабря/). Издатели — И. Д. Сытин и В. М. Дорошевич, с 1902 г. — фактические редакторы А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, Вас. И. Немирович-Данченко. Тираж 600–800 тыс. экз. в 1917 г. Сянваря по июль 1918 г. выходила под названиями «Новое слово», «Наше слово», в июле окончательно закрыта как выступавшая против большевиков. В 1910-х годах Тэффи была постоянным сотрудником этой газеты. *(прим. Ст. Н.)*.

8

«Лондонская» — одна из лучших гостиниц в Одессе, на Графской набережной. *(прим. Ст. Н.)*.

«Международная» — гостиница в Одессе. *(прим. Ст. Н.)*.

10

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925), писатель-юморист, драматург, театральный критик. Создатель и редактор журналов «Сатирикон» (1908–1913) и «Новый Сатирикон» (1913–1918). В журналах Аверченко активно сотрудничала Тэффи. *(прим. Ст. Н.)*.

11

Идиосинкразия (от *греч,* idios — своеобразный и synkrasis — смешение) — повышенная, болезненная чувствительность по отношению к чему-либо, отрицательная реакция. *(прим. Ст. Н.)*.

12

С. 19. *Только что раздел всю «Летучую мышь».* — «Летучая мышь» — первый в России театр-кабаре, работавший в 1908–1920 гг. в Москве под руководством Н. Ф. Балиева; после 1920 г. продолжил выступления в Париже. Актер и режиссер Балиев Никита Федорович (наст, имя и фам. Балян Мкртич Асвапурович; 1876, по другим данным 1877–1936) создал театр, по сути выросший из «капустников» МХТ. Блистательно выступая в качестве конферансье и пародиста, Балиев утверждал новый для русскою театра жанр. *(прим. Ст. Н.).*

13

…в прическе Клео де Мерод… — Клео де Мерод (1874–1966) — знаменитая французская танцовщица, законодательница мод. *(прим. Ст. Н.).*

14

С. 20. *Торквато Тассо* (1544–1595) — итальянский поэт. *(прим. Ст. Н.)*.

15

Лоло (Lolo — псевд.; наст, имя и фам. Леонид Григорьевич Мунштейн; 1866/67—1947) — поэт-сатирик, фельетонист, драматург, театральный критик, переводчик, издатель (журнал «Рампа и жизнь», издателем-редактором которого в 1909–1918 гг. был Лоло, являлся самым популярным театральным изданием), мемуарист. В соавторстве с Тэффи им написано несколько комедий, в том числе музыкальных. Музыкальная комедия «Екатерина II» на музыку Ж. Оффенбаха была впервые поставлена в сентябре 1918 г. в Москве в театре «Эрмитаж». *(прим. Ст. Н.)*.

16

Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра». — Каза-Роза (Казарова) Белла Георгиевна (1885–1926), певица, жена художника Александра Яковлева, постоянного сотрудника журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». В «Старинном театре» Каза-Роза исполняла роль Лжедмитрия, а в «Бродячей собаке» пела песенки на слова Тэффи. *(прим. Ст. Н.)*.

17

…в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста. — Суровскими лавками до революции называли магазины, где продавались шелковые, бумажные и легкие шерстяные ткани. *(прим. Ст. Н.)*.

18

С. 21. …*бегали мы слушать оперетку «Сильва»*… — «Сильва» (1915) — оперетта венгерского композитора Имре Кальмана (1882–1953). *(прим. Ст. Н.)*.

19

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик, литературно-общественный деятель; один из вождей и теоретиков русского символизма. Инициатор и руководитель ведущих органов символистов — издательства «Скорпион» (1899–1916) и журнала «Весы» (1904–1908), основанных С. А. Поляковым. В 1900-е годы руководил литературным отделом научного, литературного и политического журнала «Русская мысль», издававшегося ежемесячно в Москве в 1880–1918 гг. *(прим. Ст. Н.)*.

20

Яворская Лидия Борисовна (1871–1921) — драматическая актриса, первая жена (с 1896) драматурга и прозаика князя Владимира Владимировича Барятинского (1874–1941). *(прим. Ст. Н.)*.

21

Каннегиссер (Каннегисер) Леонид Иоакимович (1896–1918) — поэт, переводчик. Дружил с С. Есениным Как поэта его высоко оценивали М. Цветаева, Г. Иванов, И. Одоевцева и др. При жизни было опубликовано лишь несколько стихотворений. 30 августа 1918 г. Каннегиссер застрелил председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии М. С. Урицкого. Был осужден и расстрелян. *(прим. Ст. Н.)*.

22

С 26. «*Прощай, Москва, милая. Ненадолго Всего на месяц. Через месяц вернусь… А что потом будет, об этом думать нельзя*» — Тэффи в Москву так и не вернулась. *(прим. Ст. Н.)*.

23

С. 27. *Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов.* — Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг. *(прим. Ст. Н.)*.

24

С. 30. *Ауспиции были тревожны.* — Ауспиции — в Древнем Риме первоначально гадание по птицам для того, чтобы узнать «волю богов», впоследствии гадание вообще — по полету птиц, по голосам животных, по различным явлениям на небе и т. д.; ауспиции совершались авгурами перед началом каждого важного государственного предприятия (авгуры — жреческая коллегия у древних римлян). *Здесь*: предзнаменования. *(прим. Ст. Н.).*

25

Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758–1794) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., один из вождей якобинцев. Здесь, разумеется, Тэффи иронизирует. *(прим. Ст. Н.)*.

26

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) — режиссер-новатор, актер МХТ (с 1898), театральный деятель. Имеется в виду высказывание Мейерхольда: «Треугольник, где верхняя точка — режиссер, две нижние точки: автор и актер. Зритель воспринимает творчество двух последних через творчество режиссера…» (Мейерхольд В. Театр: (К истории и технике) // Театр. Книга о новом театре. СПб., 1908. С. 159). *(прим. Ст. Н.)*.

27

Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) — русский режиссер, драматург, теоретик и историк театра. В работах «Введение в монодраму» (1909), «Театр как таковой» (1912), «Театр для себя» (ч. 1–3, 1915–1917), «Происхождение драмы» (1921) и др. выдвинул модернистскую концепцию театра и театральности, которую рассматривал как врожденный инстинкт, определяющий мышление и поведение человека. Театр, по Евреинову, лишь частная форма удовлетворения «инстинкта преображения». Отрицая роль драматурга как первоосновы театра, придавал решающее значение зрелищности. Для театральной эстетики Евреинова характерны экзотика, вычурность, культ искусственности, примитива. Наиболее совершенной формой сценически-драматургического искусства считал монодраму. Писал также арлекинады, трагифарсы, пользовался приемами гротеска, буффонады. *(прим. Ст. Н.)*.

28

Commedia dell'arte (um.) — комедия масок — вид театра, получивший развитие в Италии в середине XVI и в XVII вв.; спектакли строились на импровизации, буффонаде; широко использовались диалекты; постоянные персонажи-маски — Панталоне, Доктор и двое слуг (дзанни) — Бригелла и Арлекин — переходили из одного спектакля в другой. В начале XX в. происходила революция во многих видах искусства (в литературе, танце, живописи), в том числе и в театре. Один из принципов нового театра выражал призыв: «долой рампу». Смысл этого призыва состоял в приближении актера к зрителю, в снятии перегородки между ними, в вынесении действия в зрительный зал, в соучастии зрителей в театральном действии. *(прим. Ст. Н.)*.

29

С. 34. *Рубин-кабошон* — рубин, которому в результате особой шлифовки придана форма выпуклой с одной стороны линзы или полусферы. *(прим. Ст. Н.).*

30

«Человек, который смеется» *(фр.)*.

31

С. 36. *Валансьен* — тонкие кружева особого плетения (по названию французского города Валансьенн, где они изготовлялись). *(прим. Ст. Н.)*.

32

С. 39. *«…знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки».* — Блатная музыка (тюр. — вор. жарг.) — воровской жаргон. *(прим. Ст. Н.).*

33

С. 40. …*как кузнец Вакула на чёрте?* — Имеется в виду эпизод из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832), когда кузнец Вакула, перекрестив черта, вскочил на него верхом и заставил себя возить. *(прим. Ст. Н.)*.

34

С. 41. *Ничего «инфернального».* — Инфернальный (от *лат.* infemalis) — адский. *(прим. Ст. Н.)*.

35

С. 42. …*«глину в руках горшечника»*… — В нескольких местах Библии человек уподобляется глине в руках горшечника — Творца (Ис. 64:8; Иер. 18:6 и др.). *(прим. Ст. Н.)*.

36

С. 44. *Ведетта (фр.* vedette) — знаменитость, известный актер, «звезда»; ведущий в концерте, представлении. *(прим. Ст. Н.)*.

37

С. 48. …*показались огоньки большого украинского местечка К.* — Имеется в виду город Клинцы, в 1918–1919 гг. находившийся на территории, оккупированной германскими войсками; ныне районный центр в Брянской области. *(прим. Ст. Н.)*.

38

Беглость пальцев *(фр.)*.

39

Платон (прозвище; от *греч.* — широкоплечий, наст, имя — Аристокл; 427–347 до н. э.) — выдающийся древнегреческий философ, объективный идеалист. Методом его философии была диалектика, заключавшаяся в том, чтобы правильно ставить вопросы, получать на них ответы и благодаря этому приходить к выяснению сущности рассматриваемого предмета. Соответственно и его многочисленные философские произведения, дошедшие до нас, были написаны в форме диалогов (центральным собеседником в них, как правило, является Сократ, учитель Платона). *(прим. Ст. Н.)*.

40

Ильнарская (наст. фам. Ильинская) *Вера* Николаевна (1880–1946) — актриса Театра Корша, издательница журнала «Рампа и жизнь», жена Л. Г. Мунштейна (Лоло). *(прим. Ст. Н.)*.

Прочь! *(нем.)*.

42

С. 64. *«Грандиозный аттракцион собак. По системе знаменитейшего Дурова»*. — Знаменитые артисты цирка Анатолий Леонидович Дуров (1865–1916) и Владимир Леонидович Дуров (1863–1936) разработали новую систему дрессировки животных, в основе которой были не устрашающие и болевые приемы, а поощрительные стимулы. Огромным успехом пользовалась пантомима «Железная дорога» (1901), поставленная В. Л. Дуровым, роли в которой исполняли собаки и другие домашние животные. *(прим. Ст. Н.)*.

Вся Москва и весь Петербург *(фр.)*.

С. 70. *Собинов* Леонид Витальевич (1872–1934) — выдающийся русский певец, лирический тенор. *(прим. Ст. Н.)*.

45

Курихин Федор Николаевич (1881–1951) — русский актер, выступал на многих сценах, в 1924 г. был одним из организаторов Театра сатиры в Москве; народный артист РСФСР. *(прим. Ст. Н.)*.

46

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) — русский журналист, прозаик, театральный критик; сотрудничал во многих газетах и журналах, прославился как «король фельетонов»; с осени 1918 по май 1921 г. жил в Севастополе. Потом вернулся в Петроград, где вскоре умер. *(прим. Ст. Н.)*.

47

Василевский (псевд. *Не-Буква)* Илья Маркович (1882–1938) — фельетонист, издатель, критик. В 1920–1923 гг. находился в эмиграции. После возвращения на родину летом 1923 г. активно работал в газетах и журналах, выпускал книги. В 1937 г. репрессирован; посмертно реабилитирован. *(прим. Ст. Н.)*.

48

«*Бродячая собака*» — художественно-артистическое кабаре в Петербурге, находившееся во втором дворе дома № 5 на углу Итальянской улицы и Михайловской площади (1 января 1912 — 3 марта 1915). *(прим. Ст. Н.)*.

49

С. 75. *Петлюра* Симон Васильевич (1879–1926) — украинский националист, организатор Центральной Рады и глава Директории: эмигрант; убит в Париже Шварцбардом, мстившим ему за еврейские погромы на Украине. *(прим. Ст. Н.)*.

50

…встречались в доме журналиста М. С. Мильруда… — Мильруд Михаил Семенович (1889–1942) — до революции сотрудник «Русского слова», затем член редакции «Киевской мысли»; с 1924 г. — редактор русской газеты «Сегодня» (Рига); после присоединения Латвии к СССР был арестован и сослан; умер в Караганде. *(прим. Ст. Н.)*.

51

С. 76. *Соня Мармеладова* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». *(прим. Ст. Н.)*.

Драдедам — тонкое сукно, букв.: «дамское». *(прим. Ст. Н.)*.

53

С. 78. *Предчувствие мое относительно испанки оправдалось…* — Испанка — тяжелая форма гриппа, эпидемия которого началась в 1918 г. в Китае, затем охватила Америку и распространилась по всему миру, унеся в течение 1918–1919 гг. жизни более 20 млн. человек. Впервые описана была в Испании, отсюда ее название. *(прим. Ст. Н.)*.

Алексеева-Месхиева Н.В. — артистка оперетты; играла в театре «Зон», затем — в театре «Летучая мышь». *(прим. Ст. Н.)*.

55

С. 80. *Театр Корша* — был основан в 1882 г. в Москве театральным предпринимателем Федором Адамовичем Коршем (1852–1924). Находился в подвале нарядного дома-«сказки» Перцова близ храма Христа Спасителя. В нем играли П. Н. Орленев, А. А. Остужев, Л. М. Леонидов и др. *(прим. Ст. Н.)*.

56

Тамара Оксинская — актриса, сохранила дружеские отношения с Тэффи до последних дней. С середины 1944 г. и до конца жизни Тэффи снимала комнату в большой квартире (на улице Буассьер), принадлежавшей Тамаре Оксинской (Лавровой) и ее сестре Марии Ач. *(прим. Ст. Н.)*.

57

Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951) — украинский писатель, один из руководителей националистической контрреволюции на Украине. После Февральской революции 1917 г. был в числе организаторов Центральной Рады, затем вместе с Петлюрой возглавлял Директорию (ноябрь 1918 — февраль 1919); с 1920 г. — эмигрант. *(прим. Ст. Н.)*.

58

Гришин (лит. псевд. Гришин-Алмазов) Алексей Николаевич (7—1919) — полковник. Произведен в генерал-майоры командующим Сибирской армией. Участник Первой мировой войны. В мае 1918 г. захватил власть в городе Новониколаеве, встав во главе офицерской подпольной группы, и соединился с подходившими чехословацкими войсками под командованием Гайды. Военный министр Западно-Сибирского правительства и командующий Сибирской армией. Из-за разногласий с представителями союзнических миссий уехал на юг, в Добровольческую армию. Гришин-Алмазов одно время был комендантом города Одессы. Генерал Деникин послал его к адмиралу Колчаку с важными документами и письмами; пересекая Каспийское море, Гришин застрелился, чтобы избежать плена. *(прим. Ст. Н.)*.

59

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — историк, публицист, издатель, автор мемуарной книги «Борьба за свободную Россию: Мои воспоминания: 1882–1922» (Берлин, 1923), более известной в сокращенном переиздании «В погоне за провокаторами» (1928). Издавал газету «Общее дело» в 1909–1910, 1917, затем в 1918–1922, 1928–1933 гг. С лета 1918 г. жил в Париже, возвращаясь в Россию в 1919–1920 гг. *(прим. Ст. Н.)*.

60

Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) — прозаик, драматург, публицист. С 1920 г. — в эмиграции. Одним из самых популярных его произведений был роман «Леон Дрей» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

61

С. 89. *Приехал в Одессу… редактор Ф. И. Благов и стал скликать сотрудников «Русского слова».* — Благов Федор Иванович (ум. в 1934) был редактором газеты «Русское слово» в последние годы ее существования. Вскоре после революции эмигрировал в Китай, сотрудничал в газетах «Заря» (Харбин) и «Шанхайская заря». *(прим. Ст. Н.)*.

62

…появился в городе поэт Макс Волошин. — Волошин (наст. фам. Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт, критик, художник. *(прим. Ст. Н.)*.

63

Девицы-дактило окружсши его восторженной толпой… — Дактило *(греч.* daktylos — палец) — так обычно называли машинисток в начале XX в. *(прим. Ст. Н.)*.

64

…надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву… — Кузьмина-Караваева (урожц. Пиленко, по второму мужу Скобцова, в монашестве мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891–1945) — поэтесса, прозаик, публицист, с 1920 г. — в эмиграции. Казнена в газовой камере гитлеровского концлагеря Равенсбрюк как участница движения Сопротивления; первый муж Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886–1959) — юрист, историк; в эмиграции католический священник. *(прим. Ст. Н.)*.

65

С. 93. *…художник А. Яковлев…* — Яковлев Александр Евгеньевич (1887–1938) — живописец, график, сценограф, педагог. С июля 1917 г. жил за границей. *(прим. Ст. Н.)*.

66

С. 96. *…где в каминном зеркале отражались иногда милые лица: сухое, породистое Ивана Бунина, и профиль бледной камеи — его жены, и ушкуйник Алеша Толстой, и лирическая жена его Наташа Крандиевская, и Сергей Горный, и Лоло, и Нилус…* — В описываемое время все эти люди были в Одессе. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — поэт, прозаик, переводчик; лауреат Нобелевской премии (1933). Бунина (урожд. Муромцева) Вера Николаевна (1881–1961) — переводчица, автор мемуарных книг «Жизнь Бунина» (1958) и «Беседы с памятью» (неоконч., опубл. 1960–1963), жена Бунина. Толстой Алексей Николаевич (1882/83 — 1945) — прозаик, драматург, поэт, публицист; в 1919–1923 гг. жил в Париже и Берлине. Крандиевская Наталия Васильевна (1888–1963) — поэтесса, жена А. Н. Толстого в 1914–1935 гг. Сергей Горный (псевд. Александра Авдеевича Оцупа; 1882–1949) — поэт, прозаик, журналист, литературный критик, мемуарист. До революции сотрудничал в «Сатириконе» и в «Новом Сатириконе». С 1920 г. — в эмиграции. Нилус Петр Александрович (1869–1943) — художник и писатель, друг И. А. Бунина. Все они эмигрировали. На родину вернулись позже лишь Толстой и Крандиевская. *(прим. Ст. Н.)*.

67

С. 101. *В одной из редакционных комнат сидел… А. Р. Кугель…* — Кугель Александр Рафаилович (1864–1928) — театральный критик, публицист, драматург и режиссер, директор театра «Кривое зеркало», основанного при Петербургском Театральном клубе в 1908 г. по инициативе З. В. Холмской. Руководил театром до 1928 г. В «Кривом зеркале» шли пьесы Тэффи «Любовь в веках», «Страшный кабачок» и др. *(прим. Ст. Н.)*.

Завивка волос *(фр.)*.

69

С. 112. *«Не слышно на нем капитана…»* — Начало третьей строфы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль (Из Зейдлица)» (1840). *(прим. Ст. Н.)*.

70

Слышите пальбу? Это, говорят, атаман Григорьев берет Одессу-Товарную. — Григорьев Николай Александрович (1894–1919) — один из главарей контрреволюции на Украине, бывший штабс-капитан. В 1919 г., будучи начальником украинской советской дивизии, поднял мятеж против советской власти, охвативший территорию Херсонской и Екатеринославской губерний. После разгрома бежал к махновцам и был ими убит. *(прим. Ст. Н.)*.

71

С. 119. *«Но настанет пор-ра…»* — Начало последнего куплета русской народной песни «Дубинушка». *(прим. Ст. Н.)*.

72

С. 123. *«Вы-ыйду ль я на ре-ченьку…»* — Неточное цитирование начальных строк русской народной песни «Выйду ль я на реченьку». *(прим. Ст. Н.)*.

73

…соло на арфе Цабеля. — Цабель Альберт Генрихович (1835–1910) — выдающийся русский арфист, композитор, педагог; по происхождению немец. Переехал в Россию в 1854 г. Солист оркестра Мариинского театра; в 1862–1902 гг. профессор Петербургской консерватории. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 124. *Миннезингеры (нем.* Minnesinger — певец любви) — поэты-певцы при германских дворах XII–XIII вв., перенявшие традиции провансальских трубадуров; предметом их песнопений была и рыцарская доблесть и беззаветное служение избраннице. *(прим. Ст. Н.).*

Менестрель (фр., прованс. menestrel) — в средневековой Англии и Франции — певец, музыкант, потешник и декламатор (обычно и поэт) при дворе знатного феодала. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 130. *«Гори, гори, моя звезда…»* — Неточно цитируется начало романса П. Булахова на слова В. Чуевского «Гори, гори, моя звезда». *(прим. Ст. Н.)*.

77

С. 131. *«К мысу радости, к скалам печали ли»…* — Это стихотворение, написанное Тэффи на корабле «Шилка», впоследствии стало широко известным как «Песня о родине» в исполнении А. Н. Вертинского. *(прим. Ст. Н.)*.

Где ты, старик? *(фр.)*

79

С. 136. *Младшая моя сестра Лена…* — Елена Александровна Лохвицкая с 1913 г. входила в Союз драматических писателей. Пьесы Е. Лохвицкой подписаны псевдонимом Элио. Сказка-лубок «Рябая присуха» в декабре 1912 г. была поставлена Ю. Э. Озаровским в Литейном театре. В 1915 г. в театре К. Н. Незлобина была поставлена пьеса А. Ривуара «Король Дагобер», переведенная Элио и Тэффи. *(прим. Ст. Н.)*.

80

С. 138. *Тут впервые услышали мы слово «зеленые».* — Во время Гражданской войны, помимо регулярных частей, в военных действиях участвовали партизанские отряды так называемых «зеленых». Чаще всего они выступали в поддержку Красной Армии, однако некоторые отряды действовали вместе с Белым движением; существовали также и такие автономные боевые группы, которые действовали независимо от белых и красных, нападая главным образом на мирное население. *(прим. Ст. Н.)*.

81

С. 139. *…надо ехать в Трапезунд.* — *Трапезунд* — город на северо-востоке Турции. В конце Первой мировой войны Трапезунд был занят российской армией, и там находился постоянный российский гарнизон. *(прим. Ст. Н.)*.

82

С. 148. *Встретила на улице знаменитого «матроса» Баткина.* — В 1917 г. на Черноморском флоте была сформирована делегация во главе с провокатором Ф. Баткиным, которая, разъезжая по стране, призывала вести войну до победного конца. На Балтийском флоте действия этих агитаторов потерпели провал, Баткин был разоблачен, и Севастопольский совет лишил мандатов всю делегацию. *(прим. Ст. Н.).*

83

«Вечерняя биржевка» — имеется в виду вечерний выпуск ежедневной петербургской газеты «Биржевые ведомости» (1880–1917). Издателем газеты был Станислав Максимилианович Проппер (1855–1931). С 1905 г. — орган кадетов. Тэффи часто публиковала свои рассказы и фельетоны на ее страницах. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 154. *Гимназия Гуревича* — частная гимназия в Петербурге. *(прим. Ст. Н.)*.

85

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — прозаик, драматург, публицист. *(прим. Ст. Н.)*.

86

Арабажин Константин Иванович (1866–1929) — критик, историк литературы. В 1913–1919 гг. жил в Гельсингфорсе, редактировал выходившие там газеты «Русский голос» и «Русская жизнь». В 1920 г. уехал в Ригу. *(прим. Ст. Н.)*.

87

Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1861–1926) — критик, искусствовед. *(прим. Ст. Н.)*.

88

С. 155. …*в моей пьесе «Алмазная пыль»*… — «Алмазная пыль» написана в 1909 г. и поставлена в мае того же года в театре О. С. Неволина «Летний фарс». Спектакль шел с большим успехом. В частности, в рецензии, опубликованной в газете «Речь» (1909. № 136. 21 мая/3 июня) говорилось: «Грациозно была разыграна и поставленная вчера в первый раз остроумная комедия Тэффи «Алмазная пыль». Эта пьеска не совсем комедийная; в ней есть и драматический элемент, и ярко искрящийся в ней юмор не заслоняет психологическую обрисовку фигур, тонкую и художественную. Поставлена была пьеска с большим вкусом. Обдуманно провел свою роль г. Неведомов, игравший вора. Пьесе Тэффи много аплодировали». *(прим. Ст. Н.)*.

89

С. 157. «*Летучий голландец*» — согласно легенде, призрачный корабль, обреченный никогда не приставать к берегу; среди моряков до сих пор распространено поверье, что встреча с ним сулит гибель в море. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 161. *Помню в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кошевского…* — Рунич Осип Иванович — один из первых русских киноактеров; первая роль — Николай Ростов в первой экранизации «Войны и мира» (1915); снимался в фильмах «Песнь торжествующей любви» (1915), «Живой труп» (1918) и др. Кошевский (наст. фам. Кричевский) Александр Дмитриевич (1873–1931) — русский артист оперетты, начинал как драматический артист в провинции в 1895 г; с 1902 г. — в Петербурге, в театрах «Пассаж» и «Палас-театр»; с 1915 г. играл в Москве в театрах «Эрмитаж», «Буфф», «Аквариум». *(прим. Ст. Н.)*.

91

С. 162. *Деникин* Антон Иванович (1872–1947) — один из главных организаторов белых сил в Гражданскую войну, генерал-лейтенант. С апреля 1918 г. — командующий Добровольческой армией; с декабря 1918 г. — главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. С 1920 г. — в эмиграции. Опубликовал «Очерки русской смуты» (в 5 т., 1921–1926), «Путь русского офицера» (изд. 1953) и др. Умер в США. *(прим. Ст. Н.)*.

92

С. 163. *…напряженный взгляд мистика Успенского…* — Успенский Петр Демьянович (1878–1947) — мистик, ученик Г. И. Гурджиева; разрабатывал свое учение; наиболее известна его книга «Четвертое измерение». Эмигрант. *(прим. Ст. Н.)*.

Новороссийск, купания *(фр.)*.

С. 164. *Бараны плотными волнами (как кудри Суламифи)…* — Суламифь (Суламита) — в Ветхом Завете возлюбленная царя Соломона. «…Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галаадской…» — так к ней обращался Соломон (Песн. 4:1). *(прим. Ст. Н.)*.

95

…*приятельница Мамонта Дольского.* — Дальский (наст. фам. Неелов; Мамонт Викторович (1865–1918) — известный драматический артист; в 1917–1918 гг. анархист; погиб в июне 1918 г., попав под трамвай. *(прим. Ст. Н.)*.

96

С. 164–165. *Всю жизнь играл… на сцене Кина…* — Кин — из спектакля «Кин, или Гений и беспутство» (по пьесе Александра Дюма-отца, 1836) — одна из самых известных ролей Мамонта Дальского. В основе сюжета пьесы — жизнь великого английского актера Эдмунда Кина (1787–1833). *(прим. Ст. Н.)*.

97

С. 166. *И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки…* — Согласно Библии, прежде чем уничтожить города Содом и Гоморру за грехи их жителей, Бог спас праведника Лота, его детей и его жену, однако приказал не оборачиваться назад. Жена Лота нарушила запрет и была наказана: «Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом» (Быт. 19:26). *(прим. Ст. Н.)*.

В данный раздел включены мемуарные произведения Тэффи, появлявшиеся в разное время в периодической печати, но так и не вышедшие отдельной книгой при жизни писательницы. Рукопись книги «Моя летопись» была послана автором в нью-йоркское Издательство им. Чехова. Однако, пролежав долго в издательстве, она не была опубликована. Лишь спустя три года после смерти писательницы рукопись была возвращена ее дочери Валерии Владиславовне Грабовской. И вскоре фрагменты книги, ранее не публиковавшиеся, стали появляться в журнале «Возрождение» (1955. № 42, 43, 47; 1956. № 49, 50). Публикация открылась воспоминаниями о А. Куприне, В. Мейерхольде и Г. Чулкове, которые предварялись кратким обобщающим вступлением; воспоминания напечатанные ранее, в 1948–1950 гг., в газете «Новое русское слово», начинались с очерка «О Бальмонте». Какой должна была быть последовательность глав книги, сейчас установить невозможно: рукописи с последовательной нумерацией страниц не существует. Хранящаяся в РГАЛИ рукопись составлена из разнородных частей: газетных и журнальных публикаций, машинописных экземпляров, отпечатанных на разных машинках, на разной бумаге, в разное время. Сомнительно, что Тэффи сама составляла эту книгу.

Однако как отправной пункт эту рукопись все же можно принять. Составитель взял на себя смелость построить книгу «Моя летопись — по своему усмотрению. Поэтому сюда входят и те произведения, которых нет в составе рукописи, хранящейся в архиве, но которые по праву могли бы занять в книге соответствующее место (это воспоминания о первых литературных шагах, воспоминания о Распутине и некоторые другие). *(прим. Ст. Н.)*.

99

Впервые: Сегодня (Рига). 1929. № 270. 29 сентября. *(прим. Ст. Н.)*.

100

С. 170. …*самый старший брат*… — Лохвицкий Николай Александрович (1868–1933), избрал военную карьеру, был генералом; командовал Русским экспедиционным корпусом во Франции во время Первой мировой войны. *(прим. Ст. Н.)*.

101

…старшая сестра моя Маша… — Лохвицкая Мария Александровна (1869–1905) — поэтесса; окончив в 1888 г. Александровский институт в Москве, выпустила первую стихотворную книжку под псевдонимом Мирры Лохвицкой, который и стал в дальнейшем ее литературным именем. *(прим. Ст. Н.)*.

102

…что это был за журнал, не помню, но помню, что редакторами его были П. Гнедич и Всеволод Соловьев… — Гнедич Петр Петрович (1855–1925) — прозаик, драматург, театральный критик, историк театра. Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) — писатель, автор исторических романов, исследователь оккультизма (известна его книга «Современная жрица Изиды» — о Е. П. Блаватской). В 1887 г. Гнедич и Соловьев основали журнал «Север»; в этом журнале в 1889 г. печатались стихи Мирры Лохвицкой а первое стихотворение Тэффи за подписью пока еще Надежды Лохвицкой «Мне снился сон безумный и прекрасный…» было опубликовано в этом журнале в 1901 г. (№ 35). *(прим. Ст. Н.)*.

103

С. 171 *В тринадцать лет у меня был уже литературный стаж, стихи на приезд государыни и стихи по случаю юбилея гимназии.* — Литейная женская гимназия, в которой училась Н. А. Лохвицкая, праздновала свое двадцатилетие в 1884 г. (открыта 23 января 1864 г.), несохранившееся стихотворение было, вероятно, написано именно к этому юбилею; «приезд государыни» (скорее всего — императрицы Марии Федоровны) также мог быть связан с этим событием. *(прим. Ст. Н.)*.

104

…написала я забавную «Песенку Маргариты»… — Имеется в виду пародийное переложение песни Маргариты «Der Konig in Thule» из «Фауста» И. В. Гёте. (ч.1, сцена 8). *(прим. Ст. Н.)*.

105

В «Осколках» редактором был Лейкин… — «Осколки» — еженедельный иллюстрированный юмористический журнал. Выходил в Петербурге с 1881 по 1916 г. В виде приложений с 1907 г. выходили сборники юмористических рассказов и стихотворений. Редактором-издателем журнала с 1881 г. был писатель Николай Александрович Лейкин (1841–1906). *(прим. Ст. Н.)*.

106

Впервые. Возрождение. 1931. 20 декабря. *(прим. Ст. Н.)*.

107

С. 173. *Уж если захотела взять псевдоним, можно было выбрать что-нибудь… с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец.* — Максим Горький (наст, имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) — писатель, драматург, публицист, общественный деятель. Демьян Бедный (наст, имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) — поэт. Скиталец (наст, имя и фам. Степан Гаврилович Петров; 1869–1941) — прозаик. *(прим. Ст. Н.)*.

108

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница, подписывалась «Вергежский»; талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний». — Марко Вовчок — псевдоним украинской писательницы Марии Александровны Вилинской-Маркович (1833–1907). Псевдонимом Вергежский подписывалась писательница и журналистка Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962); Вергежа — имение в Новгородской губернии, где она родилась. Антон Крайний — псевдоним З. Н. Гиппиус. *(прим. Ст. Н.)*.

109

Объяснение *(фр.)*.

110

С. 174. …*в дирекцию Суворинского театра.* — Имеется в виду Петербургский Малый театр (театр Литературно-художественного общества), существовавший в 1895–1917 гг.; одним из создателей, а затем владельцем был А. С. Суворин (1834–1912). *(прим. Ст. Н.)*.

111

…«Принята к постановке в Малом театре одноактная пьеса Тэффи “Женский вопрос”». — Пьеса была поставлена в Петербургском Малом театре в 1917 г. *(прим. Ст. Н.).*

112

С. 175. *Режиссировал Евтихий Карпов…* — Карпов Евтихий Павлович (1857–1926) — режиссер и драматург, автор более 20 пьес. *(прим. Ст. Н.)*.

113

Молодая актриса, Гринева… — Гринева Мария Алексеевна, актриса Суворинекого театра. *(прим. Ст. Н.)*.

114

С. 176. *…комическая старуха Яблочкина…* — Яблочкина-Журина Евгения Александровна (1852–1912) — актриса Александринского, а затем Суворинского театров. *(прим. Ст. Н.)*.

115

Действительно, у Киплинга есть такое имя. — Героиню сказки Р. Киплинга «Как было написано первое письмо», маленькую девочку, зовут Тэффи. *(прим. Ст. Н.).*

116

…в «Трильби» и песенка такая есть… — Имеется в виду пьеса Г. Ге (1868–1942) по роману Дж. Дюморье. Пьеса была поставлена в 1896–1897 гг. в театре Литературно-драматического кружка, а в 1900 г. — в Театре Корша. *(прим. Ст. Н.)*.

117

Тэффи был сорви-голова,
Тэффи был вором…*(англ.)*.

118

Впервые: Возрождение. 1955. № 42. *(прим. Ст. Н.)*.

119

С. 177. *Многие писатели кончили настоящим сумасшествием — Стриндберг, Бальмонт, Мопассан, Гаршин, Ницше…* — Стриндберг Август Юхан (1849–1912) — шведский прозаик и драматург; в конце жизни страдал психическим расстройством. Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт, прозаик, драматург, переводчик; в начале 1930-х годов больше года провел в психиатрической клинике, затем вспышки болезни возникали периодически. Мопассан Ги де (1850–1893) — французский писатель; страдал психическим расстройством в результате наследственного сифилиса. Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — прозаик; страдал психическим расстройством; покончил самоубийством, бросившись в пролет лестницы. Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ; последние почти двадцать лет жизни был прикован к постели, страдая прогрессивным параличом в последней стадии сифилиса и находясь практически в невменяемом состоянии. *(прим. Ст. Н.)*.

120

С. 177–178. …*«накатила», как на хлыстов во время радения.* — Хлысты (христововеры) — секта духовных христиан. Возникла в России в XVII в. Считают возможным прямое общение со «св. духом», воплощение Бога в праведных сектантах — «христах», «богородицах». На религиозных обрядах — радениях доводят себя до религиозного экстаза, иногда прибегают к самоистязанию. *(прим. Ст. Н.)*.

121

С. 179. …*вспоминается исступленный эпилептик Достоевский, безумный Гоголь, беспокойный Державин, истерик Тургенев, неврастеник Григорович. Даже толстый дядя Гончаров и тот страдал манией преследования и видел призраков.* — Тэффи приводит факты, известные из биографий перечисленных писателей; все они страдали теми или иными нервно-психическими недугами в той или иной степени. *(прим. Ст. Н.)*.

122

…Куприн был написан Кнутом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном. — Актер Н. Н. Ходотов, хорошо знавший А. И. Куприна (они познакомились в 1901 г. в Одессе), вспоминал о нем так: «В Куприне бурно уживались жестокость и нежность, но жестокость его была наигранной, под влиянием окружающей “сволочи” (Ходотов Н. Н. Близкое-далекое. Л.; М., 1962. С. 174). См. также статьи Куприна «О Кнуте Гамсуне» (1908) и «Заметка о Джеке Лондоне» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

123

С. 180. *Пантелеймонов Борис* — см. о нем в примеч. к очерку «Мой друг Борис Пантелеймонов». *(прим. Ст. Н.)*.

124

…в литературном ресторане «Вена»… — Ресторан в Петербурге на Малой Морской, д. 13/8. О кутежах Куприна и его собутыльниках см., напр.: Чуковский К. Современники. М., 1962. С. 258, 261, 275. *(прим. Ст. Н.)*.

125

С. 181. — *Этот офицер хорошо пишет, — сказал Толстой о начинающем Куприне.* — С Толстым Куприн познакомился в Ялте в 1902 г., а в 1906 г. получил его портрет с дарственной надписью. В дневниках и письмах Л. Н. Толстого, в воспоминаниях о нем, в записях Д. П. Маковицкого встречаются суждения о Куприне и его сочинениях («Поединок», «Яма», «Ночная смена» и др.). «Читаю Куприна <…> Какой бы был хороший писатель, если бы жил не во время повального легкомыслия, невежества и сумасшествия» (Из письма М. Л. Оболенской от 15 октября 1905 г. — Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XIX–XX. М., 1984. С. 589); «Из молодых писателей нет ни одного, близко подходящего Куприну» (26 сентября 1907 г. — Лит. наследство. Т. 69, кн. 1. М., 1961. С. 116); «Что его ни раскрою, все хорошо» (июнь 1910 г. — Там же. С. 118) и др. *(прим. Ст. Н.)*.

126

«Возрождение» — газета, выходившая с 3 июня 1925 г. в Париже (ежедневная, с 1936 г. — еженедельная), издававшаяся до 1940 г. на средства нефтепромышленника А. О. Гукасова. С 1925 по 1927 г. ее главным редактором был известный историк, философ, экономист Петр Бернгардович Струве (1870–1944). С 18 августа 1927 г. и до закрытия газеты главным редактором был Юлий Федорович Семенов (1873–1947), общественно-политический деятель и журналист. *(прим. Ст. Н.)*.

127

С. 182. *Доктор запретил пить кальвадос…* — Кальвадос — крепкий напиток (40–45 % об.), изготовляемый путем перегонки яблочного сидра, а затем выдержки полученного спирта в дубовых бочках в течение двух-трех лет, а затем еще и в дубовых бутах не менее пяти лет. *(прим. Ст. Н.)*.

128

Уезжая в Россию… — Имеется в виду возвращение Куприна на родину в мае 1937 г. *(прим. Ст. Н.)*.

129

С. 183…. *в газете «Новости»*… — Издавалась публицистом и драматургом Осипом Константиновичем Нотовичем (1849–1914). *(прим. Ст. Н.)*.

130

Пильский Петр Моисеевич (1879–1941) — критик, публицист, прозаик; друг Куприна; после революции — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

131

…начинается новая газета. Будет выходить по понедельникам. — Имеется в виду газета «Свободные мысли» (1907–1911, в 1908–1909 гг. выходила под названием «Утро»*), редактором-издателем которой был И. Василевский (Не-Буква). (прим. Ст. Н.).*

132

…купить у Вейса… — Имеется в виду магазин и мастерская обуви Г. К. Вейса, Невский пр., д. 66. *(прим. Ст. Н.)*.

133

С. 184. *…его жена, Елизавета Маврикиевна, и молоденькая дочь…* — Второй женой Куприна была Елизавета Морицовна (урожд. Гейнрих; 1882–1942). Дочь Куприна Ксения (1908–1981) впоследствии стала актрисой, снялась более чем в тридцати фильмах; вернувшись в СССР в 1958 г., работала в Театре им. А. С. Пушкина. Об отце она написала воспоминания «Куприн — мой отец» (1968). *(прим. Ст. Н.)*.

«Сильна, как смерть» *(фр.)*.

135

С. 185. *…в стиле мопассановского «Forte comme la mort»…* — Имеется в виду роман Г. де Мопассана «Сильна как смерть». *(прим. Ст. Н.)*.

136

С. 186. *Не знаю, жив ли Георгий Чулков.* — Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. Умер в Москве 1 января 1939 г. *(прим. Ст. Н.)*.

137

А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове… — Тэффи цитирует пародию «История русской критики» (Измайлов А. А. Кривое зеркало: Пародии и шаржи. СПб., 1914. С. 138–139). Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) — прозаик, поэт, литературный критик; прославился как автор пародий, прозаических и стихотворных, собранных в его книгах «Кривое зеркало» (1908, 4 издания до 1914 г.) и «Осиновый кол» (1915). С 1898 по 1916 г. вел рубрику «Литературное обозрение» в газете «Биржевые ведомости» и одним из первых откликнулся положительной рецензией на книгу юмористических рассказов Тэффи. *(прим. Ст. Н.)*.

138

…еще до Театра Комиссаржевской…. — Театр был основан в Петербурге в сентябре 1904 г. В. Э. Мейерхольд работал в Театре В. Ф. Комиссаржевской с лета 1906-го и до конца 1907 г. С Чулковым и Мейерхольдом Тэффи встречалась в 1906 г. на «Башне» Вяч. Иванова, входила в «инициативную группу» театра «Факелы» (ем.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. М.; Л., 1929. С. 218–219). *(прим. Ст. Н.)*.

139

С. 186–187. *…перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени…* — Театр имени Мейерхольда в Москве (1920–1938); основа его — Театр РСФСР 1-й — название свое получил в 1923 г.; с 1926 г. — ГОСТИМ (Гос. театр им. Вс. Мейерхольда). *(прим. Ст. Н.)*.

140

С. 187. *Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре…* — 2 марта 1916 г. в Малом театре состоялась премьера пьесы Тэффи «Шарманка Сатаны» (в главных ролях — Вера Пашенная и Александр Остужев). *(прим. Ст. Н.)*.

141

Ставил пьесу Платон… — Платон Иван Степанович (1870–1935) — русский режиссер и драматург, с 1895 г. работал в режиссерском управлении Малого театра. *(прим. Ст. Н.)*.

142

С. 188. *Главная роль у Остужева.* — Остужев Александр Алексеевич (наст. фам. Пожаров; 1874–1953) — с 1898 г. актер Малого театра; в пьесе Тэффи сыграл роль адвоката Андрея Николаевича Долгова. «Не без тонкости и ловкости прошел через кустарники флирта г. Остужев, изображая российского Дон-Жуана» (Русское слово. 1916. № 51. С. 5). *(прим. Ст. Н.).*

143

Незлобин Константин Николаевич (1857–1930) — режиссер, актер, антрепренер, переводчик. *(прим. Ст. Н.)*.

144

…помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора». — Постановка «Ревизора» в 1926 г. в Театре им. Вс. Мейерхольда подверглась резкой критике в советской прессе. *(прим. Ст. Н.)*.

145

У Мейерхольда была очень милая жена… — Ольга Михайловна Мунт (1874–1940). *(прим. Ст. Н.)*.

146

После революции он женился на другой. — Второй женой Мейерхольда после 1920 г. стала Зинаида Николаевна Райх (1894–1939). *(прим. Ст. Н.)*.

147

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — критик, публицист, драматург; с 1917 г. — нарком просвещения. В середине 1920-х годов Луначарский женился на актрисе Наталье Розенель. *(прим. Ст. Н.)*.

148

…вторая жена Гумилева… — Анна Николаевна Энгельгардт (1895–1942). *(прим. Ст. Н.)*.

149

…третий муж Ахматовой… — Скорее всего, имеется в виду второй муж Ахматовой Владимир Казимирович Шилейко (1891–1930). *(прим. Ст. Н.)*.

150

…третья жена Толстого… — Н. В. Крандиевская. О ней см. в примеч. к «Воспоминаниям». *(прим. Ст. Н.)*.

151

С. 189. *Какой именно смертью он умер, никто не знает.* — В 1939 г. Мейерхольд был арестован и осужден по абсурдному обвинению. Погиб в заключении в 1942 г. (по другим данным — в 1940 г.). *(прим. Ст. Н.)*.

152

Впервые: Новое русское слово. 1949. № 13407. 9 января. *(прим. Ст. Н.)*.

153

С. 189. *…в самом начале моей литературной жизни, сочинила я… революцаонное стихотворение «Пчелки».* — Стихотворение «Пчелки» («Мы бедные пчелки, работницы-пчелки!..»), посвященное К. Платонову, написано весной 1905 г., впервые опубликовано в газете «Вперед» (Женева) под заглавием «Знамя свободы» без подписи. Вошло в книгу «Семь огней» (СПб.: Шиповник, 1910; цикл «Алмаз»). *(прим. Ст. Н.)*.

154

С. 190. *«Моя любовь, как странный сон».* — Стихотворение из цикла «Аметист» (вошло в книгу «Семь огней»). *(прим. Ст. Н.).*

155

…Сологуб написал ваших «Пчелок»? — В № 9 за 1905 г. журнала «Вопросы жизни» на первой странице было помещено стихотворение Ф. Сологуба «Швея» с примечанием от редакции, в котором от имени Сологуба сообщалось, что «тема… стихотворения “Швея” совпадает с темой стихотворения “Пчелки”». *(прим. Ст. Н.)*.

156

«Сам я и беден и мал…» — Цитата из стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги…» (1897). *(прим. Ст. Н.)*.

157

С. 191. *«Мы были праздничные дети…»* — Начало стихотворения Сологуба, датированного 30 августа 1906 г. Далее Тэффи неточно цитирует это же стихотворение. Его третья строфа начинается так:

> Хоть бедных раковин случайно
> Набрать бы у ручья… *(прим. Ст. Н.)*.

158

С. 192. *…проехаться на конке на империале…* — Во второй половине XIX в. в городах появился новый вид рейсового транспорта — конно-железная дорога. Это были ходившие по рельсам, запряженные лошадьми вагончики с сидячими местами для пассажиров. Более дешевые места находились на крыше-империале, куда можно было взобраться по винтовой лестнице. Женщинам на империале ездить запрещалось. В просторечии конно-железную дорогу прозвали «конно-железкой», затем просто «конкой». *(прим. Ст. Н.)*.

159

Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навьих чар». — Имеются в виду романы Ф. Сологуба; в 1907 г. вышло отдельное издание «Мелкого беса» и начаты «Навьи чары». *(прим. Ст. Н.)*.

160

С. 193. *«Я верю в творящего Бога…»* — Стихотворение Ф. Сологуба (1897). *(прим. Ст. Н.)*.

161

…умерла тихая сестра Сологуба. — Ольга Кузьминична Тетерникова умерла от туберкулеза в 1907 г. *(прим. Ст. Н.)*.

162

…женился на переводчице Анастасии Чеботаревской… — Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876–1921) — критик, переводчица; жена Ф. Сологуба с 1908 г.; покончила с собой, бросившись в Неву. *(прим. Ст. Н.)*.

163

С. 194. *На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.* — Леда — в греческой мифологии супруга спартанского царя Тиндарея. Зевс, плененный красотой Леды, овладел ею, обратившись в лебедя. Этот сюжет послужил темой картин многих живописцев разных стран и эпох. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 195. …*прочла Пушкина «Заклинание».* — Стихотворение 1830 г. («О, если правда, что в ночи…»). *(прим. Ст. Н.)*.

165

Аничков Евгений Васильевич (1866–1937) — литературовед, историк литературы, фольклорист, критик, прозаик; после революции — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

166

С. 196. *…боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой»…* — Цитата из сказки Сологуба «Пленная смерть»: «…стоит возле него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная» (Сологуб Ф. Собр. соч. Т. X. СПб., 1923. С. 41). «Проклятой бабищей» называет Сологуб жизнь в стихотворении «Безумное светило бытия» (1922): «Я жизни не хочу, — уйди, уйди / Ты, бабища проклятая…». *(прим. Ст. Н.)*.

167

«Белей лилей, алее лала…» — Цитата из стихотворения «Любовью легкою играя…» (1901). *(прим. Ст. Н.)*.

168

«Я косила целый день…» — Цитата из стихотворения Сологуба «Тихая колыбельная» (1906). *(прим. Ст. Н.)*.

169

С. 197. …*придумали Тетерникову псевдоним — Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса».* — Псевдоним «Сологуб» придуман в редакции журнала «Северный вестник». Автор «Тарантаса» — граф Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882). *(прим. Ст. Н.)*.

170

«Когда я в бурном море плавал…» — Неточная цитата из стихотворения Сологуба (1902). *(прим. Ст. Н.)*.

171

С. 198. *Флагелланты (лат.)* — бичующиеся; религиозные аскеты-фанатики, проповедовавшие публичное самобичевание ради «искупления грехов»; это движение, возникнув в XIII в. среди городской бедноты Италии как протест против католической церкви, гнета феодалов и непрерывных войн, распространилось потом по всей Западной Европе; флагелланты жестоко преследовались как еретики и в XV в. постепенно исчезли. *(прим. Ст. Н.)*.

172

Комплекс Эдипа (или Эдипов комплекс) — понятие психоанализа; согласно Фрейду, представляет собой результат вытеснения в бессознательное враждебных импульсов по отношению к отцу, возникающих в раннем детстве. *(прим. Ст. Н.)*.

173

«Собираю ночью травы…» — Неточная цитата из стихотворения «Ты не бойся, что темно…» (1902). *(прим. Ст. Н.)*.

174

…мою пьесу «Царица Шамурамат»… — Так Тэффи называет свою пьесу «Полдень Дзохары. Легенда Вавилона», вошедшую в книгу «Семь огней» (СПб.: Шиповник, 1910. С. 83—111), посвященную Сологубу. *(прим. Ст. Н.)*.

175

С. 199… *старику-шлиссельбуржцу Морозову…* — Морозов Николай Александрович (1854–1946) — революционер-народник, крупный ученый, почетный академик АН СССР (1932), поэт, прозаик, мемуарист; в 1882 г. приговорен к вечной каторге, провел в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях более двадцати лет. *(прим. Ст. Н.)*.

176

С. 200. *Савинков* Борис Викторович (1879–1924) — с 1903 г. эсер, организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве — товарищ военного министра. После Октябрьской революции — организатор антисоветских заговоров и мятежей. Эмигрант. В 1924 г. при нелегальном переходе советской границы был арестован; осужден. Покончил самоубийством в тюрьме. *(прим. Ст. Н.)*.

177

…читал над гробиком «Литургию Красоты» Бальмонта. — Книга К. Бальмонта «Литургия Красоты: Стихийные гимны» вышла в Москве в 1905 г. *(прим. Ст. Н.)*.

178

Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел. — Поэма А. Блока «Двенадцать» (1918) отразила революционные события и вызвала разноречивые отклики и прямо противоположные суждения как в литературной среде, так и со стороны читателей. *(прим. Ст. Н.)*.

179

…говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцинее… — Альдонса Лоренцо — героиня романа М. Сервантеса «Дон Кихот» (1605–1615), грубая простая крестьянка, в ней Дон Кихот видит самую прекрасную женщину в мире и избирает ее «дамой сердца» под именем Дульцинеи (от *лат.* dulcis — сладостный, нежный). *(прим. Ст. Н.)*.

180

«Качает черт качели…» — Неточная цитата из стихотворения «Чертовы качели» (1907). *(прим. Ст. Н.)*.

181

Сомов написал его портрет… — Сомов Константин Андреевич (1869–1939) — живописец и график; один из активных сотрудников журнала и объединения художников «Мир искусства»; портрет Сологуба написал в 1910 г. (хранится в музее ИРЛИ). *(прим. Ст. Н.)*.

182

Сенилов переложил его стихи на музыку. — Сенилов Владимир Алексеевич (1875–1918) — композитор, автор музыки к драме Ф. Сологуба «Ванька-Ключник и паж Жеан», а также романсов на стихи Ф. Сологуба, А. Блока и других поэтов-символистов. *(прим. Ст. Н.)*.

183

С. 201. *…в рижской газете «Сегодня»…* — «Сегодня» — независимая демократическая газета, выходила с 17 августа 1919 г. по 21 июня 1940 г. *(прим. Ст. Н.)*.

184

С. 202. *«Как хорошо, что реют пчелы…»* — Контаминация цитат из одноименного стихотворения, вошедшего в книгу «Алый мак» (1917). *(прим. Ст. Н.)*.

185

«День только к вечеру хорош…» — Цитата из триолета, вошедшего в книгу «Очарования земли: Стихи 1913 года» (сб. «Очарования земли» / Собр. соч. Т. XVII. СПб., 1914) — была подарена Сологубом Тэффи с дарственной надписью. *(прим. Ст. Н.)*.

186

Впервые: Новое русское слово. 1948. 7 ноября. *(прим. Ст. Н.)*.

187

С. 203. *Яковлева* (урожд. Россет) *Зоя* Юлиановна — прозаик, драматург; драма «Поздно» ставилась на императорских сценах; в 1906–1908 гг. — сотрудница сатирических журналов, псевд. «Скаблиоза». *(прим. Ст. Н.)*.

188

С. 204. *…она жаловалась на редактора «Вестника Европы»…* — Имеется в виду ежемесячный журнал, который начал издаваться в 1866 г. под редакцией либерального профессора М. И. Стасюлевича. В журнале публиковались как статьи по вопросам экономики, политики, истории, естествознания, так и произведения крупнейших русских писателей XIX и начала XX в. В 1918 г. журнал прекратил свое существование. *(прим. Ст. Н.)*.

189

Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937) — писатель, философ, теоретик символизма; после 1907 г. жил за границей. *(прим. Ст. Н.)*.

190

Вилькина Людмила Николаевна (1873–1920) — поэтесса, переводчица, жена Н. Минского. *(прим. Ст. Н.)*.

191

Какая-то неизвестная дама успела прочесть свое произведение… — Имеется в виду мать Алексея Толстого А. Л. Востром (урожд. Тургенева), по первому мужу графиня Толстая (1854–1906), — прозаик, драматург, очеркист. *(прим. Ст. Н.)*.

192

С. 205. *Толстой пришел со своей новой женой, Соней Дымшиц.* — Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна (1889–1963) — художница, вторая жена (в 1907–1914 гг.) Толстого. *(прим. Ст. Н.)*.

193

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — прозаик, драматург, мемуарист. С 1921 г. — в эмиграции. Ремизов любил всевозможные розыгрыши, создал Обезьянью палату и посвящал в ее рыцари своих друзей и знакомых — для всевозможных ритуалов он использовал звериные меха, предметы из шаманских культов и т. п. *(прим. Ст. Н.)*.

У меня были другие заботы *(фр.)*.

195

С. 207. *Шухаев* Василий Иванович (1887–1973) — живописец, график, сценограф, монументалист и педагог. С 1920 г. — в эмиграции. Вернулся в СССР в 1935 г. *(прим. Ст. Н.)*.

196

Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886–1957) — прозаик, драматург, публицист; автор знаменитых исторических романов. *(прим. Ст. Н.)*.

197

Цетлин Мария Самойловна (урожд. Тумаркина; 1882–1976) — издатель, общественный деятель, жена М. О. Цетлина, с апреля 1919 г. — в эмиграции. Щедро помогала бедствующим во Франции писателям и ученым. *(прим. Ст. Н.)*.

Вырубов Василий Васильевич — общественный деятель, один из руководителей Всероссийского земского союза. *(прим. Ст. Н.)*.

199

Львов Георгий Евгеньевич, князь (1861–1925) — земской деятель, кадет. Депутат I Государственной думы. Председатель Всероссийского земского союза (с 1914). В марте-июле 1917 г. — глава Совета министров и министр внутренних дел Временного правительства. С 1918 г. — эмигрант, жил сначала в США, потом во Франции. *(прим. Ст. Н.)*.

200

Стахович Михаил Александрович (1861–1928) — депутат I и II Государственной думы, член Государственного совета. *(прим. Ст. Н.)*.

201

Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962) — живописец, график, сценограф и художник прикладного искусства; жена М. Ф. Ларионова. С 1915 г. постоянно жила за рубежом, с 1918 г. — в Париже. *(прим. Ст. Н.)*.

202

Ларионов Михаил Федорович (1881–1964) — живописец, график, сценограф, теоретик искусства. С 1915 г. постоянно жил за рубежом. *(прим. Ст. Н.)*.

203

Вскоре приехали Бунины. — И. А. Бунин и В. Н. Муромцева-Бунина приехали в Париж в марте 1920 г. *(прим. Ст. Н.)*.

204

Отсутствует *(фр.)*.

205

С. 210. *Если бы Толстой писал про Савонаролу…* — Савонарола Джироламо (1452–1498) — итальянский религиозно-политический деятель, поэт; настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Призывал церковь к аскетизму, обличал папство, осуждал гуманистическую культуру, организовывал сожжение произведений искусства. В 1497 г. отлучен от церкви и по приговору приората казнен. Аскет-фанатик Савонарола — один из главных героев романа Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (1901). *(прим. Ст. Н.)*.

С. 212. *Поеду в Берлин.* — Алексей Толстой с семьей уехал в Берлин в октябре 1921 г. *(прим. Ст. Н.)*.

207

С. 213. *«Петром Первым» зачитывались.* — Первое издание романа А. Н. Толстого «Петр Первый» вышло в 1930 г. в Ленинграде, второе — там же в 1938 г. *(прим. Ст. Н.)*.

208

Последний раз видела я Толстого на парижском съезде писателей. — Имеется в виду Первый конгресс писателей в защиту культуры, открывшийся 21 июня 1935 г. Подробно об этой встрече см.: Лит. наследство. М., 1973. Т. 84, кн. 2. С. 393. *(прим. Ст. Н.)*.

209

Впервые: Новое русское слово. 1950. № 13792. 29 января.

Воспоминания о Мережковских Тэффи писала с осени 1949 г. Вот что она сообщала в сентябре 1949 г. в письме к Андрею Седых, (псевд. Якова Моисеевича Цвибака) в Нью-Йорк: «Начала писать о Мережковских для Н. Р. Слова. При всей моей мировой нежности выходит зло. Вот люди, от которых ни в коем случае не осталось ни тепла, ни света. Но персонажи любопытные» (Седых Андрей. Тэффи в письмах // Воздушные пути. 1963. № 3. С. 185).

В письме Седых от 16 декабря: «В болезни моей виноваты Мережковские. Я почти закончила большую статью о них (не очень-то сладкую). Мне приснилась Гиппиус, которая тянула меня к себе за руку и кричала: Тэффи с нами! Тэффи с нами! Я проснулась больная. Но вот поправлюсь, статью закончу. Я писала честно» (Там же. С. 201).

Отношение к опубликованным воспоминаниям о Мережковских в эмигрантской среде было неоднозначным. 10 февраля 1950 г. Тэффи писала Седых: «Галич (критик и поэт Леонид Галич. — *Ст. Н.)* написал Пантелеймонову, будто Н.Н. (имеется в виду Нина Николаевна Берберова. — *Ст. Н.)* пришла в бешенство от моей статьи о Мережковском и кричит, что это Вы, Яша, меня купили, т. к. Вы ненавидите Мережковских за их высокомерие по отношению к Вам. А я-то, ничего не знаючи об этой купле-продаже, сижу тихо и пишу о З. Гиппиус» (Там же. С. 201–202). *(прим. Ст. Н.)*.

210

С. 213. *Мертвецу льстить невозможно.* — Тэффи в эпиграфе неточно цитирует «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего» (1790) А. Н. Радищева (1749–1802). У Радищева: «…Мертвому льстити не можно». *(прим. Ст. Н.)*.

211

Андрей Белый (Эпопея. Кн. 2-я) говорит… — «Эпопея» — литературный ежемесячник под редакцией А. Белого, выходил в Берлине в 1922–1923 гг., всего вышло 4 номера. Здесь имеются в виду «Воспоминания о Блоке» А. Белого, которые публиковались в журнале (№ 1–4). В частности, в № 2 (с. 226, 295) А. Белый писал: «Приговор всей общественности Мережковским сочетался в А.А. (Блоке. — *Ст. Н.)* с очень тонким вниканием в психологию их как людей очень маленьких, очень запуганных; в их интимном, в неповторимом — любил их; в том смысле он даже с какою-то трогательностью относился к «помпонам» на туфлях Д. С. Мережковского <…> И невольно теперь соглашаешься с Блоком, который в те годы еще в Мережковском отчетливо разглядел это все; «белоручка» и «зябкий» — и все этим сказано: щупленький, маленький, лучше всего рассуждающий в туфлях с «помпонами»…». *(прим. Ст. Н.)*.

212

С. 214. *Гоголевский Хома Брут, очертивший себя кругом.* — Имеется в виду эпизод из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835). *(прим. Ст. Н.)*.

213

…украшают цветочками статуэтку св. Терезы… — Святая Тереза Авильская (1515–1582; день памяти — 15 октября). Мережковский написал о ней книгу «Жизнь Св. Терезы Авильской» (2-я часть «Испанских мистиков»). *(прим. Ст. Н.)*.

214

С. 215. …*они очень дружили с Д. Философовым.* — Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — критик, публицист. С 1897 г. выступал в печати — публиковался в журналах «Северный вестник», «Образование», «Журнал Министерства юстиции», «Трудовая помощь»; участвовал в организации журнала «Мир искусства» (1899–1904), редактировал литературный отдел этого журнала. В это же время знакомится с Д. Мережковским и З. Гиппиус. Начинается их многолетнее активное сотрудничество. С 1920 г. — в эмиграции в Варшаве; соредактор газет «За свободу» (1921–1932), «Молва» (1932–1934) и «Меч» (1934–1939). *(прим. Ст. Н.)*.

215

…во время эпизода в Биаррице. — Имеется в виду переселение из Парижа в Биарриц, на побережье Бискайского залива, после вступления немецких войск в Париж в июне 1940 г. В 1939 г. Мережковские уже жили в этом городе. С 5 июня 1940 г. по 9 сентября 1941 г. Мережковские жили в Биаррице, потом нернулись в Париж. Вот как об этом времени рассказывает В. А. Злобин: «В Биаррице начинаются мытарства. Город переполнен. Отель «Метрополь», в котором они останавливались, через несколько дней после их приезда реквизируют… Мережковские остаются на улице. Они находят себе приют на одну ночь в пригороде, на вилле, за которую уже дал задаток французский писатель Жорж Дюгамель… Вторую ночь они на вилле у знакомой дамы, где останавливались в прошлый приезд. На третью — в «Maison basque», когда-то хорошем отеле, а теперь ночлежке для беженцев. Там они застревают надолго… Комната в «Maison basque» стоит недорого — 70 фр. в неделю. В крайнем случае можно и не платить — не выгонят» (Злобин В. А. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 121–122). *(прим. Ст. Н.)*.

216

Делами их заведовал секретарь Владимир Злобин… — Злобин Владимир Ананьевич (1894–1967) — поэт, прозаик, публицист, мемуарист; друг и литературный секретарь Мережковских, а после смерти обоих — хранитель их архива, автор книги о З. Гиппиус («Тяжелая душа»), секретарь литературного кружка «Зеленая лампа» (1927–1939). *(прим. Ст. Н.)*.

217

Устроили юбилей Дмитрия Сергеевича. — 14 августа 1940 г. Мережковскому исполнилось 75 лет. В. Злобин пишет: «Положение Мережковских действительно не блестяще… Наконец друзья, чтобы им помочь, устраивают под председательством Клода Фаррера чествование по случаю семидесятипятилетия Д.С. Оно имеет успех и приносит чистыми около 7 тысяч франков» (Тяжелая душа. С. 122). *(прим. Ст. Н.)*.

Ваша прелесть! *(фр.)*

219

С. 220. *…как раз подоспел разрыв немцев с большевиками…* — Имеется в виду нападение фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г.; Пакт о ненападении, заключенный между Германией и СССР, был попран; началась Великая Отечественная война. *(прим. Ст. Н.)*.

220

С. 221. *Он сын дворцового служащего. Поэтому он и преклонялся и перед Пилсудским…* — На самом деле отец Мережковского был столоначальником при императорском дворе в чине действительного тайного советника — по Табели о рангах чин II класса (приравнивался к армейскому полному генералу) — и происходил из украинского дворянского рода. Пилсудский Юзеф (1867–1935) — диктатор Польши, маршал, деятель польской социалистической партии. *(прим. Ст. Н.)*.

221

Дон-Аминадо (наст, имя Аминад Петрович Шполянский; 1888–1957) — поэт, прозаик, драматург, мемуарист. В январе 1920 г. из Одессы эмигрировал через Константинополь в Париж. Автор стихотворных сборников «Дым без отечества» (1921), «Накинув плащ» (1928), «Нескучный сад» (1935), «В те баснословные годы» (1951), сборника рассказов «Наша маленькая жизнь» (1927) и книги воспоминаний «Поезд на третьем пути» (1954); сотрудник газеты «Последние новости» (Париж). *(прим. Ст. Н.)*.

222

С. 222. …*моя книга «Ведьма»*… — Сборник рассказов «Ведьма» вышел в Берлине в 1936 г. *(прим. Ст. Н.)*.

223

…отношение Гоголя к юмору… «Смех значительнее и глубже, чем думают. На дне его заключен вечно бьющий родник…» — Цитата из «Театрального разъезда» Н. В. Гоголя. *(прим. Ст. Н.).*

224

Впервые: Новое русское слою. 1950. № 13834. 12 марта; повторно: Возрождение. 1955. № 43. *(прим. Ст. Н.)*.

225

С. 223. *…произошла наша встреча на страницах газеты «Речь».* — «Речь» — ежедневная петербургская газета, орган партии кадетов (1906–1917). *(прим. Ст. Н.)*.

226

Мне поручили написать отзыв о… книге стихов А. Белого. Кажется, она называлась «Пепел». — Андрей Белый (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) — прозаик, поэт, мемуарист; теоретик символизма и характернейший выразитель философско-эстетической культуры этого направления. «Пепел» (СПб., 1909) — книга стихов, посвященная памяти Н. А. Некрасова. В «Пепле» — тема России в ее широком общественном звучании, главная тональность — безысходный трагизм, усиленный сугубо личными мотивами: социальная проблематика раскрывается сквозь призму авторского лирического «я». *(прим. Ст. Н.)*.

227

С. 224. …*Валтасаров пир*… — Валтасар — сын последнего царя Вавилонии Набонида. Погиб в 539 г. до н. э. при взятии Вавилонии персами. С именем Валтасара связана библейская история о том, что во время его пиршества на стене дворца появилась огненная надпись, предвещавшая гибель Вавилона в ту же ночь. Отсюда это выражение приобрело значение символа беспечности перед грядущей катастрофой. *(прим. Ст. Н.)*.

Отзыв я о ней дала, соответствующий впечатлению. — Рецензия Тэффи была напечатана в газете «Речь» 22 декабря 1908 г. *(прим. Ст. Н.)*.

229

Милюков Павел Николаевич (1858–1943) — историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор ее центрального органа «Речь» (до 1917); министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943); редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости». *(прим. Ст. Н.)*.

230

С. 225. — *Скажите, у вас есть Ларусс?..* — Ларусс — французская энциклопедия, соединяющая в себе особенности энциклопедического и толкового словаря, изданная в Париже в 1865–1876 гг. в 15 томах Пьером Ларуссом; выдержала множество изданий. Наряду с многотомными выпусками выходили и однотомники, и двухтомники. *(прим. Ст. Н.)*.

231

С. 226. *Бродили… немецкие солдаты.* — Немецкие войска вошли в Биарриц 28 июня 1941 г. *(прим. Ст. Н.)*.

Корабль погиб! *(нем.)*

233

С. 228. — *Вы дружите с Ф.* — Имеется в виду Фондаминский (Фундаминский; псевд. Бунаков) Илья Исидорович (1880–1942) — публицист, общественно-политический деятель; эсер, в 1917 **г.** — комиссар Временного правительства. С 1919 г. — в эмиграции; один из основных учредителей парижского журнала «Современные записки» и объединения «Православное дело» (вместе с Бердяевым и Матерью Марией). Погиб в фашистском концлагере Освенцим. *(прим. Ст. Н.)*.

234

…очаровательный И. Г. Лорис-Меликов… — Лорис-Меликов Иосиф Григорьевич (1872–1948) — русский дипломат, был консулом в Норвегии, работал в Швеции и Сиаме. *(прим. Ст. Н.)*.

235

…ее друг, поэт Мамченко. — Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) — поэт, журналист. В эмиграции с 1920 г. *(прим. Ст. Н.)*.

236

Это не Кирхегард — это философское воскрешенъе мертвых Федорова… — Кирхегард. — имеется в виду Кьеркегор Серен (1813–1855) — датский философ, считающийся предшественником экзистенциализма. Федоров Николай Федорович (1828–1903) — русский религиозный мыслитель-утопист, выдвинул «проект» всеобщего воскрешения умерших («отцов») и преодоления смерти средствами современной науки («Философия общего дела»). *(прим. Ст. Н.)*.

237

С. 230. *«Хочу недостижимого…»* — Неточная цитата из стихотворения («Снежные хлопья» (1894). См.: Гиппиус З. Н. Собрание стихов. М.: Скорпион, 1904. *(прим. Ст. Н.)*.

238

«*Единый раз вскипает пена…*» — Неточная цитата из стихотворения З. Гиппиус «Любовь — одна». *(прим. Ст. Н.)*.

239

…признали лучшим поэтом эмиграции Георгия Иванова. — Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт, прозаик, мемуарист. С 1922 г. — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.).*

240

С. 231. …*известное стихотворение «Весна, выставляется первая рама…» Оно кончается словами: «Где, шествуя, сыплет цветами весна».* — Стихотворение А. Н. Майкова (1854). *(прим. Ст. Н.)*.

241

«Но люблю я себя, как Бога. Любовь мою душу спасет». — Цитаты из стихотворения З. Гиппиус «Посвящение» (1894). *(прим. Ст. Н.)*.

242

«Мудрых схимников лампада…» — Неточная цитата из стихотворения Тэффи «Семь огней» (Семь огней. СПб.: Шиповник, 1910. С. 8). *(прим. Ст. Н.)*.

243

С. 232. *Она писала о Мережковском.* — Воспоминания о Мережковском были опубликованы уже после смерти З. Гиппиус — сначала в «Новом журнале», а затем отдельной книгой: Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. *(прим. Ст. Н.).*

Завивка *(фр.)*.

245

С. 233. *«…И если боль ее земная мучит…»* — Цитата из стихотворения Гиппиус «Вечерняя заря» (1904). *(прим. Ст. Н.)*.

246

«Соединяясь, они сольются…» — Неточная цитата из стихотворения Гиппиус «Электричество» (1901). *(прим. Ст. Н.)*.

247

Впервые: Новое русское слово. 1950. № 13281. 5 сентября; повторно: Возрождение. 1955. № 47. С. 60–68. *(прим. Ст. Н.)*.

248

С. 233. *Он удивил и восхитил нас своим «перезвоном хрустальных созвучий»… «Открой мне счастье, закрой глаза…»* — Последние строки стихотворения К. Д. Бальмонта «Ты здесь» (1901) из книги «Будем как солнце» (1903). *(прим. Ст. Н.)*.

249

С. 234. *Либеральный оратор вставлял в свою речь: «Сегодня сердце отдам лучу…»* — Цитата из стихотворения Бальмонта «Хочу» («Будем как солнце», цикл «Семицветник»). *(прим. Ст. Н.)*.

250

«Камыш-ш-ши шуршат…» — Неточная цитата из стихотворения Бальмонта «Камыши» (1895). *(прим. Ст. Н.)*.

251

«В моем саду сверкают розы белые…» — Неточная цитата из стихотворения Бальмонта «В моем саду» (1900). *(прим. Ст. Н.)*.

252

Декламировала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич. — Ведринская Мария Андреевна (ум. 1948) — актриса Театра В. Ф. Комиссаржевской, позднее — Александринского театра, жена режиссера и драматурга Н. А. Попова (1871–1949). Ходотов Николай Николаевич (1878–1932), актер Александринского театра, и пианист Вильбушевич Евгений Борисович (1874–1933) создали жанр мелодекламации; одна из первых работ — «Умирающий лебедь» Бальмонта (см.: Ходотов Н. Н. Близкое-далекое. Л.; М., 1962. С. 160–165; Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 62–63, 171). *(прим. Ст. Н.)*.

253

С. 234–235…*я закончила стихотворением Бальмонта… «Золотая рыбка».* — Стихотворение Бальмонта «Золотая рыбка» вошло в его книгу «Только любовь» (1903), цикл «Очертания снов». *(прим. Ст. Н.)*.

С. 235. *«От ликующих, праздно болтающих…»* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862). *(прим. Ст. Н.)*.

255

С. 236. *«Ландыши, лютики, ласки любовные…»* — Цитата из стихотворения Бальмонта «Песня без слов» (книга «Под северным небом», 1894). *(прим. Ст. Н.)*.

256

«Я дам тебе звездную грамоту…» — Неточная цитата из стихотворения Бальмонта «Звездная грамота» (книга «Зарево зорь», 1912). *(прим. Ст. Н.)*.

257

…поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелисанду» в переводе Брюсова. — Пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (1862–1949) «Пелеас и Мелисанда» (1892), переведенная В. Я. Брюсовым специально для Театра Комиссаржевской и поставленная В. Э. Мейерхольдом, открывала сезон 1907–1908 гг. Брюсов присутствовал на премьере 10 октября 1907 г. (См.: Метерлинк М. П. Пелеас и Мелисанда / Пер. В. Брюсова. М.: Скорпион, 1907). *(прим. Ст. Н.)*.

258

Брюсов… стоял… в позе своего портрета работы Врубеля. — Портрет В. Я. Брюсова работы М. Л. Врубеля (1906) находится сейчас в Третьяковской галерее в Москве. *(прим. Ст. Н.)*.

259

С. 237. *«Тебя я хочу, мое счастье…»* — Цитата из стихотворения Бальмонта, вошедшего в книгу «В безбрежности» (1895), цикл «Любовь и тема Любви». *(прим. Ст. Н.)*.

260

Такая белокурая, такая веселая, такая женщина *(фр.)*.

261

Такой галантный *(фр.)*.

262

Бальмонт неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу. — В марте 1901 г. Бальмонт видел, как казаки разгоняют и избивают демонстрацию студентов. Вскоре он написал стихотворение «Маленький султан», которое начиналось так:

То было в Турции, где совесть вещь пустая,
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан…

Это стихотворение передавали из уст в уста, и к Бальмонту заявились агенты охранки, произвели обыск, а через месяц его отправили в ссылку с запретом на два года появляться в столичных и университетских городах. Пробыв около года в ссылке, Бальмонт выхлопотал разрешение уехать за границу. *(прим. Ст. Н.)*.

263

Сафо (Сапфо) — древнегреческая поэтесса (VII–VI вв. до н. э.); в центре ее лирики — темы любви. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 238. *…его Елена…* — Имеется в виду Цветковская Елена Константиновна (1880–1943), третья жена К. Д. Бальмонта. *(прим. Ст. Н.)*.

265

С. 239. …*с профессором Е. Ляцким.* — Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942) — литературовед, критик, издатель духовных стихов, сотрудник «Вестника Европы», «Этнографического обозрения», «Исторического вестника», «Мира Божия», «Русского богатства» и др. Возглавлял издательство «Огни». В 1904 г. поместил в «Вестнике Европы» (№ 1, 3) рецензии на книги стихов Бальмонта и Брюсова. Поэт ответил письмом в редакцию «Весов» — «Маску долой» (Весы. 1904. № 3. С. 79). В 1909 г. началась деловая переписка, постепенно сблизившая их. В Праге Ляцкий руководил издательством «Пламя», напечатал книгу Бальмонта «Где мой дом?» (1924). Последняя встреча произошла в 1936 г. в Белграде, общение не прерывалось до 1937 г. *(прим. Ст. Н.)*.

266

Переводил он… и… Верхлицкого. — Ярослав Верхлицкий (наст, имя и фам. Эмиль Фрида, 1853–1912) — чешский поэт, книга его «Избранных стихов» в переводе Бальмонта вышла в Праге в 1928 г. Е. А. Ляцкий отрицательно отнесся к этому переводу. См.: Ляцкий Е. А. О переводе вообще и о русском переводе стихов Я. Верхлицкого в частности // Slavia. 1931. Т. X, кн. 3; Перевод и перепев // Slavia. 1933. Т. X, кн. 1/2.

Ответ Бальмонта — статья «О переводах» (Россия и славянство. 1932. № 192. 30 июля). *(прим. Ст. Н.)*.

267

С. 240. *…жила вместе с ними Нюшенька…* — Анна Николаевна Иванова (1877–1937), возлюбленная Бальмонта, племянница его второй жены Е. А. Андреевой-Бальмонт, жившая в их семье многие годы. *(прим. Ст. Н.)*.

268

«Как нимб, любовь, твое сиянье…» — Неточная цитата из стихотворения В. Брюсова «Антоний» (1905). *(прим. Ст. Н.)*.

269

Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту. — Имеется в виду стихотворение Ш. Бодлера «Альбатрос» (1842), содержание которого Тэффи и пересказывает. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 241. — *Вы ездили в Виши?* — Виши — бальнеологический курорт в Центральной Франции. *(прим. Ст. Н.)*.

271

…восхитился моим стихотворением «Черный корабль»… — Стихотворение «Он ночью приплывает на черных парусах…», под названием «Корабль», опубликовано в «Грядущей России» (1920. № 2. Февраль. С. 71), вошло в книгу «Passiflora» (1923). *(прим. Ст. Н.)*.

272

…переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей птицы». — Право первой постановки «Синей птицы» (1908) М. Метерлинк предоставил Московскому Художественному театру; спектакль до сих пор, вот уже почти сто лет, идет на сцене театра. *(прим. Ст. Н.)*.

273

Впервые: Новое русское слово. 1950. № 13939. 25 июня; повторно: Возрождение. 1956. № 49. Из публикации 1956 г. ясно видно, что заголовок — условный, связанный лишь с первой публикацией, поскольку в главе шла речь о событиях сорокапятилетней давности. Возможно, общее название всей главы должно было быть «Новая жизнь», поскольку речь Тэффи вела о своем временном участии в социал-демократических изданиях, однако газетно-журнальным цензорам «Нового русского слова» и «Возрождения» такое заглавие показалось непривлекательным. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 243. *В театре поставили «Зеленого попугая»…* — Пьеса австрийского писателя Артура Шницлера (1862–1931) была написана в 1899 г. *(прим. Ст. Н.)*.

275

..появились новые иллюстрированные журналы. «Пулемет» Шебуева... — Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937) — журналист, поэт, редактор журнала «Пулемет», был приговорен к годовой отсидке в крепости, а журнал был закрыт. Начиная с 1908 г. Шебуев был редактором журнала «Весна», закрывшегося в 1914 г. В 1908–1913 гг. печатался в журналах «Стрекоза», «Сатирикон» и др. После революции сотрудничал в советских сатирических журналах. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 244. *В нашем дружеском кругу постоянно бывал некто К. П-в…* — Имеется в виду К. Платонов (ему Тэффи посвятила стихотворение «Пчелки»), сын члена Государственного совета С. Ф. Платонова (1844—?). *(прим. Ст. Н.)*.

277

…из всех газетных сотрудников только один Немирович-Данченко… — Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45—1936) — прозаик, поэт, публицист, брат Вл. И. Немировича-Данченко. Печатался с 1865 г. Автор многочисленных путевых очерков. Прославился как военный корреспондент. После революции — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) — один из активных членов РСДРП на раннем этапе деятельности партии, публицист, после революции часто выступал как оппозиционер; в 1936 г. был несправедливо осужден как заговорщик и организатор убийства С. М. Кирова; расстрелян. *(прим. Ст. Н.)*.

279

Богданов Александр Александрович (1873–1928) — деятель российского революционного движения, врач, философ, экономист, публицист, писатель; в 1896–1909 гг. — член РСДРП. Впоследствии от партийной деятельности отошел. В 1926 г. организовал Институт переливания крови. *(прим. Ст. Н.)*.

Мандельштам М. Н. (он же Ледов, Лидин, Мартын, Мартын Николаевич, Русалка) — член РСДРП, публицист. *(прим. Ст. Н.)*.

281

Финн-Енотаевский А. Ю. — член РСДРП, экономист, публицист. *(прим. Ст. Н.)*.

282

Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) — участница революционного движения в России; после революции — в 1917–1918 гг. — нарком государственного призрения; с 1923 по 1945 г. — на дипломатической работе: посол в Норвегии, Мексике, Швеции. *(прим. Ст. Н.)*.

283

С. 245. *…когда появилась газета «Новая жизнь»…* — Первая легальная большевистская газета; выходила в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 г. Вышло 28 номеров (из них 15 конфисковано), № 28 вышел нелегально, поскольку газета была закрыта властями 2 декабря 1905 г. С № 9 руководил газетой В. И. Ленин. Издатель — М. Ф. Андреева. *(прим. Ст. Н.)*.

284

С. 247. *…проморгали они гапоновское движение…* — Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, агент охранки. Инициатор петиций петербургских рабочих Николаю И, шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. До октября 1905 г. — в эмиграции. Пытался проникнуть в «боевую организацию» эсеров; разоблачен, повешен рабочими дружинниками. Гапоновщина — попытка русского царизма отвлечь рабочих от революционной борьбы путем создания рабочих организаций под контролем правительства. При поддержке охранного отделения Г. А. Гапон в 1904 г. организовал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга», которое распалось после 9 января 1905 г. *(прим. Ст. Н.)*.

285

Румянцев Петр Петрович (1870–1925) — член РСДРП, большевик, публицист; в период реакции 1907–1909 гг. отошел от партийной работы. *(прим. Ст. Н.)*.

«Вопросы жизни» — литературно-философский журнал, выходивший в Петербурге (вместо закрытого «Нового пути») в 1905 г. под редакцией Н. О. Лосского, с участием Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др. *(прим. Ст. Н.)*.

287

С. 248. *Бердяев* Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный философ. От легального марксизма, который пытался сочетать с неокантианством, перешел к богоискательству, к философии личности и свободы в духе религиозного экзистенционализма, персонализма и к христианской эсхатологии. Идейный противник марксизма и коммунизма. В 1922 г. был выслан за границу. Основал религиозно-философский журнал «Путь» (Париж, 1925–1940). *(прим. Ст. Н.)*.

288

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский экономист, религиозный философ, теолог. С 1923 г. — в эмиграции, жил в Париже. Как и Бердяев, от легального марксизма и неокантианства перешел к религиозной философии, затем к православному богословию, принял священство. *(прим. Ст. Н.)*.

289

Жена его, Серафима Павловна… — Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1875–1943) — палеограф, жена А. М. Ремизова с 1903 г. Ей писатель посвятил большинство своих книг, а в трилогии «В поле блакитном» (1922), «Оля» (1927), «В розовом блеске» (1952) она — главная героиня (под именем Оля). Письма Ремизова к жене изданы в книге «На вечерней заре» (Рим, 1985). *(прим. Ст. Н.)*.

Впервые: Возрождение. 1956. № 49, 50.

Начало этой главы напечатано в № 49 под названием «Новая жизнь», окончена публикация в № 50 под заглавием «Он и они», явно редакционным. *(прим. Ст. Н.)*.

291

С. 249. *В «Биржевых ведомостях» заведует отделом провинции некто Линёв…* — Линёв Л. А. (псевд. Далин, 1853–1920) — журналист, публицист, фельетонист. *(прим. Ст. Н.)*.

292

С. 251. …*Литвинов, по прозвищу Папаша.* — Литвинов Максим Максимович (наст, имя и фам. Макс Валлах; 1876–1951) — член РСДРП с 1898 г., публицист, после революции на дипломатической работе; с 1921 г. — зам. наркома иностранных дел, в 1930–1939 гг. — нарком иностранных дел СССР, в 1941–1943 гг. — зам. наркома иностранных дел и посол в США. *(прим. Ст. Н.)*.

293

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь…» — «Гимн рабочих» получил огромную известность, однако вызвал резкую критику со стороны поэтов. Блок назвал его «безвкусной и трескучей рабочей Марсельезой»;

Дм. Мережковский писал жене Минского: «“Гимн рабочих” меня огорчил: “из развалин, из пожарищ” ничего не возникает, кроме Грядущего Хама». *(прим. Ст. Н.)*.

С. 252. *«Плеве и его плевелы».* — Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — министр внутренних дел, шеф жандармов (1902–1904), убит эсером Е. С. Созоновым. *(прим. Ст. Н.)*.

295

С. 253. *Появился приезжий из-за границы Гусев.* — Гусев Сергей Иванович (наст, имя и фам. Драбкин Яков Давыдович; 1874–1933) — член РСДРП с 1896 г., занимал видные посты в партии, участник революции 1905–1907 гг. и 1917 г.; публицист; после революции — видный политический деятель в Красной Армии; член ЦКК с 1923 г. *(прим. Ст. Н.)*.

Злобой дня был тогда Трепов. — Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906) — московский обер-полицмейстер (с 1896), петербургский генерал-губернатор (с 1905), руководил подавлением первой русской революции; прославился свирепостью и грубостью. *(прим. Ст. Н.)*.

297

С. 254. *…нет своей карманьолы.* — «Карманьола» — французская народная революционная песня-пляска, насыщенная злободневным политическим содержанием. Впервые исполнялась на улицах Парижа вскоре после взятия дворца Тюильри (10 августа 1792 г.), звучала во время революций 1830 и 1848 гг., в дни Парижской Коммуны 1871 г. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 263. *Вернулся он уже в запломбированном вагоне.* — 32 эмифанта, в том числе В. И. Ленин, получили разрешение на проезд из Швейцарии через территорию Германии на том условии, что они в пути не будут общаться с местным населением, — общение разрешалось только сопровождавшему группу секретарю швейцарской социалистической партии Фрицу Платтену. Отсюда возникла легенда о запломбированном вагоне, которая жива и по сей день. 26 марта Ленин выехал из Швейцарии в Стокгольм, а оттуда через Финляндию в Петроград, куда прибыл 3 апреля 1917 г. *(прим. Ст. Н.)*.

299

Впервые: Сегодня. 1924. № 179, 181, 182. 10, 13, 14 августа. Под заглавием: Колдун: Из воспоминаний о Распутине. Позднее — в кн.: Тэффи. Воспоминания. Париж, 1932. *(прим. Ст. Н.)*.

300

С. 264. *Розанов* Василий Васильевич (1856–1919) — эссеист, философ, литературный критик, постоянный сотрудник газеты «Новое время» (1899–1917). Время встречи с Распутиным (очевидно, второй) можно вычислить по книге Розанова «Мимолетное. 1915 год» (Розанов В. В. Мимолетное. М., 1999). В записи от 15 апреля 1915 г. читаем: «…поразительного ума и спокойствия слово старца Гриши, — в литературной компании, в квартире без хозяина, среди человек 10–12 гостей» (с. 56). Следующая запись, в которой он вспоминает об этой встрече, сделана Розановым 17 апреля. Следовательно, встреча эта была, видимо, 14 или 15 апреля. *(прим. Ст. Н.)*.

301

— *Об императоре Вильгельме…* — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) — германский император и прусский король в 1888–1918 гг., внук Вильгельма I. Свергнут Ноябрьской революцией 1918 г. *(прим. Ст. Н.)*.

302

…небезызвестный в литературных кругах М-ч. — Имеется в виду Маныч Петр Дмитриевич (ум. в 1918), журналист, публицист. *(прим. Ст. Н.)*.

303

С. 266. *…какой-то человечек — нечто вроде секретаря… и известная фрейлина В.* — Имеются в виду Арон Симанович, ювелир и личный секретарь Распутина, и Вырубова Анна Александровна (1884–1964?) — фрейлина и личный друг императрицы Александры Федоровны, одна из ярых поклонниц Григория Распутина. *(прим. Ст. Н.)*.

304

С. 268. *…библейской Юдифи или Далилы.* — Согласно библейской книге Иудифь (Юдифь), жительница иудейского города Ветилуи, чтобы спасти своих земляков от войск ассирийского полководца Олоферна, проникла в стан врагов и заверила Олоферна, что поможет ему захватить Ветилую. Усыпив бдительность Олоферна, она отсекла ему голову. Потеряв своего полководца, ассирийские войска отступили. Юдифь была провозглашена героиней. Историю Самсона и Далилы *(Далиды)* передает другая библейская книга — Книга Судей. Будучи возлюбленной могучего героя Самсона, Далила выведывает у него тайну его силы (сила — в его волосах), чтобы получить от его врагов-филистимлян много серебра. Срезав волосы с головы спящего Самсона, она выдает его филистимлянам. *(прим. Ст. Н.)*.

305

С. 271. *Эти музыканты и у Юсупова играют.* — Имеется в виду Юсупов-Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович (1887–1957), граф, представитель одного из древнейших родов и богатейших семейств в России; был женат на племяннице Николая II; в его дворце в Петербурге часто устраивались празднества. Юсупов стал одним из участников убийства Распутина. После 1917 г. — в эмиграции. Опубликовал мемуары. *(прим. Ст. Н.)*.

306

С. 276. *Александра Федоровна* (наст, имя Алиса Гессен-Дармштадтская; 1872–1918) — российская императрица, жена (с 1894) Николая II. *(прим. Ст. Н.)*.

307

Впервые: Новое русское слово. 1949. № 13407. 9 января. Печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ. *(прим. Ст. Н.)*.

308

С. 286. *…так называемый «смех сквозь незримые миру слезы»…* — Имеется в виду фрагмент из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», который стал общим местом в русской эстетике XIX в.: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (Т. 1, гл. VII). *(прим. Ст. Н.)*.

309

С. 287. *…мать Раскольникова… в письме… к сыну упоминала… о купце Афанасии Ивановиче…* — Имеются в виду роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором мать главного героя студента Родиона Раскольникова зовут Пульхерия Ивановна, и повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», героями которой являются Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. *(прим. Ст. Н.)*.

310

…свободный смех, о котором Спиноза сказан, что он «есть радость, а потому сам по себе благо»… — Спиноза Бенедикт (наст, имя Барух; 1632–1677) — выдающийся нидерландский философ; оказал огромное влияние на развитие материалистической философии; отождествлял природу и Бога. Тэффи вольно цитирует схолию II положения XV из четвертой части «Этики» (1677), одного из главных сочинений Спинозы: «Смех, как и шутка, есть просто радость; поэтому если он не имеет излишества, есть сам по себе добро». *(прим. Ст. Н.)*.

311

Где-то на задворках чуть дышали «Стрекоза» и «Осколки». — «Стрекоза» — русский еженедельный художественно-юмористический журнал (1875–1908, Петербург). В 1878 г. в «Стрекозе» дебютировал А. П. Чехов. «Осколки» — см. примеч. к очерку «Первое посещение редакции». *(прим. Ст. Н.)*.

312

Стрекоза оказался брюнетом небольшого роста. — Имеется в виду издатель журнала «Стрекоза», а затем некоторое время «Сатирикона» Михаил Германович Корнфельд (1884–1973). После революции он эмигрировал, пытался в Париже возобновить журнал «Сатирикон» (1931), но попытка оказалась неудачной. *(прим. Ст. Н.)*.

313

С. 289. *Радаков* Алексей Александрович (1879–1942) — художник и поэт, постоянный сотрудник «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». После революции сотрудничал во многих советских журналах. *(прим. Ст. Н.)*.

314

Анненков Юрий Павлович (1889–1974) — график, живописец, театральный художник. Сотрудничал в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе». С 1924 г. — в эмиграции в Париже. В 1965–1966 гг. выпустил два тома мемуаров «Дневник моих встреч». *(прим. Ст. Н.)*.

315

С. 290. *Постоянное ядро «Сатирикона» составляли: талантливый поэт-сатирик Саша Черный, Осип Дымов, Сергей Горный, Аркадий Бухов.* — Саша Черный (наст, имя и фам. Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932) — поэт, прозаик, фельетонист, сотрудник «Сатирикона»; с 1920 г. — в эмиграции (Германия, Италия, Франция). Осип Дымов (наст, имя и фам. Иосиф Исидорович Перельман; 1878–1959) — прозаик, драматург, театральный критик, мемуарист; брат известного популяризатора науки Я. И. Перельмана; сотрудничал в «Сатириконе» в 1908–1913 гг.; в 1913 г. эмигрировал в США. Сергей Горный — см. о нем в примеч. к «Воспоминаниям». Аркадий Сергеевич Бухов (1889–1944) — поэт, прозаик, фельетонист; сотрудник «Сатирикона» и «Нового сатирикона»; после революции некоторое время находился в эмиграции, потом вернулся на родину; выпустил несколько книг; в 1938 г. был репрессирован, посмертно реабилитирован. *(прим. Ст. Н.)*.

316

С. 295. *Во время революции Аверченко оказался в Крыму.* — С весны 1919 до осени 1920 г. Аверченко жил в Севастополе; сотрудничал в газетах «Юг» и «Юг России», выступал в концертах. Здесь же, в Севастополе, был организован театр «Гнездо перелетных птиц»; уже в эмиграции, в Константинополе, Аверченко стал руководителем труппы под этим названием и объездил со спектаклем много стран. *(прим. Ст. Н.)*.

317

С. 296. *Книга его «Двенадцать ножей в спину революции» неожиданно понравилась Ленину и была напечатана в СССР.* — Точное название книги «Дюжина ножей в спину революции». Вышла она в Париже в 1921 г., и вскоре, в ноябре 1921 г., в «Правде» была опубликована рецензия на нее под заголовком «Талантливая книжка». Автором рецензии был В. И. Ленин. *(прим. Ст. Н.)*.

318

Впервые в России: Слово. 1991. № 10 (в сокращ., публ. Е. Трубиловой). Печатается полностью по рукописи, хранящейся в РГАЛИ. *(прим. Ст. Н.)*.

319

С. 297. *«Поэт! не дорожи любовию народной…»* — Цитируется начало стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830). *(прим. Ст. Н.)*.

320

«… *Ты царь. Живи один…*» — Неточная цитата стихотворения «Поэту». *(прим. Ст. Н.)*.

321

С. 298. *Я понимаю еще «уайльдовцев»…* — «Уайльдовцы» — поклонники Оскара Уайльда (1854–1900), знаменитого английского писателя, законодателя моды. *(прим. Ст. Н.)*.

322

Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — прозаик, драматург, эссеист, прославился романом «Санин» (1907), с 1923 г. — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

323

…повел меня Леонид Андреев… на премьеру своей пьесы, называлась она, кажется, «Великие тени». — Вероятно, имеется в виду пьеса Л. Андреева «Милые призраки», премьера которой состоялась 16 февраля 1917 г. в Александринском театре (постановка Е. П. Карпова). *(прим. Ст. Н.).*

324

…ответил он на текущий момент рассказом «О семи повешенных». — «Рассказ о семи повешенных» (1908) — сочувствие революционерам и протест против смертных казней. Написан под впечатлением неудачного покушения эсеров на министра юстиции И. Г. Щегловитова. *(прим. Ст. Н.)*.

325

Ответил на японскую войну «Красным смехом». — Рассказ «Красный смех» (1905) — обличение жестокости убийств, гневный протест против войны. *(прим. Ст. Н.).*

326

«Анатэма», «Жизнь Человека» — все это овеяно дыханием Метерлинка. — «Анатэма» (1909), «Жизнь Человека» (1907) — экспериментальные пьесы, в них Андреев обратился к созданию современной мистерии, в которой на сцену выведены вечные сущности жизни: Человек, Рок, Голод, Смерть, Стихия, Маска. *(прим. Ст. Н.)*.

327

…поставить его «Тентажиля». — Имеется в виду драма М. Метерлинка «Смерть Тентажиля» (1894). *(прим. Ст. Н.)*.

Его пьесы «Катерина Ивановна», «Анфиса», «Дни нашей жизни», пьесы бытовые, держатся в репертуаре наших театров до сих пор. — «Екатерина Ивановна» (1912), «Анфиса» (1909), «Дни нашей жизни» (1907) — пьесы, в которых сочетаются углубленный психологический анализ, лиризм и ситуация реальной жизни. Они действительно по сей день ставятся на сценах театров России. *(прим. Ст. Н.)*.

329

С. 299. *Лев Толстой сказал: «Он меня пугает, а мне не страшно».* — А. Б. Гольденвейзер записал в своем дневнике 25 июля 1902 г. по поводу рассказа Леонида Андреева «Бездна» похожую мысль, высказанную Л. Н. Толстым. В газетных статьях мысль эта обрела именно такую форму. Секретарь и биограф Толстого Н. Н. Гусев полагает, что такая формулировка ближе к истине, чем записанная в дневнике Гольденвейзера, поскольку больше соответствует стилю Толстого. *(прим. Ст. Н.)*.

330

Впервые: Новый журнал (Нью-Йорк). 1990. № 180. *(прим. Ст. Н.)*.

331

С. 299. *Каменский Василий* Васильевич (1884–1961) — русский поэт. Один из первых русских летчиков; ввел в обиход слово «самолет». В раннем творчестве — представитель футуризма. Автор романтических поэм «Стенька Разин» (1912–1920), «Емельян Пугачев» (1931), «Иван Болотников» (1934). *(прим. Ст. Н.)*.

332

С. 300. *«Ай, пестритесь, ковры мои, моя Персия…»* — Неточная цитата фрагмента главы «Камнем любовь залегла» из поэмы В. Каменского «Степан Разин». *(прим. Ст. Н.)*.

333

Украшением синих вторников была Саломея Андроникова… — Андроникова Саломея Николаевна (в замуж. Гальперн; 1888–1982), княгиня, в ее салоне в Петербурге собирались поэты и художники. *(прим. Ст. Н.)*.

334

С. 301. *Была нашей мадам Рекамье…* — Рекамье Жюли (1777–1849) — хозяйка одного из парижских салонов времен Директории, Наполеона I и Реставрации; жена банкира. В ее салоне собирались крупнейшие политики, литераторы, художники. *(прим. Ст. Н.)*.

335

…была также Нимфа, жена Сергея Городецкого. — Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, прозаик, драматург; автор многих оперных либретто. Был близок сначала к кругу символистов, потом — акмеистов; порвав и с теми и с другими, искал новый путь, чтобы приблизиться к народу. Нимфа — первая жена Городецкого. *(прим. Ст. Н.)*.

336

С. 302. *Надсон* Семен Яковлевич (1862–1887) — поэт с ярко выраженным гражданским пафосом, необычайно популярный в конце 1880—1890-х годах; впоследствии его поэзия стала оцениваться как однообразная, шаблонная, недостаточно выразительная. *(прим. Ст. Н.)*.

337

…нелепое стихотворение «Сказка»… — Стихотворение Николая Степановича Гумилева (1886–1921) «Сказка» было написано в конце 1912 г. и напечатано в журнале «Гиперборей» (1912. № 3. Декабрь), затем вошло в сборник «Колчан» (1916) с посвящением Тэффи. *(прим. Ст. Н.)*.

338

С. 304. *Гумилев собирался на войну.* — В августе 1914 г. Гумилев ушел добровольцем на фронт и служил в войсковой конной разведке, был награжден двумя Георгиевскими крестами. В мае 1917 г. он получил назначение в экспедиционный корпус, в союзные войска. *(прим. Ст. Н.)*.

339

Новость. Гумилев расстрелян. — Гумилев был обвинен в контрреволюционном заговоре (так называемое «Таганцевское дело») и расстрелян 25 августа 1921 г. *(прим. Ст. Н.)*.

340

Впервые — в кн.: Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века. М., 1999 (публ. Е. М. Трубиловой). В воспоминания вошли материалы более раннего очерка Тэффи «Река времен» (1936). *(прим. Ст. Н.)*.

341

С. 305. *Жантильность* (от *фр.* gentil — милый, любезный) — жеманность, кокетливость. *(прим. Ст. Н.)*.

342

Бержеретки (от *фр.* bergerette — пастушка, пастушеская песенка) — пастораль. *(прим. Ст. Н.)*.

343

С. 306. *«…Если б я был твоим рабом последним…»* — Цитируется первая строка последней строфы стихотворения Кузмина «Если б я был древним полководцем» из сб. «Сети» (1908). *(прим. Ст. Н.)*.

С. 308. *Клюев* Николай Алексеевич (1884–1937) — поэт; после выхода первой книги стихов «Сосен перезвон» (1912) стал «своим» в столичных литературных кругах, и вскоре вокруг него образовалось ядро «поэтов из народа» — А. Ширяевец, С. Есенин, С. Клычков. Впоследствии приветствовал Октябрьскую революцию. Однако к началу 1930-х годов, разочаровавшись в постреволюционной России, Клюев в своих произведениях выступал против советской власти. В 1934 г. он был арестовал и в октябре 1937 г. расстрелян. *(прим. Ст. Н.)*.

345

Хлебников Велимир (наст, имя Виктор Владимирович; 1885–1922) — поэт, прозаик, драматург; один из основателей русского футуризма. *(прим. Ст. Н.)*.

346

С. 309. …*Бурлюки*… — Имеются в виду Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) — живописец и литератор, его сестра Людмила (1886–1968), брат Владимир (1886–1917) — оба живописцы, и брат Николай (1890–1920) — поэт. *(прим. Ст. Н.)*.

347

В «Бродячей собаке»… танцевала Карсавина, танцевала свою знаменитую полечку Олечка Судейкина… — Кабачок, или подвал, «Бродячая собака» открылся в ночь под новый, 1912 год и немедленно стал излюбленным местом встреч петербургских поэтов, художников, артистов и околоартистической богемы. Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978) — русская артистка балета; в 1902–1918 гг. танцевала в Мариинском театре, в 1909–1929 гг. выступала в Русских сезонах и в труппе Русский балет С. П. Дягилева (главные партии в постановках М. М. Фокина); в 1930–1955 гг. — вице-президент Королевской академии танца в Лондоне. Судейкина Ольга Афанасьевна (урожд. Глебова; 1885–1945) — актриса Театра им. Вс. Мейерхольда, жена художника С. Судейкина, подруга А. Ахматовой, посвятившей ей стихотворения «Голос памяти» (1913) и «Пророчишь, горькая, и руки уронила» (1921). В 1924 г. эмигрировала. *(прим. Ст. Н.)*.

348

Судейкин (тоже Юрочка)… — Вероятно, имеется в виду Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946), сценограф. Выставлялся в Салоне Дягилева, на выставке «Голубая роза» (1907), в Союзе художников (1909) и др. Писал декорации к различным постановкам, в том числе и к «Забаве дев» М. Кузмина. О нем упоминается в «Гимне “Бродячей собаке”», написанном в 1912 г. М. Кузминым. *(прим. Ст. Н.)*.

349

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) — поэт, эссеист, литературный критик; после революции — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

350

Самый близкий Кузмину Юрочка был Юрочкой в квадрате — Юрий Юркун. — Юркун Юрий Иванович (1895–1938) — писатель; после революции Кузмин и Юркун жили несколько лет в одной коммунальной квартире на Бассейной улице в Петрограде. *(прим. Ст. Н.)*.

351

В окружении Кузмина вращался его родственник Ауслендер… — Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1943) — прозаик, драматург, критик. Его мать была сестрой М. Кузмина. Во время Гражданской войны некоторое время воевал в войсках Колчака. Писал исторические повести для юношества. В 1937 г. был арестован, умер в заключении. *(прим. Ст. Н.)*.

352

С. 301. …*молодой поэт П. Потемкин. — Потемкин* Петр Петрович (1886–1926) — поэт, драматург, прозаик. Печатался в «Аполлоне», «Русском слове», «Сатириконе», «Новом Сатириконе». После революции — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

353

С. 311. *…писала пьесу о царице Шамурамат…* — Имеется в виду пьеса «Полдень Дзохары. Легенда Вавилона», вошедшая в кн. «Семь огней» (СПб., 1910), — была посвящена Ф. Сологубу. *(прим. Ст. Н.)*.

354

«Декабрь морозит в небе розовом…» — Тэффи цитирует с некоторыми неточностями стихотворение Кузмина, датированное 8 декабря 1920 г., — впервые опубликовано в статье З. Гиппиус «Опять о ней» (Общее дело. 1921. 20 ноября). *(прим. Ст. Н.)*.

355

Впервые: Творчество Н. А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века (в сокращ., публ. Е. Трубиловой). Печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 312. *«Я сам себе боюсь признаться…»* — Цитируется первая строфа «Поэзы вне абонемента» (1912). *(прим. Ст. Н.)*.

357

«Офиалчен и оли́лиен озерзамок Мирры Лохвицкой…» — Цитируется начало второй строфы стихотворения «Поэзоконцерт» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

358

«Как мечтать хорошо Вам…» — Цитируется первая строфа стихотворения И. Северянина «Качалка грёзэрки» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

359

С. 313. *«В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом…»* — Цитируется стихотворение «Кэнзели» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

360

А года через два, когда он понравился Сологубу и тот повез его в турне по всей России, он вернулся уже прославленным поэтом… — Как вспоминал Игорь Северянин в своем очерке «Образцовые основы» (1924), вскоре после выхода книги «Громокипящий кубок», «я совершил совместное с Сологубом и Чеботаревской первое турне по России, начатое в Минске, а законченное в Кутаиси». *(прим. Ст. Н.)*.

361

«…дворец двенадцатый…» — Цитируется стихотворение «Тринадцатая» (1909). *(прим. Ст. Н.)*.

362

«Я, гений Игорь-Северянин…» — Неточно цитируется стихотворение «Эпилог» (1912), завершающее сборник «Громокипящий кубок». *(прим. Ст. Н.)*.

363

Сологуб помог ему выпустить книгу, которую окрестил тютчевскими словами «Громокипящий кубок». — Книга «Громокипящий кубок» была составлена по совету В. Брюсова и выпущена московским издательством «Гриф» в 1913 г. с предисловием Ф. Сологуба. За 1913–1918 гг. этот сборник выдержал 10 изданий. *(прим. Ст. Н.)*.

364

…ненужные фокусы вроде: «Шампанское в лилию, в шампанское лилию…» — Неточная цитата из стихотворения «Шампанский полонез» (1912). *(прим. Ст. Н.)*.

365

С. 314. *«Я так устал от льстивой свиты…»* — Цитируются первые две строфы стихотворения «Прощальная поэза» (1912). *(прим. Ст. Н.)*.

366

«То я, ваш нежный, ваш единственный…» — Неточная цитата последних двух строк стихотворения «Мой ответ» (1914), написанных явно в ответ на выпады сатирической прессы, направленные в адрес ура-патриотических выступлений поэтов в начале Первой мировой войны. *(прим. Ст. Н.)*.

367

«Наши встречи — Виктория Регия…» — Неточно цитируется начало стихотворения «Виктория Регия» из сборника «Громокипящий кубок». *(прим. Ст. Н.)*.

Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956) — композитор; в эмиграции с 1925 г. *(прим. Ст. Н.)*.

369

«Весенний день горяч и золот…» — Начало стихотворения «Весенний день» (1911). *(прим. Ст. Н.)*.

С. 315. *Королева играла в башне замка Шопена…»* — Цитата из стихотворения «Поэма миньонет» (1910). *(прим. Ст. Н.)*.

371

«Весенняя яблоня» — стихотворение, написанное в 1910 г. и посвященное «перу И. И. Ясинского», вошло в сборник «Громокипящий кубок». Тэффи цитирует стихотворение полностью. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 316. …*он показался ненадолго в Париже.* — В 1930–1931 гг. прошли гастроли И. Северянина в Югославии, Болгарии, Чехословакии. В феврале 1931 г. он дал два концерта в Париже. *(прим. Ст. Н.)*.

373

«Так каково быть поэтом…» — Неточно цитируется стихотворение «Там, у вас на Земле…» (1926), вошедшее в сборник «Классические розы» (1931). *(прим. Ст. Н.)*.

Печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ. *(прим. Ст. Н.)*.

375

С. 316. …*переводчик «Гейши»*… — Имеется в виду оперетта композитора С. Джонса (1896; либретто О. Холла, Г. Гринбенка), в России была поставлена в 1897 г. в театре Шелапутина (стихи для этой постановки перевел Лоло). *(прим. Ст. Н.)*.

376

С тех пор как он потерял свою жену, он уже не жил. — Вера Николаевна Ильнарская (Ильинская) умерла в 1946 г., незадолго до смерти Лоло (1947). *(прим. Ст. Н.)*.

377

С. 317. *Очень нравились публике «минаевские» рифмы Лоло…* — Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — поэт-сатирик, фельетонист, пародист, переводчик; много печатался в журналах «Искра», «Современник», «Будильник» и др. Прославился полными рифмами, которые или буквально могли совпасть с именами собственными, или совпадали при звучании (например: «Гнать, и гнать, и гнать его» при чтении звучало как «Гнать и гнать Игнатьева»). *(прим. Ст. Н.)*.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943) — режиссер, драматург, театральный критик, основатель (вместе с К. С. Станиславским) Московского Художественного театра (1898). Заинтересовавшись опереттой, он в 1919 г. организовал при МХТ Музыкальную студию (с 1926 г. — Музыкальный театр им. Вл. И. Немировича-Данченко, с 1941 г. — Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко); сегодня в театре наряду с операми ставятся оперы и балеты. *(прим. Ст. Н.)*.

379

Музыка была… заимствована… из «Герцогини Герольштейнской». — «Герцогиня Герольштейнская» (1867) — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (1819–1880). *(прим. Ст. Н.)*.

380

С. 318… *.в этой оперетке роль Потемкина играл знаменитый Монахов.* — Монахов Николай Федорович (1875–1936) — актер драмы, эстрады и оперетты. Народный артист РСФСР. На сцене — с 1895 г. (дебютировал в роли Незнамова в пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые»). С 1904 г. работал в оперетте, создал яркие комические и сатирические образы. В 1919 г. стал одним из организаторов, затем директором и ведущим актером Большого драматического театра в Петрограде / Ленинграде. *(прим. Ст. Н.)*.

381

С. 319. *…ездил с театром «Маски» (тоже балиевского жанра) по Европе.* — Лоло руководил театром «Маски» в 1923–1925 гг., был с ним в Германии и Италии. *(прим. Ст. Н.).*

382

Впервые: Новое русское слово. 1951. № 14248. 29 апреля. *(прим. Ст. Н.)*.

383

С. 321. *В своей прекрасной статье о нем (Новый журнал, книга 18-я) Г. П. Федотов, называя И. Фондаминского праведником…* — Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — философ, богослов; познакомился с Фондаминским в 1927 г. и при его поддержке основал журнал «Новый град». Тэффи цитирует статью «И. И. Фондаминский в эмиграции», опубликованную в 1948 г. *(прим. Ст. Н.)*.

384

…носил кличку Лассаля и Непобедимого. — Лассаль Фердинанд (1825–1864) — один из вождей и идеологов германского рабочего движения и социал-демократии середины XIX в., противник марксизма. Блестящий оратор, он пользовался огромной популярностью у рабочих и, выходя победителем в различных дискуссиях, заслужил кличку Непобедимого. Был убит на дуэли. *(прим. Ст. Н.)*.

385

Он очень увлекался своей работой — писал «Пути России». — «Пути России» — серия историософских статей Фондаминского, опубликованных в журнале «Современные записки» (1920. № 2; 1921. № 4, 7; 1922. № 9, 12; 1923. № 14; 1924. № 18, 22; 1927. № 32; 1932. № 48–50; 1933. № 52; 1934. № 54; 1936. № 62; 1939. № 68; 1940. № 70). *(прим. Ст. Н.)*.

…устроил ряд докладов, чтобы спасти «Современные записки». — «Современные записки» — крупнейший и наиболее влиятельный журнал русской эмиграции; выходил в Париже в 1920—1940-е годы. Всего вышло 70 номеров. В журнале печатались художественные произведения, публицистические и литературно-критические статьи. В нем были напечатаны впервые многие произведения как классиков русской литературы XX в. (И. А. Бунин, И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, В. Ф. Ходасевич), так и молодых писателей, которые уже в наши дни обрели имя классиков (В. В. Набоков, Г. И. Газданов). Поскольку издание журнала требовало больших затрат, редакторы журнала искали способы его финансирования: устраивали благотворительные концерты, доклады и т. д. *(прим. Ст. Н.)*.

387

С. 322. *Одному молодому поэту, недурно рисовавшему…* — Очевидно, имеется в виду Юрий Павлович Одарченко (1903–1960), поэт и художник-график. *(прим. Ст. Н.)*.

388

С. 324. …*письмо к В. М. Зензиновy*… — Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) — член «Боевой организации эсеров», после революции — в эмиграции (Париж, Нью-Йорк). *(прим. Ст. Н.)*.

389

…известного большевика Р-ва, недавно скончавшегося на юге Франции. — Имеется в ввду Раскольников (наст. фам. Ильин) Федор Федорович (1892–1939) — член РСДРП с 1910 г., участник революции 1917 г.; с 1918 г. — зам. наркома по морским делам; в 1930–1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании, Болгарии; отозванный в Москву в 1938 г., опасаясь репрессий, выехал во Францию; опубликовал «Письмо Сталину» о репрессиях в СССР; умер в Ницце. Был объявлен врагом народа, впоследствии реабилитирован. *(прим. Ст. Н.)*.

390

С. 325. *«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».* — Апок. 3:1. *(прим. Ст. Н.)*.

391

Впервые: Новое русское слово. 1950. № 14044. 8 октября.

Пантелеймонов *Борис* Григорьевич (1888–1950) — крупный ученый-химик; будучи главой советской делегации на международном научном конгрессе в Германии в 1925 г., стал невозвращенцем; уехал по контракту в Палестину; в конце 1930-х годов переехал в Париж, открыл свою лабораторию, сблизился с писателями (еще до приезда состоял в переписке с А. Ремизовым). После войны стал писать прозу и выпустил одну за другой три книги повестей и рассказов: «Зеленый шум» (1947), «Звериный знак» (1948), «Золотое число» (1949); посмертно вышел составленный им самим сборник «Последняя книга» (1952). Тэффи и И. А. Бунин всячески поддерживали «молодого» автора советами и даже редактировали некоторые его произведения перед сдачей в печать.

Творчество нового писателя критика приняла доброжелательно. Ремизов посвятил Пантелеймонову главу «Стекольщик» в своей книге «Мышкина дудочка» (1953). *(прим. Ст. Н.)*.

392

С. 329. — *Я ведь женат. Пять лет. Можно сказать, молодожен.* — В 1941 г. Пантелеймонов женился на Тамаре Ивановне Кристин (1900–1979), художнице и скульпторе, приехавшей в Париж в середине 1920-х годов из Эстонии. Она рисовала в основном танцы, и ее иллюстрации печатались во многих парижских журналах и газетах 1930-х годов. После смерти мужа несколько лет работала техническим сотрудником ООН в Женеве. Умерла в Париже и похоронена рядом с Б. Пантелеймоновым на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа. *(прим. Ст. Н.)*.

393

Это был тот самый «Дядя Володя»… — Имеется в виду рассказ «Святый Владимир», первый из цикла «Приключения дяди Володи», напечатанного потом в сборниках «Зеленый шум» и «Звериный знак». Рассказ «Святый Владимир» был впервые опубликован в «Русском сборнике» (Париж, 1946). *(прим. Ст. Н.)*.

С. 331. *Его маленький рассказ «Родная дорога»…* — Рассказ «Родная дорога» вошел в сб. «Зеленый шум». *(прим. Ст. Н.)*.

395

Мы любили собираться втроем. Бунин, он и я. — 24 июля 1950 г. Тэффи писала А. Седых: «Ив. Алекс, довольно плох. Хуже всех из нашего трио (мы когда-то вместе собирались в дни далекой юности, три года тому назад), хуже всех бедный Пантелеймонов». 7 сентября 1950 г. она писала опять: «Года два тому назад мы часто объединялись втроем — Бунин, Пант. и я. Было всегда интересно. Бунин любит Пант.». *(прим. Ст. Н.)*.

396

Кое-кто… обиделся на… мою хвалебную статью. — Имеется в виду рецензия: Зеленый шум // Новоселье. 1948. № 37/38. С. 138–142. *(прим. Ст. Н.)*.

397

С. 322. *Они рассказывали, как работали с Пантелеймоновым во французской Резистанс.* — Резистанс *(фр.* Resistance) — Сопротивление. Пантелеймонов, как и многие русские эмигранты, во время немецкой оккупации Франции участвовал в движении Сопротивления. *(прим. Ст. Н.)*.

Молодые сотрудники уносили их потом потихоньку в маки. — Маки *(фр.* maquis — заросли, чаща) — этим словом называли французских партизан, отряды которых стали возникать в 1943 г., поскольку партизаны скрывались главным образом в густых зарослях кустарника — как на юге Франции, так и в горах. *(прим. Ст. Н.)*.

399

Печатается по рукописи, хранящейся в РГАЛИ.

Об эпизоде, описанном в настоящем очерке, Тэффи ранее уже рассказывала в очерке «Вспомнилось» (Возрождение. 1931. № 2399. 27 декабря), однако между этими двумя редакциями есть разночтения; возможно, в данном тексте некоторые детали даются рельефней, ярче. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 334. *Илье Ефимовичу очень понравился мой рассказ «Волчок».* — Рассказ «Волчок» был опубликован в газете «Биржевые ведомости» (утренний выпуск; № 15290. 25 декабря). Так что, вероятно, поездка к Репину произошла в начале 1916 г. *(прим. Ст. Н.)*.

401

Мне много приходилось позировать для портретов — Саше Яковлеву, Сорину, Григорьеву… — Об Александре Яковлеве см. в примеч. к «Воспоминаниям». Сорин Савелий Абрамович (1878–1953) — живописец; с 1920 г. — в эмиграции, сначала в Париже, затем в Америке. Портреты знаменитостей его работы (Ф. Шаляпина, Т. Карсавиной, А. Павловой, Элеоноры Дузе, Тэффи, Льва Шестова, Дж. Баланчина, А. Н. Бенуа и др.) находятся во многих музеях мира. Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) — живописец и график; участвовал в выставках «Мира искусства»; с 1919 г. — в эмиграции. *(прим. Ст. Н.)*.

С. 335. *Кустодиев* Борис Михайлович (1878–1927) — русский живописец и театральный художник; мастер портрета («Шаляпин», 1922, и др.). *(прим. Ст. Н.)*.

403

Его жена Нордман-Северова… — Нордман (псевд. Северова) Наталья Борисовна (1863–1914) — писательница, вторая жена Репина; в ее усадьбе в финском курортном поселке Куоккала (после ее смерти Репин стал владельцем этой усадьбы, названной им «Пенаты») Репин жил и работал до конца своих дней. *(прим. Ст. Н.)*.